Г. ГУРЕВИЧ

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ВРЕМЕНИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»



Москва
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“
1972

Фантастические

МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Повести и рассказы

1963

Г. ГУРЕВИЧ

ВРЕМЕНИ



Р 2
Г 95

Автор этого сборника — Георгий Гуревич — писатель со стажем: он «фантазирует» уже четверть века. На его счету двенадцать книг, «Месторождение времени» — тринадцатая.

Человек — полный хозяин природы — такова главная тема автора. Он писал о геологах, изучающих и преобразующих недра Земли, об отважных космопроходцах, которые открывают и преобразуют небесные тела, о физиках, преобразующих законы физики.

Герои нового сборника Г. Гуревича увлечены самопреобразованием. Они не уверены, что человек — биологическое совершенство. Они не удовлетворены своим сроком жизни, темпом жизни, хотят вмешаться в наследственность. Они склонны спорить с природой.

Может быть, и вам, читатели, доведется принять участие в подобных спорах.

Рисунки О. Коровина



Месторождение времени

Некогда, в середине XX века, жил да был в Крыму скромный учитель химии по фамилии Десницкий. Будучи энтузиастом науки, старшего своего сына он назвал Радием, второго — Гелием. Третий должен был стать Калием или Фосфором, но он родился, когда отец был в области на курсах повышения квалификации. И отсталая бабушка-ретроградка самовольно записала младенца Иваном.

Впрочем, все это присказка. Лично я не встречался с Радием Десницким — он работает зоотехником где-то в Белоруссии, награжден орденом за отличные показатели по привесу. Только на фото я видел Ивана Десницкого; Иван служит на действительной в Тихоокеанском флоте и намерен остаться на сверхсрочную. Речь пойдет о Гелии Десницком, исключительно о Гелии.

Мы познакомились заочно, и знакомство это было крайне неприятным. Мне было 26 лет тогда, я только что поступил в аспирантуру по кафедре цетологии. Не путайте, пожалуйста, с цитологией, все путают обычно. Цитология — наука о клетке, а цетология — наука о китах. Так вот я не клетковед, а китовед. И шеф мой, главный кит в китоведении, сказал мне на одном из первых же занятий:

— Юноша, тут ко мне пристают журналисты, чтобы я написал что-нибудь забавное о китообразных. Некогда мне, честное слово. Сделайте это за меня, дружок.

Я воспринял это как учебное задание. Шеф мой был знаменит как своеобразный педагог: он считал основной своей задачей затруднять жизнь подшефным. Так и говорил: «Кого я не обескуражу, тот от науки не отступится». Возможно, писание популярных статей входило в его систему воспитания твердости духа у аспирантов.

Но в данном случае я взялся за дело с охотой. В моей семье к печатному слову относились с благоговением, писательский труд почитали наиблагороднейшим. Теперь и я как-то прикасался к элите пишущих. С удовольствием я подбирал наглядные примеры и наглядные иллюстрации, старательно считывал типографские черновики, всякие там гранки, верстки, сверки. Очень солидно выглядел мой текст в наборе, гораздо солиднее, чем в рукописи. А когда вышел журнал, я нарочно положил его на стол, чтобы все знакомые (девушки, в частности) сразу увидели четкую подпись: «Ю. Кудеяров» — и прониклись бы ко мне почтением.

Недели не проходит, присылают из редакции пакет: «Уважаемый тов. Кудеяров, просим ответить читателю...» И прилагается письмо какого-то Г. Десницкого, директора Дома техники в Приморском, Крымская область. Этот юный техник, видите ли, считает, что я неясно излагаю принципы борьбы за существование.

Ну, если человек не понимает, надо растолковать. Я послал ему письмо на шести страницах с подробнейшими ци-

татами из Дарвина и Тимирязева. В ответ получаю десять страниц, тоже с цитатами из Дарвина и Тимирязева, примерно в таком тоне:

«Не желая считаться с фактами, автор бездумно изображает мир животных какой-то свалкой горлодеров, игнорируя многочисленные факты взаимопомощи в семье, стае, стаде, сожительства разных видов... Единственное оправдание Кудеярова в том, что и более компетентные авторы склонны, не вдумываясь, цитировать Дарвина, прикрывая отсутствие собственных наблюдений авторитетом великого ученого...»

И далее: «Если бы автор взял на себя труд просмотреть последние материалы по бионике, в частности мой патент №......, он не позволил бы себе придерживаться устаревшего, давно разоблаченного взгляда на причины обтекаемости кожи дельфинов...»

Сейчас-то, задним числом, успокоившись, я понимаю, что мой злопыхатель был прав по крайней мере наполовину. Природа так обширна, что в ней хватает места и для правил, и для исключений. Есть в мире животных борьба, есть и содружество, как и среди людей. И все это связано и спутано. Голодные волки объединяются в стаю, чтобы совместно добыть оленя, но если олень ранит одного из волков, собратья рвут на части раненого собрата. Быки отважно охраняют телят, а крокодилы пожирают свое потомство. Львица кормит своего супруга, а паучиха съедает. Всякое бывает в природе.

Но тогда, обиженный и распаленный, я написал читателю Г. Десницкому огромный трактат, доказывая, что он не понимает Дарвина; ответный трактат был в сто раз злее. И на следующую статью, появившуюся уже в специальном журнале, я немедленно получил ехиднейшее письмо. Так что пришлось мне отныне, приходя в редакции, всякпй раз предупреждать: «Извините, я вам напишу, но, к сожалению, меня преследует некий совершенно некомпетентный, малограмотный гражданин...»

И нередко узнавал, что этот некомпетентный гражданин не оставляет вниманием и других авторов.

Прошло года полтора. За это время я сдал минимум и выбрал, преодолевая сомнения шефа, тему для диссертации: «К вопросу о физиологии контактов в сообществе некоторых китообразных». В переводе на русский это означает: «Изучение языка дельфинов». Но в науке не приня-

то давать чересчур определенные названия — это несолидно выглядит. А вдруг языка-то нет?

И вот, когда мы обсуждали сроки, весьма сжатые, шеф сказал небрежно, как бы между прочим:

— Юноша, тут ко мне звонят из кино, просят, чтобы я выступил у них на конференции. Некогда мне, честное слово. Поезжайте, скажите там, чтобы нашу тематику не игнорировали. Вы же у нас специалист по художественному слову и образу.

Поехал я без особенного удовольствия. Моя тяга к искусству поубавилась за последние годы, не без помощи Г. Десницкого. Но просьбы шефа надо было понимать как приказы. Может быть, умение выступать на конференциях входит у него в программу обучения аспирантов...

Ну вот, сижу я в президиуме, слушаю, как выступают опытные люди: режиссеры, директора студий, операторы, кинодраматурги, толково и со знанием деталей объясняют, что фильмы о науке, конечно, необходимы, но нет для них фондов, нет артистов, нет сценариев и сценаристов, нет съемочных площадок и нет аппаратуры для комбинированных съемок. И надо добиваться, чтобы все это дали...

И вдруг слышу:

— Слово предоставляется представителю Крымской области, товарищу Десницкому из Приморского Дома техники.

Я насторожился. Наконец-то увижу этого монстра.

Выходит на трибуну молодой человек моего возраста или старше года на три, худенький, стройный, курчавый, с высоким лбом, благообразный на вид, и негромким тенором, почти нежным голоском говорит:

— Я займу у вас только пять минут, уложусь в регламент. В течение пяти минут я попробую доказать с цифрами, что настоящая конференция вообще не нужна. Фильмы о науке можно делать без артистов, без площадок и без комбинированных съемок...

Потом-то я разобрался, что предложение Гелия было нестоящее. Он думал, что можно просто снимать на пленку уроки лучших учителей. В сущности, это был отказ от всех возможностей кино — кинофильм без киноискусства. Но не в этом дело. Представляете себе, как были возмущены все эти маститые специалисты, знатоки тонкостей, когда им вдруг в лицо заявили, что можно без них обойтись! Они конференцию готовили полгода, и вдруг какой-

то мальчишка, выскочка, кричит, что конференция не нужна совсем. Помню, как очень известный оператор с трясущимися губами и красными пятнами на лице, дрожа от гнева, говорил:

— Я не понимаю, зачем вы приехали сюда, молодой человек, почему вы живете в гостинице на счет государства?

Десницкий тут же поднял руку:

— Разрешите в порядке реплики два слова. Я согласен с выступающим товарищем. Действительно, мое присутствие на этой бессмысленной конференции не имеет смысла. Я уеду сегодня. От командировочных и гостиницы отказываюсь.

В перерыве я разыскал этого возмутителя спокойствия, догнал уже в раздевалке, представился:

— Я Юрий Кудеяров. Я очень обижался на вас, потому что считал вас беспардонным карьеристом, который лезет вперед, толкая всех локтями, унижая людей, хочет составить себе авторитет. Но сегодня я понял вашу натуру. На самом деле вы искренний и бескорыстный озорник, который просто любит совать палку в муравейник. Вы тот самый скорпион из анекдота, который утонул, потому что ужалил лягушку, переправлявшую его через ручей. Утонул, но ужалил, поскольку характер требовал жалить. Будем знакомы, я тоже один из ужаленных.

С того дня и началось наше знакомство — дружба, смею сказать. Поскольку от гостиницы Гелий отказался, пришлось ему ехать ночевать ко мне в Одинцово.

Характеристика моя оказалась справедливой: Гелий на самом деле был бескорыстным воином, любителем словесных сражений, фехтовальщиком на формулах, ценителем метких возражений, сокрушительных доводов, колючих насмешек. И темперамент его как нельзя лучше подходит к его основному занятию. Он — изобретатель. Уж не знаю, любимое дело сформировало характер Гелия или призвание он выбрал по характеру.

Гелий воюет всегда: с косной природой, уклоняющейся от выполнения заданий человека; с косным материалом, отказывающимся от перегрузок; с косной конструкцией, не способной удовлетворить Гелия; с косными экспертами, не оценившими мгновенно всей оригинальности его мыслей; с косными плановиками, откладывающими реконструкции отраслей; с косными инженерами и директорами,

не бросающими все свои дела, чтобы продвигать идеи Гелия, и с косностью ума человеческого, своего собственного в частности, не умеющего быстро решать все возникающие проблемы.

Косность и робость — главнейшие враги Гелия. Я имею в виду робость мысли: неуверенность в себе, в своей возможности понять, решить, разобраться, придумать. Гелий ненавидит слово «недостижимо», считает, что пределов нет ни в каком направлении. Любимая его фраза: «Все, что сделано, сделано человеком. Все, что не сделано, может быть сделано только руками». Сам он мастер на все руки: механик, электрик, радист, плотник, каменщик,— мало ли что нужно в изобретательском деле? И еще он любит говорить: «Все, что придумано, придумано людьми. Все, что не придумано, придумаешь только головой». Он насчитывает 144 логических приема для изобретательства. Но как я заметил, самым употребительным был прием номер один: «Попробуем наоборот».

В сущности, на этом приеме построен его самый первый спор со мной. Я написал о жестокой борьбе за существование в мире китообразных. Гелий прочел и немедленно задумался: «Нельзя ли наоборот? Нельзя ли прогрессировать и развиваться на основе содружества, без жестокой борьбы?» И многообразная природа, перепробовавшая все варианты, предоставила факты и Гелию.

А выступление на киноконференции? Оно построено на том же приеме: нельзя ли наоборот? Вы печалитесь, что нет артистов, драматургов, съемочных площадок, нужной техники? Так нельзя ли обойтись без артистов и без площадок? И многообразная практика предоставляет Гелию и такие варианты.

Нельзя ли все переделать, нельзя ли запустить наоборот? — эти вопросы не покидали голову Гелия. Помню, однажды возвращались мы с ним из Москвы в Одинцово. Только вышли на асфальтовую спину перрона, двери вагонов сомкнулись, заискрили пантографы. Десяти секунд не хватило нам.

— Жалость какая! — сказал я. — Следующая электричка со всеми остановками. Лишних четверть часа в пути.

— Лишних четверть часа на остановки? — переспросил Гелий и взялся пальцами за виски.

Я уже знал: такая у него манера — думая, потирать виски пальцами, как бы кровь подгонять к мозгу.

И, прежде чем поезд дошел до Одинцова, я услышал:

— Есть возможность отменить остановки. Никакой реконструкции, никаких перестроек, только за счет иной организации поезда́ будут идти вдвое быстрее.

Догадались?

Гелий предложил, чтобы поезда шли полным ходом от начальной станции до конечной, но каждый вагон мог бы управляться автономно. На подходе к очередной остановке последний вагон отцепляется, тормозит и высаживает пассажиров. Местные же пассажиры, желающие ехать дальше, садятся в этот вагон. При подходе следующего поезда вагон трогается, набирает скорость и пристраивается в голову. Состав мчится, беспрерывно обновляясь: приобретая вагоны спереди и теряя сзади. Перед высадкой нужно переходить в последний вагон.

Как видите, тот же логический прием: нельзя ли наоборот?

Поезда со множеством остановок плохи? Нельзя ли без остановок?

Но тогда, честно говоря, я принял этот проект без энтузиазма. Я представил себе, как по проходу из вагона в вагон пробираются хозяйки с сумками, как волнуются, пробивая дорогу, рабочие очередной смены, как семенят растерянные бабки, допытываясь: «Милок, это последний вагон али предпоследний? Ахти, не успеть!»

— Уж лучше посидеть спокойно лишних четверть часа,— сказал я.

— Лишних четверть часа? — воскликнул Гелий.— Но в поезде около тысячи пассажиров. Тысяча человек теряет четверть часа! Двести пятьдесят рабочих часов губит каждая электричка. Рабочий месяц в каждом поезде! Это же клад!

— Но мне лично приятнее посидеть с книжкой, чем толкаться в проходе. Я за эти четверть часа прочту что-нибудь полезное. Вы за эти четверть часа родили техническую идею.

Вот этот довод показался ему убедительным.

— Пожалуй, четверть часа для размышлений — это не потеря,— согласился он. И с осуждением покосился на соседнюю скамейку, где шумные парни убивали эти четверть часа подкидным дураком.

Гелий не мог представить себе, что есть люди, у которых время лишнее.

После конференции у нас с Гелием установилась постоянная связь. Он регулярно писал мне письма. Они походили на военные сводки: «На фрезерно-станковом направлении наши войска, сломив сопротивление экспертизы, развивают успех; на участке цементного обжига мы отошли на заранее подготовленные позиции и накапливаем силы для решающего удара». По-моему, пробивать изобретения Гелию нравилось больше, чем изобретать. И раза четыре в год Гелий приезжал в Москву, чтобы пробивать идею лично. Обычно он останавливался у меня в Одинцове, тогда я выслушивал полный отчет за истекший квартал.

В один из таких приездов мы возвращались с ним с Юго-Запада, от одного из моих знакомых, тоже цетолога. Гелий интересовался физиологией кашалотов. Эти зубатые чудища ныряют за добычей километра на полтора без всяких скафандров, играючи выдерживают перепад давления в полтора километра и не ведают кессонной болезни, азотных отравлений, губящих наших водолазов. Человек и кашалот одинаково дышат воздухом, но почему-то у человека в крови азот закипает, а у кашалота нет. Нельзя ли перенять кашалотову физиологию — вот что волновало Гелия.

Возвращались мы вечером в почти пустом вагоне, неторопливо обсуждали перспективы окашалотывания водолазов. Вдруг на станции «Спортивная» в двери ворвалась возбужденная толпа. Десятки мужчин, молодых и среднего возраста, мигом заполонили скамейки и туго забили проходы. Вагон наполнился взволнованным гомоном. Говорили все сразу и все об одном.

— «Спартачки» напортачили.

— Они были, есть и будут мастерами.

— Мастера, мастера, а штуку всунуть не могли.

— Если бы Галимзянчик не затыркался, перекидывая с правой на левую...

— «Нефтчи» — портачи!

— Но-но, полегче. Видали, как Бекназаров прошел по левому краю! Троих обфинтил.

— Офсайта не было. Я сам сидел против линии.

В общем, по репликам вы уже сами поняли трагедию. Московский «Спартак» сражался с бакинцами и безответственно проиграл на своем поле, «не сумел всунуть штуку в ворота».

— Счет какой? — спросил я ближайшего соседа, навалившегося мне на колени.

И вдруг заметил укоризненный, почти горький взгляд Гелия. «И ты, Брут, продался болельщикам!» — как бы говорил этот взгляд.

— А вы равнодушны к футболу? — спросил я, невольно оправдываясь.— Но это же игра века. Видите, сто тысяч человек ездили на стадион, чтобы своими глазами посмотреть...

Пальцы Гелия медленно поползли к вискам.

— Вы что задумали?

Не ответил.

— Что вы придумали, Гелий? — спросил я снова, выходя из метро на вокзальной площади.

— Пока не придумал ничего. Я занимался арифметикой. Сто тысяч болельщиков провели на стадионе два часа. Двести тысяч человеко-часов потрачено на один гол. А знаете ли вы, что взрослый мужчина в течение всей своей сознательной жизни успевает проработать не более ста тысяч часов. Значит, две жизни убито на стадионе. Ценой двух жизней забит гол. Искусно пройдя по левому краю, Бекназаров укокошил двух работников.

— Так нельзя рассуждать, Гелий. На самом деле, пройдя по левому краю, Бекназаров продлил жизнь ста тысяч людей.

— Это каким же способом?

— Они увлекутся спортом, будут заниматься регулярно. Если хотя бы два часа в неделю...

Гелий был непробиваем:

— Сто тысяч человек по два часа в неделю! Но это же еще хуже. Это убиение двух работников еженедельно. Сто человек в год загублено ради времяпрепровождения.

— Вы говорите ерунду, Гелий. Игра — не времяпрепровождение, игра необходима живому существу. Я как биолог могу вам сказать, что играют все животные, и не от нечего делать. Играют, чтобы учиться жить, чтобы мускулы тренировать. Телята бодаются, чтобы подготовиться к будущим битвам, волчата прячутся, нападают, борются, котята ловят клубок, чтобы научиться ловить мышей. И взрослая кошка тренируется, жестоко играя с мышью.

— Каких мышей собираются ловить футболисты?

— Гелий, не острите. Футболисты тренируют ноги.

— Зачем им бегать? Они же ездят на метро.

— Гелий, не надо задавать наивных вопросов. Ноги отсохнут, если их держать на подушке.

Мы спорили всю дорогу до Одинцова — и в электричке, и по пути от станции. Придя в дом, Гелий по-новому осмотрел комнату, тоном прокурора-обличителя сказал:

— Юра, я вижу теперь, вы из той же породы убийц времени. Вот лыжи. Гири! Ружье и охотничьи трофеи. Зачем вы охотитесь? Сколько обедов добываете охотой? Я скажу, я разоблачу вас! Ваши далекие предки оставили вам ненужное наследство. Они добывали мясо насущное охотой, а вы в охоту играете, вы трех дней не прокормитесь дичью. Они гонялись на лыжах за оленем, а вы ходите на лыжах просто так, вы играете в гонку. Для чего? Потому что вам досталось тело первобытного охотника и вы его холите, вы лелеете, вы тратите время на поддержание тела лесного охотника, хотя сами вы добываете свои отбивные и шашлыки, исписывая бумагу за письменным столом.

— Ну и что вы предлагаете? Отсечь ноги и руки?

— Я ничего не предлагаю пока. Я только вижу проблему. Вижу пласт человеко-часов, пропадающих втуне.

Тот разговор был осенью, в конце футбольного сезона, а в начале лета я получил письмо:

«Есть решение, — писал Гелий. — Приезжайте — продемонстрирую. Обеспечиваю виллу на берегу моря, отдых в масличной роще и сколько угодно разговоров о будущем человека и техники».

Я подсчитал свои возможности и согласился. Дел особых у меня не было: минимум я сдал, а тему должны были утверждать осенью. Путевки не было тоже, а денег... Какие же деньги у аспиранта? Да и велик ли труд в наше время посетить Крым? Под Москвой вы выходите на просторное поле, разлинованное бетонными дорожками, поеживаясь от прохладного ветра, разгоняющего рябь на зеленой траве; два часа сидите в трясущейся от рева алюминиевой трубе, глядите, как за круглым окном проплывают очень белые, очень туго набитые и очень однообразные подушки, затем пристегиваетесь, перестаете курить и выходите на просторное поле, разлинованное бетонными дорожками. Вся разница, что это новое поле желтое от засохшей травы и мелкой рябью дрожит от густого зноя.

Не без удивления увидел я среди встречающих за загородкой сухонькую фигуру Гелия. Изысканной вежли-

вости я как-то не замечал в его натуре. От аэропорта до Приморского надо было ехать километров полтораста на автобусе. Право же, не имело смысла тратить целый день на то, чтобы указать мне дорогу к автостанции.

— Я тронут, но, честное слово, мог доехать и без вас,— сказал я, здороваясь.

— Я довезу вас на машине.

— На собственной? Вы обрастаете, Гелий.

— Руки надо приложить,— ответил он, как обычно.

Собственность Гелия выглядела очень скромно в ряду блистательных курортных машин: крошечный старой марки «Запорожец», кургузенький, горбатенький, пронзительно голубой. Но густой слой свежей краски не мог скрыть вмятин и швов залатанного кузова. Видно было, что он не один год провел на свалке, прежде чем Гелий выкопал и вернул его к жизни.

Не без труда я боком влез в машину и долго размещал там свои ноги. Гелий приспособил еще какой-то ящик перед сиденьем, так что колени пришлось подтягивать чуть ли не к подбородку. Занятый размещением своих ног, я не сразу заметил всех новшеств. Гелий вынес все управление на щит — и тормоза были кнопочные и сцепление. Но зато ноги были заняты педалями. Все время Гелий накручивал их, словно на велосипеде сидел.

— Это зачем? — спросил я.

— Потом объясню. За городом.

Видимо, Гелий был не слишком опытным автомобилистом. С напряженным лицом следя за светофорами и круглыми знаками, разрешающими, запрещающими и предписывающими, Гелий довольно медленно вел машину по городу, пробираясь в сутолоке симферопольских улиц, заполоненных трамваями, курортными машинами и курортниками. Но вот мы миновали центр с тенистыми акациями и двухэтажными домами губернского стиля, миновали окраины с пятиэтажными зданиями современного черемушкинского стиля, открылись просторы степей, асфальт запрыгал с холма на холм. И тут Гелий, нагнувшись, откинул крышку ящика, из-за которого я сидел скрючившись. Под ней оказались педали, такие же как под рулем,— вторая пара.

— Работайте, — сказал Гелий. — И как следует работайте, если не хотите ночевать в дороге.

Я крутанул, стрелка спидометра тут же дрогнула, отме-

чая мои усилия. Нажал — кусты рванулись навстречу. Убрал ноги — машина тут же сбавила ход.

— Но-но, не ленитесь, не так уж вы устали,— подзуживал Гелий.— Вон грузовик впереди, неужели мы не обгоним грузовик?

Я потрудился на совесть. Ветер свистел в левом ухе; разбившиеся мошки желтыми крапинками забрызгали стекло. Грузовик мы обошли как стоячий.

— А «Волгу» догоним?

Дорога здесь ныряла в долинку ручья, черная «Волга», распластавшись, словно жук, взбиралась по той стороне по склону. Я нажал на педали, колени так и мелькали. Грохнул под колесами настил моста, с разбега мы выскочили на перевал. Черная машина вырастала на глазах, как бы толчками увеличивалась. Нагнали, поравнялись. Удивленный водитель уставился на нашу крошку, уверенно обогнавшую его новую машину. Я не удержался и ладонь протянул: дескать, на буксир не взять ли?

— Сколько дает? — спросил я, кивая на спидометр.

— Дорога лимитирует,— сказал Гелий.— Мотор я поставил полнолитражный. Конечно, все пришлось переделывать, но это к лучшему. Ручная работа может быть точнее конвейерной. Когда приложишь руки, резервы находятся. В общем, на шкале у меня двести километров, все остальное зависит от вас. Кру́тите с прохладцей, как на прогулочке, имеете сорок — пятьдесят километров в час. Жмете на совесть, получаете сто, сто двадцать, сто пятьдесят. Но на сто пятьдесят вас не хватит надолго. Захочется дух перевести.

Конечно, и дух перевести хотелось тоже. И полюбоваться хотелось. Бежали навстречу пестрые, желтые, зеленые всех оттенков поля. Даже матово-лиловые были — полосы цветущей лаванды. А обочины были забрызганы каплями крови: маки цвели на обочинах, как у нас одуванчики.

Послышался гудок. Та же черная «Волга» обогнала нас, пахну́ла перегаром. Торжествующий водитель мне протянул руку: на буксир не взять ли?

— Не сдадимся?

— Ни в коем случае!

Так мы гонялись с этой «Волгой» всю дорогу до Старого Крыма. Там уже поотстали, когда горы придвинулись ближе, шоссе начало петлять. Надо было вести поосторожнее.

А потом мы свернули в сторону, и дорога запетляла по склонам, обходя каждый овраг. Красоты открывались за каждым поворотом — так хотелось выйти из машины, посмаковать, впитать живописность. То появлялся откос с кизиловыми кустами, оплетенными колючками; то лужайка с ручьем, сбегающим вприпрыжку; то голый обрыв, истекающий родниковой водой; то изъеденные ветром скалы с капюшонами, шлемами, шляпами, коронами, скалы-близнецы, скалы-пальцы, скалы-собаки.

В каждой скале была своя фигура, лишь бы фантазии хватило.

— Работайте, Юра, ножками работайте! Как бы нам назад под уклон не покатиться.

На подъемах ощутимо труднее было гнать машину вверх. Мускулами чувствовал я крутизну.

— Передохнуть хотите, Юра?

— А далеко еще?

— Ну и где же ваша спортивная закалка? Два часа покрутили ногами — и пшик!

Наконец среди скульптурных скал открылся синий треугольник. Дорога свернула к нему, машина резво покатилась под уклон. Теперь уже педали сами раскручивали мои ноги. Замелькали белые домики, частоколы палок, поставленных для винограда. Еще два-три поворота, и Гелий затормозил перед красочной вывеской: «Дом юных техников». Вывеска была, а ворот и забора не было. Впереди в пыльно-желтых скалах стояли навесы. И сверкал ярко выбеленный домик в два окна: «вилла» Гелия. И ютились под окнами пятнышки редкой тени от трех бескровно-зеленых, как бы запыленных масличных деревьев — оливковая роща, обещанная мне для отдыха.

— Ну и как вам понравилась моя машина? — спросил Гелий за обедом.

Обед был обыкновенный, холостяцкий, самодеятельный: помидоры, хлеб, рыбные консервы и кофе растворимый. Я сам в Москве трижды в день ем хлеб и консервы, если некогда ходить в столовую. Никому не рекомендую подобную диету, но в холостяцкой кухне важнее всего экономия времени.

— Машина превосходна, — сказал я. — Спортсмены ухватятся за нее с восторгом. Такое своеобразное сочетание авто и вело. И техника работает и мускулы, и сила нужна и уменье. Превосходно!

Я хвалил от всей души и с удивлением увидел, что лицо Гелия вытянулось.

— Я делал ее не для спортсменов,— сказал он.— Это машина «вместо спорта». Человек едет домой с работы и по дороге разминается. Пятнадцатиминутная зарядка в пути.

— А если он не ездит на работу? Если у него служба рядом с домом?

— Но не в колесах же суть — суть в педалях. Я сконструировал педальный регулятор скорости, его можно приладить к любой машине, к любому мотору, тепловому или электрическому. В результате спорт в рабочее время. Нужны тебе киловатт-часы — покрути, поработай руками или ногами. Что вы скажете на это, великий разбазариватель часов?

Я — разбазариватель часов? Клевета какая!

— Что я скажу? Я скажу, что ваше изобретение направлено не по адресу. С машинами имеют дело шоферы, машинисты, мотористы, но они и так не избавлены от физического труда: таскают, ворочают, поднимают. А спорт нужнее всего белым воротничкам — бумажным труженикам. Им что прикажете крутить, какие регуляторы? Ручку арифмометра, что ли?

— А у них регуляторы будут в быту. Вот поглядите, как это организовано на нашей станции. Ладно, кофе потом допьете, не ради кофе сюда приехали. Пошли, покажу.

Станция юных техников была довольно обширна. В Восточном Крыму, где воды маловато и почти нет зелени, полным-полно сухих пустырей, и Гелию отрезали площадь не скупясь. Между скал там ютилось десятка два просторных навесов, будочек, сараев, носивших гордые названия мастерских и лабораторий. Впрочем, все строения были аккуратно выкрашены, даже украшали яркими красками одинаково бесцветные известковые скалы. Внутри будочки были чисто убраны и оформлены в основном лозунгами с любимыми изречениями самого Гелия, например:

«Надейся на себя!»

«Руки приложи!»

«Все, что сделано, сделано людьми. Все, что придумано, придумано людьми. Все, что не придумано, можешь придумать ты».

«Головой думай, головой!»

«Не ищи там, где все ищут; не шарь там, где все ша-

рят. Открытия прячутся в тупиках, куда никто не заглядывает, куда не считают нужным заглянуть».

«Думай об узком месте. Где загвоздка, там и гвоздь решения».

«Усложнение — не откровение».

«Не бойся материала — он мертвый. Руки приложи!»

«Сделай, что задумал. Наоборот попробуй тоже».

Под этими изречениями, запоминая их невольно, трудились до полусотни юных конструкторов: пионеры из ближайшего лагеря, нарядные пионерки в ослепительно белых блузках и синих юбках, босоногие аборигены, загорелые до синевы, и приезжие «дикари», розовые, как бы ошпаренные солнцем. Многие, как я узнал позже, уже третий год подряд заставляли своих родителей приезжать в Приморское. Им интересно было проводить дни в цветастых сарайчиках, где Гелий обрушивал на стриженные под машинку головы град своих идей. В свою очередь, сам он получал целую команду добровольных помощников. Некоторые уже приобрели известное мастерство и в моделировании и в конструировании даже. Я не удивлюсь, если лет через десять появятся в разных ОКБ молодые инженеры, которые на производственных совещаниях будут изрекать с апломбом: «Главное, определить узкое место. Где загвоздка, там и гвоздь решения».

Пока что все эти потенциальные изобретатели усердно крутили ручки руками и педали ногами. Крутили, пуская в ход станки, крутили на кузне, раздувая мехи, крутили у циркулярной пилы; чтобы зажечь каждую лампочку, что-нибудь накручивали. Ребята старались: крутили добросовестно, самоотверженно, я бы сказал — истово. Иногда это выглядело комично. Я вспоминал индукционные телефоны времен гражданской войны. Их тоже надо было накручивать, прежде чем начать кричать в трубку: «Алё, барышня! Барышня, алё, вы оглохли, что ли?»

— Вы что улыбаетесь? — спросил Гелий подозрительно.

— Гелий, извините меня, но это игра. Вы придумали хорошую, веселую игру для не очень занятых ребят. Рабочий на заводе предпочтет щелкнуть выключателем, не станет терять время на накручивание.

— Это не трата времени, а сбережение.

— Но ведь накручивание — добавочная работа. И без нее обойтись можно.

— Добавочная, но полезная. Вы, например, заряжали

аккумулятор, крутя педали. Ребята, крутя ручки, накачивают воду в душ.

— Усложнение — не откровение,— съязвил я.

— Ну хорошо, допустим, это условность, допустим, это игра. Но и экономия времени. Сто миллионов человек в стране ежесуточно тратят полчаса на приседание и нагибание. Так пусть приседают и нагибаются, заряжая аккумуляторы и накачивая баки. Сто миллионов человек по полчаса, пятьдесят миллионов человеко-часов, шесть миллионов работников в строю. Это же целое богатство, непочатые залежи труда.

— А вы уверены, Гелий, что основная работа не пойдет медленнее от ваших ручек и педалей?

*

Нет, я вовсе не унылый скептик-злопыхатель. Многие из конструкций Гелия мне просто нравились. Думаю, что они войдут в спорт, если не в быт.

Я с удовольствием катался на его моторнопедальном гибриде автомобиля с велосипедом. Он на самом деле давал ощущение пробежки по горным дорогам. На крутых подъемах мускулы тяжко работали, выжимая скорость, на спусках я отдыхал вместе с мотором. Чувствовал напряжение на извилистом серпантине, вздыхал с облегчением, когда дорога вырывалась на степной простор. Пыхтел и потел, обгоняя; отдыхал, снижая скорость.

Хороши были и педальные лодки Гелия, особенно в тихую погоду. На море привольно, руль можно почти не трогать, все внимание отдавать скорости. Я чувствовал себя бегущим по волнам, властелином и покорителем бескрайней синевы. В доме юных были две лодки, обе одинаковые, на основе обычных «казанок», и мы могли устраивать гонки. Я неизменно побеждал Гелия. Ноги у меня были крепче, поскольку я-то занимался спортом, а он боролся против спорта.

На очереди было покорение третьей стихии — воздушной. Нет, речь шла не о педалях в самолете. Гелий соглашался, что можно представить себя бегущим по шоссе, можно вообразить бегущим по волнам, крутя педали, но воображать себя бегущим по воздуху — нечто противоестественное. В воздухе надо летать. Конечно, ни самолета, ни вертолета достать Гелий не мог. В его распоряжении были

только два автомобильных мотора марки ГД (переборка, переделка и усовершенствования Г. Десницкого), которые перетаскивались из автомашины в мастерские и из мастерских на лодки. Теперь эти же моторы должны были махать крыльями. Орнитоптер конструировал Гелий.

У орла беркута, весящего шесть килограммов, размах крыльев более двух метров. Гелию с его шестьюдесятью килограммами нужны были крылья с размахом не менее шести метров. Прибавьте вес мотора, собственный вес крыльев, вес механизмов, коэффициент несовершенства. В общем, требовались крылья такие, как у планера. И Гелий достал планер. Нашел в авиационной школе разбитый аппарат, который списывали как лом; добился, чтобы этот «лом» передали юным техникам, и с торжеством привез его на крыше грузовика, доставлявшего продукты в пионерлагерь. Уже через час в «виллу» явился взволнованный старший вожатый, потребовал, чтобы Гелий дал письменное обязательство ни одного пионера в воздух не поднимать. «Но сами вы, конечно, мечтаете о полете?» — спросил Гелий. Затем неорганизованно, мелкими группами и поодиночке приходили «дикие» мамы, тоже требовали расписки.

Но на меня как на совершеннолетнего запрет не распространялся. И я был зачислен в список допущенных к полету в качестве «птицы номер два», с откровенным нетерпением дожидался, когда же крылья взмахнут и поднимут меня к облакам. Ведь самолет — тут Гелий прав — не дает ощущения полета. Лишь отчасти осуществляет он мечту «рожденного ползать». Я сам не чувствую себя свободной птицей, сидя в содрогающемся от рева мягком вагоне, который перемещает меня с одного аэровокзала на другой. Мне для полноты ощущения подайте простор и ветер в лицо, и чтобы я нырял в облачную дымку, и чтобы над крышами парил, поджимая ноги, стараясь не задеть за трубы, чтобы присаживался на открытые окна, деревья облетал в парке. Хочу парить, хочу порхать и пикировать, хочу крыльями махать! И пускай эти крылья будут громадными, пускай даже неживыми. Важно, чтобы они к плечам были привязаны, чтобы они подчинялись движению рук, взмахивали, когда я машу, кренились, когда я ладони опускаю.

В общем, Гелий приобрел еще одного помощника, неумелого, но старательного. Я тоже трудился в мастер-

ских с утра до вечера, главным образом в роли Помогайченко, как выражались пионеры. Поднимал, поддерживал, таскал, прибивал, привинчивал, мыл и отчищал... мечтая о полетах.

И вдруг телеграмма:

«Приморское. Дом юных техников, Кудеярову.

Пятницу 11 утра утверждение темы. Ваше присутствие желательно».

И подпись шефа.

Шефа я уже представлял читателю. Если шеф говорит «желательно», это означает: разбейся в лепешку, но явись. Возможно, на самом деле мое присутствие и не так уж необходимо, но шеф запомнит, что я не разбивался в лепешку ради науки, что у меня были какие-то другие интересы интереснее науки. Запомнит... и сделает оргвыводы.

Так что у меня не было сомнений насчет необходимости отъезда. Но беда в том, что телеграмма попала в мои руки очень поздно. Приняли ее ребята, моей фамилии они не знали, стали искать Кудеярова среди пионеров, потом начали «диких» опрашивать. Хорошо, что кто-то из взрослых догадался посмотреть текст и сообразил, что «утверждение темы» к школьникам не относится. В результате я получил телеграмму в четверг около девяти вечера.

Только утренний пятичасовой самолет мог меня спасти. Мысленно я посчитал: вылет в пять, посадка в четыре, в кассе надо быть не позже трех ночи. До аэропорта полтораста километров. Вечерних автобусов из Приморского нет.

— Ничего, поспеем,— сказал Гелий.— Если ножками поработаете как следует, поспеем. Ночью на шоссе просторно.

Мы выехали заблаговременно, часов в одиннадцать вечера. Дорога была пустынна, никто не мешал, и ночная свежесть бодрила — я с удовольствием крутил педали. Стремительно бежали навстречу одинаково черные силуэты деревьев и скал, слишком стремительно бежали, чтобы казаться таинственными или страшными. Свет фар метался на поворотах, вырывал из черноты белые столбики или неестественно зеленые лужайки. Миг — зелень пряталась во тьму, свет снова упирался в асфальт.

— А почему мы ползем еле-еле? — поддразнивал Гелий.— Силенки бережете, что ли?

— Сил хватит! — кричал я.— Рули́ давай, поспевай.

Может, руль заклинило? Силы есть и на полтораста километров и на триста.

— Не пробежаться ли нам до Москвы, Юра? Стоит ли возиться с кассой, посадкой, самолетом этим? Выйдем на магистраль — и ходу! Вот это рекордик будет: пробежка Крым — Москва за одну ночь.

— В следующий раз, Гелий. Я-то смогу, машина сдюжит ли? Опять же водитель у меня мешковат, баранку крутить за мной не поспевает.

И сглазил. Кто виноват был из нас, сказать затрудняюсь. То ли Гелий в темноте не заметил резкого поворота, то ли я вертел что есть силы, когда надо было снять ноги с педалей. Жал и жал, упиваясь скоростью и собственной мощью, и, возможно, не расслышал слишком тихо сказанного: «Хватит, Юра». Так или иначе, внезапно фары уперлись в кусты, тормоза взвизгнули, машина подпрыгнула, закряхтела и медленно завалилась набок. Я инстинктивно сжался в комок.

Фары погасли. В смоляной тьме что-то тяжеловесное легло на меня.

Больно не было. Я пощупал руками ноги. Неосознанно пощупал. Бессмысленный жест какой-то, в книгах вычитанный. Уж если не больно, ясно, что ноги при мне. Раскрыл глаза шире. Все равно ни зги.

— Вы живы? — спросил Гелий сверху. Это он лежал на мне.

— Жив, кажется.

Гелий зашевелился, уперся коленкой в бок, чуть не продавил мне ребра. Выбрался наконец. Брякнула наружная дверца. Я тоже вылез за ним. Поверженная машина лежала в кювете на боку.

— Причалили,— сказал Гелий мрачно.— Нам еще повезло.

— От дома далеко? — спросил я. Спросил опять-таки инстинктивно. Я был очень потрясен, и почему-то мне казалось, что надо скорее вернуться назад. Назад, в безопасное Приморское, где не бывает аварий, ночью люди лежат в постели, лампа у них стоит на столике.

У Гелия, видимо, не было такого ощущения. Вероятно, привык к авариям, закалился. Гелий даже помнил, что я спешу на самолет.

— До развилки километров пятнадцать,— сказал он.— Вам стоит идти вперед, на магистрали бывают машины и



Гелий зашевелился, уперся коленкой в бок, чуть не продавил мне ребра.

ночью. Только помогите перед развернуть. Ну и все. Дальше я сам справлюсь. Счастливо!

Все еще дрожа от возбуждения, я вышел на дорогу. Пахну́ло ароматом южного леса, и тут же я нырнул в черноту. Черные силуэты скал нависли над дорогой, в черных купах кустов слышались какие-то вскрики, всхлипы, стоны, шорохи. «Чего бояться? — уговаривал я себя. — В Крыму нет опасных зверей». Впрочем, бывают медведи. А люди опасные не бывают?

Все мы, горожане XX века,— питомцы техники, все живем под крылышком мамы-техники, каменными или стальными заборами отгораживаемся от природы. По лону природы путешествуем, лежа на мягком матраце под чистой простыней в купе вагона или в каюте. И только авария выбрасывает нас в лапы природы: из каюты в море, из автомашины в лес. Только авария напоминает, как же мы беспомощны, если не держимся за юбку техники.

Уповая на технику, я к утру рассчитывал прибыть на заседание в Москву, за ночь преодолеть полторы тысячи километров. В сущности, я даже не принимал во внимание километры, я отсчитывал часы: час на посадку, два часа на полет, час до метро, столько-то на метро... Но вот авария выбила меня из седла, и километры получили подлинную протяженность. Десять минут от столба до столба, десять минут на километр. А до развилки пятнадцать километров, до аэродрома — сто пятьдесят. И где-то в невообразимой дали — шеф, поглядывающий на часы. За полторы тысячи километров я спешу к нему пешком. Нереально! Бессмысленно!

Раза два за все время позади загорался свет, меня обгоняла попутная машина. Я махал платком, словно потерпевший крушение, но корабли асфальтовых рек пролетали мимо. Не замечали или не хотели вступать в переговоры глубокой ночью.

Проносилась мимо могущественная техника, оставляя меня тонуть в лесном океане.

Спасение пришло часа через два, уже далеко за полночь. Опять я увидел луч света в горах, где-то высоко и даже впереди. Минуты через три свет оказался гораздо ниже и сзади. Видимо, дорога спускалась здесь зигзагами, я и сам петлял, не замечая поворотов в темноте. Еще минута-другая, и фары уперлись мне в спину. Без особенной надежды я протянул руку к слепящему свету.

— Садитесь,— сказал Гелий.— Хорошо, что я догнал вас. Теперь успеете.

Трогательный человек! Чинился часа два, устал наверное, мог бы возвращаться со спокойной совестью, убеждая себя, что я давно уже сижу в кузове какого-нибудь попутчика. Нет, поехал догонять на всякий случай.

Слишком усталый, чтобы благодарить многословно, я кряхтя начал втискиваться на привычное место.

— Ноги горят с непривычки,— признался я.— Чуточку отдохну и начну нажимать. Сейчас.

— Нажимать не надо,— сказал Гелий мрачно.— Я снял педали. Та́к мы доедем быстрее. Сегодня не до игры.

Тогда я даже недооценил это торжественное признание. Не до игры! Гелий вынужден был вслух сказать, что его педальные приспособления — только игра. Когда же человеку некогда, ему не надо вмешиваться со своими хилыми ногами. Машина справится лучше.

На аэродром мы успели вовремя, билет я достал, на обсуждение темы успел. И тему мою утвердили — ту самую, о контактах между некоторыми представителями семейства зубатых китов. Но ныне диссертация моя давно опубликована, обязательный экземпляр хранится в Ленинской библиотеке, так что интересующиеся контактами с зубатыми китами могут взять ее в читальном зале. О зубатых китах я расскажу в другой раз. Сейчас о Гелии.

Крылья все-таки волновали меня, и месяца через два я спросил в очередном письме, не подходит ли очередь «птицы номер два».

Ответ пришел быстро:

«Я отказался от этой идеи,— писал Гелий.— Отказался от игры в помощников машины. Да, признаю, что это игра, я сказал вам это еще в пути, а поутру увидел в Приморском наглядную иллюстрацию. Помните колонку против нашего дома, откуда мы таскали воду все время? Вот я остановился у колонки, чтобы залить радиатор, и как раз подошла женщина с девчуркой лет семи. У женщины два ведра на коромысле, у девочки игрушечное ведерко примерно на пол-литра. Женщина накачала себе воды, нацепила ведра на коромысло и дочке налила ведерко, еще по головке погладила, приговаривая: «Ты моя помощница!» И пошли они вдвоем, понесли свою ношу каждая. Так продемонстрировали мне наглядно, что такое мои педали. То-

же детские ведерки. Может быть, нам они и полезны и для гигиены и для воспитания. Но все равно это детские ведерки — воды на стирку в них не принесешь.

Читал я не раз в популярных книгах, что машины — это продолжение рук и ног человеческих, продолжение глаз и ушей. Но вижу, продолжение-то получается длинноватое, куда объемистее пролога. Вот уже и все пути-дороги отданы продолжению, а ноги, родоначальники транспорта, бегают только по футбольному полю. Продолжение дело делает, а зачинатели в игры играют. И не получится ли так со временем, что, создав продолжение мозга, мы и ему передадим мозговую работу, а себе оставим шахматы и кроссворды. Голы будем забивать, чтобы ноги не отсохли, козла забивать, чтобы мозги не усохли? Вот, Юра, проблемка, хочу к ней голову приложить».

Голову, видимо, он уже начал прикладывать, потому что в том же письме рассказывалось про изучение физиологии нервной системы, задавались вопросы, в том числе и такой:

«Как вы полагаете, Юра, в чем основная причина: почему электрические моторы делают тысячи оборотов в секунду, колеса — десятки оборотов, а бегун, самый лучший,— несколько шагов? Где тут узкое место, где загвоздка? Что сдерживает темп жизни: мускулы или нервы?»

Я вспомнил: «Где загвоздка, там и гвоздь решения».

И ответил, в соответствии с учебником, что, возможно, скорость тут лимитирует нервы. Электрический ток проходит 300 тысяч километров в секунду, нервный ток — от силы метров сто — сто двадцать. Дело в том, что нерв не проводник, скорее, он похож на стопку конденсаторов, где возбуждение передается индукцией. Одна сторона каждой части заряжается, в противолежащей стороне возникает противоположный заряд, по нерву спешат ионы натрия и калия, скорость их перемещения обычная для атомов — тепловая: сотни метров в секунду в лучшем случае. В результате от ступни к голове сигнал идет заметную долю секунды, столько же от головы в мускулы, плюс обработка сигнала в центре, плюс приведение мышц в движение. Вот и получаются десятые доли секунды на шаг.

«Это я все читал уже,— ответил Гелий в следующем письме.— Я полагал, что вы как специалист знаете какие-нибудь новинки. А читая про натрий и калий, я задумался: почему природа выбрала для передачи сигналов эти тяже-

лые ионы? Почему не взяла чего-нибудь полегче, литий например? Наверное, потому, что жизнь зародилась в океане, где было полно хлористого натрия и калия, вот жизнь и использовала подручный, хотя и не лучший, материал. А где-нибудь на другой планете, где в воде достаточно хлористого лития, жизнь обязательно должна была ухватиться за литий. Шутка сказать: ионы в три раза легче натрия, в шесть раз легче калия, они же движутся быстрее при том же напряжении. Почему я говорю именно о литии? Потому что элемент этот из первой группы, сродни калию и натрию, он должен так же легко усваиваться кровью и нервами вместо натрия, как пресловутый стронций усваивается костями вместо кальция — родственника своего по второй группе. И в итоге должна бы получиться скорость движения раза в четыре выше, чем при нашем обычном нервном токе. Четыре раза — неплохой выигрыш! Как по-вашему, стоит приложить руки?»

Я достаточно хорошо знал Гелия, чтобы догадаться, что руки уже приложены. Вероятно, и цифра «в четыре раза» взята не с потолка. Неужели получается четырехкратное ускорение нервной связи? А ведь это заманчиво, честное слово!

Возбуждение в четыре раза быстрее, торможение в четыре раза быстрее! Ускоренная связь, ускоренная обратная связь. В четыре раза быстрее прибывает донесение в мозг, в четыре раза быстрее ответная реакция. Сколько предотвращено несчастных случаев! Сколько человек успело отдернуть руку, ногу, вовремя отскочить от бешеного зверя или взбесившейся машины, уклониться от падающего сука, кирпича, цветочного горшка! Ради одного этого стоит постараться.

Движение вчетверо быстрее: в минуту не 75 шагов, а триста. Отныне нормальный скорый шаг — 25 километров в час, бег на дальние дистанции — километров 70. Полчаса ходьбы от границы города до центра. И этот темп меняет облик современного города. Почти не нужен пассажирский транспорт: все эти неповоротливые троллейбусы, автобусы, личные комнаты на четырех колесах, отравляющие город продуктами неполного сгорания. Только для перевозки чемоданов понадобятся машины. И улицы можно превратить в бульвары, мостовые — в беговые дорожки. Пробежка по дороге на службу. И чистый воздух в городах.

Не только ходьба — и все другие движения становятся проворнее. Движения быстрее, работа идет быстрее. Там, где было четверо рабочих, справляется один. Или же, если это предпочтительнее, все четверо справляются за два часа со сменной нормой. А дальше, свободное время—главное богатство коммунистического общества — время для самообразования, самоусовершенствования, для творчества.

Стоит постараться?

И думал я еще, что при кажущейся разбросанности Гелий все эти годы бил в одну точку: настойчиво искал резервы времени. Началось с электрички; там он подсчитал, что упразднение остановок могло бы подарить лишний человеко-месяц на каждый поезд. Потом Гелий замахнулся на болельщиков: две человеко-жизни обнаружил на трибунах. Когда речь пошла о зарядке, там уже были миллионы человеко-жизней — «залежи труда», как выразился Гелий. А теперь идет речь об учетверении работников. И все они без предварительной подготовки, сразу становятся к станку, умелые, обученные. Это уже сотни миллионов человеко-жизней — целое месторождение труда или месторождение времени, как распорядитесь.

Интересно бы узнать, касается это ускорение только мускулов или умственной работы тоже? Наверное, и ума тоже: ведь в основе всякой мысли лежат нервные процессы, передача сигнала прежде всего. Может быть, не вчетверо, но раза в три и умственная работа ускорится. И вот мы в три раза быстрее считаем. В три раза больше успеваем прочесть перед экзаменом или перед докладом; сообщение получается в три раза содержательнее. Мы рассуждаем в три раза быстрее, в три раза больше охватываем, видим три линии развития там, где раньше различали одну. Вместо тянучего «с одной стороны, с другой стороны» описываем шесть сторон, шесть измерений. Мир предстает совсем иным, выпуклым, движущимся, развивающимся сложно.

Рождается новая ступень понимания природы, искусства, человека.

«Гелий, признайтесь откровенно,— написал я,— вы уже делаете опыты на пионерах или только на вожатых? Удалось ли вам вывести быстроумного ученика? Шестиклассники ваши уже поступили в институт или только заканчивают десятилетку?»

Гелий отвечал с непривычной сдержанностью:

«Не по каждому поводу надо хохмить, Юра. Вы же биолог, знаете сами, как делаются опыты. Да, я завел аквариум и держу в нем всякую морскую рыбешку: тюльку и бычков. Да, постепенно добавляю хлористый литий в воду, а хлористый натрий убавляю. Сначала рыбки мои бастовали, погибало более девяноста процентов. Но выжившие дали устойчивое поколение, появились довольно верткие рыбки. Я делал киносъемку; получается скорость движения раза в четыре больше, чем у обычной тюльки. Так обстоит дело с рыбами. А дальше сами знаете порядок: лягушки, цыплята, мыши, морские свинки, собаки, обезьяны... и после всего человек. А сейчас говорить об успехах рано, несолидно».

Да, как специалист я знал порядок опытов: рыбы, лягушки, цыплята, мыши...

Долог путь от пробирки до прилавка. Но как друг Гелия сомневаюсь, чтобы путь этот был пройден последовательно.

Вот я перелистал его письма за последний год, перечитал и выписал все, что Гелий успел за год:

23 изобретения — на 19 получены патенты. Значит, не пустое прожектерство.

Две книги: одна по истории изобретательства, другая по теории. Обе издаются. Значит, не пустое бумагомарание.

Перевод с немецкого двухтомного «Пантеона великих изобретателей».

Методика работы с юными изобретателями. Ротопринт.

Четыре доклада на методических конференциях.

Одиннадцать статей в газетах и популярных журналах.

Лекции по методике изобретательства.

Четыре поездки в Москву, одна в Новосибирск.

Руководство Домом юного техника.

Письма юным и взрослым техникам. Письма знакомым. Критические письма в редакции с обстоятельными разносами разных авторов.

Чтение литературы: научной, специальной, популярной и художественной.

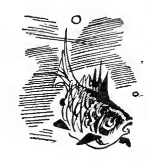
Ухаживание за девушкой по имени Аля (очень своенравная девушка и с большими запросами), предложе-

ние, свадьба, пристройка второй комнаты и кухни к «вилле».

Свадебное путешествие на Байкал...

Как вы полагаете, может обычный человек все это успеть за один год?

Лично я думаю, что Гелий ставит опыты не только на рыбках.





Селдом судит Селдома

Суд идет!

Судья в волнистом парике торжественно занимает место за столом, берет в руки колокольчик, откашливается. Он волнуется, в первый раз в жизни он ведет процесс, и судьба подсудимого касается его лично. Но он дал клятву быть объективным и справедливым, этот судья по фамилии Селдом.

Перебирает свои заметки прокурор, готовя речь, строгую и обоснованную. Впрочем, его задача облегчается сегодня, потому что подсудимый не отрицает фактов. Фамилия прокурора Селдом.

— Подсудимый, встаньте!

Преступник, пристыженный, с жалкой улыбкой на лице, озирается в поисках сочувствия. Ему подмигивает защитник, бодрячок по фамилии Селдом. Увы, бодрость его наигранная. В душе он полагает, что дело безнадежно, приличнее было бы отказаться от защиты.

— Ваше имя, подсудимый? Возраст? Род занятий? Местожительство?

— Селдом Ричард, тридцать два года, холост, родился в Южно-Африканском Союзе, проживал в Англии и Соединенных Штатах, в настоящее время — на секретной базе без номера и без адреса. По специальности математик. Принадлежу к англиканской церкви.

— Судились?

— *(Принужденно.)* Отбывал наказание.

— За что именно?

— За мелкое воровство без применения оружия.

— Подсудимый Селдом, подойдите к присяге.

— Я, Селдом Ричард, обязуюсь говорить правду и только правду. Клянусь ничего не скрывать от суда, не выгораживать себя, не выискивать смягчающие обстоятельства, не сваливать вину на соучастников.

— Расскажите, подсудимый, всю историю преступления. Начните с самого начала.

— Началось с того, что у меня умер отец...

*

В такой странной форме был написан документ № 243/24, пожалуй, самый важный из найденных на знаменитой базе Ингрид-Фьорд, величайшей находке археологов двадцать третьего века.

Есть своеобразное правило, хорошо знакомое искателям древностей: лучше всего сохраняет прошлое катастрофа. Природа склонна экономить материал, использовать глину снова и снова, лепить и разрушать и опять лепить новое из старых атомов. Белки, жиры и углеводы кочуют из тела в тело. Хищники терзают травоядных, хищников терзают бактерии, кости их грызут пожиратели падали.

Природа рисует и стирает, рисует и стирает. А в музеях наших стоят только жертвы несчастной случайности — чудовища, завязшие в трясинах и асфальтовых озерах, провалившиеся в ледяные трещины, засыпанные обвалами... катастрофой выброшенные из круговорота вещества.

То же и в истории материальной культуры. Какие ладьи, триремы, галеры, каравеллы, авианосцы выставлены в музеях мореходства? Затонувшие. Те, что возвращались в порт благополучно, были источены червями или ржавчиной, разобраны на дрова или переплавлены — вернули свои атомы в круговорот техники.

И какие картины, фрески, какая утварь и мебель достались нам от Древнего Рима? Те, которые вулкан Везувий сохранил для нас бережно, засыпав стерилизованным пеплом городок Помпеи.

Но база Ингрид-Фьорд избежала общей участи. Катастрофа вывела ее из круговорота вещей. Время как бы замерло там, пропустило шаг. Но вдруг открылись ворота прошлого. Историки третьего тысячелетия получили возможность выйти во второе.

Произошло все это, когда после долгой спячки Антарктида вошла наконец в хозяйственный круговорот планеты: стала поставщиком пресной воды для пустынь обоих полушарий. Громадный материк, дремавший столько лет под ледяным одеялом, проснулся от звона молодых голосов. Стенками пара встали гейзерные столбы над атомными пилами. Застучали, засвистели, захлюпали машины, обрезающие, выравнивающие, закругляющие кромки ледяных глыб. Глыбы эти, превращенные в айсберги, поплыли на буксире к берегам Африки, Аравии, Австралии... Ожили вековые льды, поползли, трескаясь по каменным ложам фьордов. И один из ледников, расколовшись, обнажил в зелено-голубом изломе черную дыру — вход в забытую подземную базу Ингрид-Фьорд.

С любопытством и трепетом вступили археологи в прошлое. Зигзагообразный, высеченный в скале, обросший мохнатым инеем ход. Над углами — ниши, в каждой — так называемый «пулемет» — небольшая машинка для массового убийства, выпускающая сотни кусочков металла («пуль») в минуту со скоростью докосмической, но достаточной, чтобы пронзить тело человека насквозь. Каждый отрезок зигзага обстреливали два пулемета. Один встречал огнем наступающих, другой — поливал прорвавшихся пу-

лями с тыла. Только после пятого поворота археологи вступили в большую пещеру, природную, но расширенную и выровненную искусственно. Диву даешься, когда подсчитаешь, сколько было вложено здесь труда. Ведь в те времена не было еще атоморезки, камни раскалывались мелкими зарядами химической взрывчатки, и для каждого заряда надо было сверлить в скале трубку, а осколки разбирать чуть ли не вручную.

Здесь, в пещере, находились батареи: косые столы с ракетами, нацеленными на северо-восток, а также снаряды с особенной начинкой. Очень довольны были ученые принятыми предосторожностями, когда ознакомились с характером этой начинки.

Сама начинка готовилась в других, сплошь искусственных, вырубленных в скале коридорах. Там были секретные лаборатории со старинной посудой из бьющегося стекла. Из бьющегося стекла были изготовлены колбы и пробирки, несмотря на всю опасность секретного производства. Старинные центрифуги, тяжеловесные и маломощные. Неточные приборы с пружинками и стрелками. Электрическая станция, работающая от тарахтящего бензинового двигателя. Вредные для дыхания газы, без сомнения, отравляли воздух в подземельях. Едва ли центробежные механические вентиляторы могли очистить как следует атмосферу.

Несколько ближе к выходу, в тесных тупиках, находились жилые ниши — настоящий музей быта XX века. Множество предметов дохимической культуры из материалов растительных и животных. Стены, обшитые досками, выпиленными из древесных стволов. Нижняя одежда из плетеных хлопковых и даже личиночных нитей. Одежда верхняя из шкур, содранных с животных: собак, овец, кроликов,— их специально убивали для этого. Бумага из древесины (в те времена целые леса сводили, чтобы превратить их в бумагу), непрочная, легко загорающаяся, покрытая выцветшими и неразборчивыми ручными письменами. И в довершение картины на каждой койке лежали желто-восковые тела людей XX века. Все сплошь дряхлые старики. Потом-то стало понятно, почему на военной базе оказалось столько стариков. Почти все лежали под одеялами, начиненными хлопковой ватой и птичьими перьями, большинство — в спальных мешках, наполненных для тепла крошкой из коры пробкового дуба. Некоторые лежали

одетые, в нарядной форме, красочной и неудобной, с разными украшениями и нашивками, серебряными, золотыми и цветными.

Все ниши были засняты с разных позиций, все предметы перенумерованы, внесены в список, подробнейшим образом описаны. Только после этого ученые приступили к изучению находок. И прежде всего, конечно, были вскрыты так называемые сейфы — стальные толстостенные ящики, где полагалось хранить самые важные, особо тайные бумаги, в какие даже не всем служащим базы разрешалось заглядывать.

Два сейфа разочаровали археологов: в них оказался только пепел, лишь в третьем лежали неповрежденные папки — запал не сработал или служащие не считали нужным жечь каждую бумагу в отдельности. Там сохранились толстые картонные папки с аккуратно подшитыми или приколотыми листками. И историки приступили к расшифровке.

Каждый человек писал тогда бумаги по-своему, как бы своим шрифтом. В старину это называлось «свой почерк»; тогда даже узнавали людей по почерку, потому что личный, генетический, пароль еще не умели определять. С трудом различая сходные буквы — «a», «o» или «u», «g», «y», «j», машины переводили староанглийские слова на современный общечеловеческий.

Но большая часть папок была заполнена цифрами. Кто-то из молодежи предположил, что это цифровой код; сгоряча включили вычислительную машину — машина не уловила логики. Потом специалисты догадались, что кода тут никакого нет. Со странной скрупулезностью работники базы записывали изо дня в день, сколько они съели мяса и овощей, сколько получили одежды и в какой срок износили, сколько разбили стекла, сколько израсходовали дерева, меди и даже электрического тока. Такие хозяйственные проверки и в третьем тысячелетии проводятся на производстве время от времени. Они нужны, чтобы найти самый рациональный процесс — изготовить больше вещей за кратчайший срок. Но там — на полярной базе — никакого производства не было, там убийства готовили.

После долгих споров знатоки психологии древних разобрались. Оказывается, убийцы с базы не доверяли друг другу. Опасались, что повар, получив продукты, не отдаст их товарищам, а вместо этого еще в порту обменяет на

деньги и деньги положит в карман. Вот почему они записывали каждую банку и записи те, считая очень важными, хранили в стальном ящике с секретным запором. Впрочем, как выяснилось из других бумаг, вся эта писанина не помогала. В том же ящике нашлись папки с делами четырех служащих и одного начальника базы, которые действительно обменивали на деньги и продукты, и одежду. Все эти люди были присуждены, по обычаю того века, не к скуке и безделью, а к сидению в запертой комнате в течение нескольких лет. Только начальник был оправдан, хотя он присвоил себе больше всех. Но его горячо отстаивал опытный знаток судебных правил — адвокат, сумевший доказать, что в бумагах есть какие-то неясности, которые можно истолковать в пользу начальника. И все эти споры с ухищрениями и искажениями истины, зачем-то размноженные в трех экземплярах, хранились под защитой непроницаемой стали.

Но главного не было в этих записях: не разъяснялось, какое же именно преступление готовилось на секретной базе.

Кроме папок хозяйственных, в сейфе хранились еще личные дела. Как оказалось, на военной базе проверяли не только карманы, но и мысли каждого работника. В папках лежали письменные доносы о недозволенных высказываниях, их называли «нелояльными». Нелояльными, например, считались такие слова: «У красных тоже есть голова на плечах». Или: «Красные ученые тоже работают, на удар ответят контрударом». Почему-то, готовя небывало жесткое оружие против коммунистического мира, генералы-убийцы требовали, чтобы их подчиненные считали противника слабым, еле стоящим на ногах, неспособным дать сдачи. Нелояльным считалось также каждое слово против войны и против убийства вообще, а также всякое сомнение в совершенстве капитализма.

Больше всего донесений было в пухлой папке некоего Ричарда Селдома. Этот позволял себе самую неприкрытую нелояльность. И постепенно у археологов сложилось впечатление, что именно Селдом лучше всех знал тайну базы: надо прежде всего найти его и прочесть его личные письма.

Нашли не без труда. Всего в подземелье лежало около ста трупов. Выше говорилось уже, что генетические пароли не значились в документах, имелись только фотографии, но на фото лица были молодые, а в постелях лежали дрях-

лые старики. Археологам пришлось вспоминать забытые приемы забытой науки криминалистики, которая некогда занималась разоблачением преступников, научилась, в частности, опознавать людей, изменивших свою внешность. Там, где не было фотопортретов, помогали письма. Радиобраслетов тоже не было еще в те времена, да люди и не доверяли эфиру свои личные секреты — предпочитали сообщать друг другу сведения с помощью бумаги. В результате среди белья находились нередко конверты с фамилией адресата, в других лежали начатые послания, иногда с подписью; если же не было подписи, фамилию можно было установить, сличая почерк владельца с почерками на рапортах и доносах. Археологи шли методом исключения: «Этот не Селдом... не Селдом... не Селдом...» Наконец, осталось всего четверо неопознанных. Их ниши подвергли самому тщательному обыску и в одной из них, в матраце, среди смерзшейся ваты, нашли тетрадь, где на первой строчке были слова: «Суд идет...»

Мы даем рукопись Селдома в пересказе. Современному читателю, незнакомому с забытой терминологией судебных процессов, трудно было бы следить за многословными противоречивыми речами прокурора, судьи, обвиняемого, свидетелей... Упростим рассказ. Итак...

*

Началось с того, что у Селдома умер отец. Хоронили его в сочельник, накануне главного из английских праздников того времени. День был туманный, сырой и желтый, но даже туман казался радужным из-за множества огней на елках в витринах. И лица прохожих, омытые холодной росой, сияли тоже. Все прижимали свертки к груди, предвкушали обед с традиционной индейкой, радостные крики детей, получивших новые игрушки. В такой день даже соседки-кумушки, любительницы свадеб и похорон, не пошли провожать покойника в церковь. У гроба толпились чужие: служки, могильщики и просто наглые оборванцы. И всем Дик (Ричард) Селдом совал деньги — не потому, что верил в загробную жизнь или в силу милостыни, которая облегчит отцу дорогу на том свете. Просто Дик считал, что так надо, так будет лучше.

А потом он вернулся домой, в комнату, пропахшую лекарствами, гноем и одеколоном, тупо уставился на пустую

кровать, где целый год лежало стонущее, мычащее, плохо пахнущее существо, даже по внешности не очень уже похожее на его доброго, умного, тонко-иронического, благородного до безрассудства отца.

Дик был потрясен и подавлен. Они были очень одиноки с отцом в этом чужом Лондоне, где проживало восемь миллионов равнодушных к ним людей. А из-за того, что они были одиноки, Дику никогда не случалось видеть смерть вплотную до двадцать восьмого года своей жизни. И смерть оказалась очень страшной, гораздо страшнее, чем он представлял по книгам и картинам.

У Герберта Уэллса, английского писателя того же века, был роман о далеком будущем — не пророческий, а предостерегающий. Там были у него такие «Илойи», милые человечки, нежные и беспечные. Их откармливали на мясо людоеды — «Морлоки»,— жившие в подземельях. Илойи знали об этом, но предпочитали не помнить. У них дурным тоном считалось упоминать о подземных колодцах, где обитала смерть.

(Дорогие Илойи, если вы взялись случайно за эту книгу, кончайте читать, бегите на луг собирать ромашки. Я писал для тех, кто не побрезгует лезть за истиной в черный колодец, кто понимает, что нельзя лечить с завязанными глазами и смерть не победишь, если не посмотреть ей в лицо.)

Отец Дика тоже предпочитал облагораживать, хотя он сам был врач, лечил больных людей. Но он говорил, что в жизни и так слишком много гнойников, чтобы думать о них еще за дверьми кабинета. Он любил изящные костюмы, симфонические концерты, беседы о науке, красивые поступки. И сам совершил один раз в жизни поступок, благородный до безрассудства,— женился на матери Дика.

Мать Дика была просто очаровательна — мила, изящна, добра, жизнерадостна, всем довольна и нетребовательна, умела готовить превкусные обеды и утешать в горе. Один недостаток был у нее — бабушка с черной кожей. Мэри Селдом была «колоред» — цветная; не было тогда преступления позорнее в Южной Африке, где она жила.

Когда Джозеф Селдом женился, друзья сказали: «Идиот». Хуже было, что пациенты оставили его, заявили, что они брезгливы. Доктору пришлось покинуть центр города и переехать в кварталы для цветных. Пришлось покинуть больницу. Владелец ее, лучший друг, сказал со

сконфуженно-заискивающей улыбкой: «Джо, ты меня знаешь, я человек без предрассудков, я бы всей душой, но я завишу от пациентов...»

И так всю жизнь. Уколы мелкие, удары тяжелые. Стекла, разбитые ночью. Кусты, облитые керосином. Поджоги. Оскорбительное сочувствие: «Ваша жена такая милая, совсем не похожа на цветную». Сверстники богатеют, приобретают имя, печатают труды, читают лекции. Джо Селдом пользует бедняков касторкой, играет дома на виолончели, решает шахматные задачи. И жизнерадостная жена рыдает почти ежедневно: «Джо, я загубила твою жизнь. Давай простимся, я уйду от тебя».

Но отец Дика хотел быть благородным... и был благородным до конца... до конца Мэри.

Она погибла из-за цвета кожи. Хотя в медицинском заключении о коже ничего не было написано, там сказано было: «Гнойный аппендицит, прободение стенки кишечника, перитонит». У Мэри в самом деле был аппендицит, болезнь она запустила; бывало, полежит на диване: «Авось пройдет!» Позже, став взрослым, Дик думал: «А может быть, мать нарочно не лечилась? Может, это форма самоубийства была такая — способ избавить любимого от цветной жены».

В общем, однажды ей стало худо на улице. Больница ее не приняла из-за цвета кожи. Повезли в другую, третью...

Мать скончалась в карете «скорой помощи».

И тогда отец сказал: «Прочь отсюда! Едем в Гану, в Либерию, куда угодно, к черту на рога!»

Ведь Дик —единственный и любимый сын — тоже был цветным. Такая же судьба ожидала и его.

К черту на рога они не поехали, отправились на «старую родину» Джозефа — в Англию.

Дик уехал без особенного сожаления. Ему было пятнадцать тогда; как все мальчишки, он мечтал о путешествиях. Так приятно было укладываться, отбирать и выбрасывать вещи, покупать билеты, бегать по всем палубам, наконец, увидеть белые утесы вдали. Для него — африкандера — старая Англия была страной экзотической и книжной, сплошным литературным музеем. Вот уличка, где жил Шерлок Холмс, вот переулки Оливера Твиста, вот темница Марии Стюарт, вот замок Айвенго. Потом колледж, новые товарищи, гребные гонки, румяные серо-

глазые девушки. Дик акклиматизировался в туманной Англии. А отцу это не удалось.

Он прожил в Африке лет сорок, привык к зною и сухости, к январской жаре и к июльским ледяным ветрам. Англия казалась ему сырой, пасмурной и непомерно дождливой. Да тут еще неустройство, разочарование, непривычная обстановка. Цветные пациенты избаловали старого врача — они приходили толпами, благодарили за любую помощь. В Европе пришлось купить практику с сотней капризных и требовательных обывателей. Им нужно было не просто лечение, а новомодное — с внушением, угождением, подходом. Постепенно, год за годом, старик терял дорого оплаченную практику, новых больных не приобрел, опустился, опустил руки, постарел, обрюзг, стал прихварывать чаще. Лечил он себя покоем, лежал целые недели на диване, вставал неохотно, почти не выходил на улицу, побледнел, пожелтел, отмахивался, когда сын старался вытащить его на свежий воздух, ссылался на одышку, сердце, поясницу. Дик сердился, считал, что отец губит себя безвольной пассивностью. Но однажды другой доктор, приглашенный, сказал Дику роковое:

— Безнадежно!

Еще на два года растянулась эта безнадежность. Два года продолжался спуск по лестнице со ступеньки на ступеньку — к смерти. Мир отца суживался: сначала он еще ездил за город, в парк, потом выходил на улицу, потом бродил по квартире, гулял, сидел у форточки, потом перестал ходить — пересаживался из кровати в кресло, наконец, перестал садиться, только ворочался с боку на бок. Последние недели не ворочался — оттого и начались пролежни.

Мир суживался физически и суживался умственно. Первый год отец еще читал специальные журналы — не хотел отстать от медицины, потом только развлекательные романы, потом только газеты... Перестал читать, говорил о прошлом — устоявшиеся были воспоминания, всегда одни и те же. Потом и прошлое потерялось — осталась болезнь, еда и уборная. Постепенно исчезли слова, их сменило мычание, стоны, крики... и затем немое молчание, дремота и сон — до последнего вздоха.

Ведь он же медик был, отец Дика, а в последний год забыл латынь. Дика просил смотреть в справочники и верил беззастенчивому вранью. Твердил: «Надо ехать в

Африку, на солнце, мне станет легче». По ночам будил сына истошным криком: «Дик, спаси меня!» Дику хотелось спать, не всегда он отвечал с должным терпением. А утром стыдил себя, бежал за врачом. Приходил врач, пожилой, добрый, с иронически-печальными глазами, говорил, снимая пальто: «Иду к вам, как на казнь. Ну ничего же не могу поделать, и никто не поможет». Дик совал деньги в руку, примирялся на час, час спустя корил себя за черствость, что-то бежал продавать или закладывать, искал адреса знаменитостей, упрашивал их приехать, привозил на такси. Знаменитости выписывали какое-нибудь мудреное лекарство, обычно дорогое, редкостное, заграничное, опытное... Дик ехал в лаборатории, умолял, выпрашивал, заказывал...

А через неделю отцу становилось хуже, он спускался еще на одну ступеньку к смерти.

Временами Дику казалось, что в теле отца сидит что-то злонамеренное,— в средние века сказали бы «злой дух». И это злонамеренное упорно и последовательно разрушает организм изнутри. Врачи суетятся, ставят какие-то подпорки и заплатки, пипетками гасят пожар, нитками поддерживают падающие стены. Но дом прогнил, его не починишь дощечками. В одном месте подпирают, в другом рушится с грохотом. Злонамеренное торжествует — его не видят, о нем даже не помышляют. Оно рвет и ломает, а медики сшивают, а оно опять рвет... и всех дырок не залатать.

«Рекомендую вам выписать из Бостона пульпаверизин...»

«Давайте свежую бычью кровь. Ее можно достать на бойне».

«Уколы три раза в день, потом перерыв на два дня»...

Временами измученный Дик начинал сомневаться: нужна ли эта бессмысленная деятельность? Вылечить невозможно, медицина растягивает мучения, удлиняет агонию, прибавляет месяцы не жизни, а боли, удушья, страха, искусственного наркотического забытья и отчаянных воплей: «Дик, иди сюда скорей! Спаси меня, сыночек!»

Однажды Дик спросил постоянного врача, того, с грустно-ироническими глазами, спросил напрямик:

— Почему вы не отравляете безнадежных?

Тот ответил:

— Не имеем права. Злоупотребления могут быть.

Впрочем, все равно не решились бы. Слишком худо знаем медицину. Никогда нет уверенности. А вдруг... Мало ли что... Ошибешься — совесть замучит. Если не совесть, так родные.

— Значит, человек должен мучиться год, чтобы ваша совесть была чиста?— зло спросил Дик.

И доктор, испугавшись, погрозил ему пальцем:

— Но-но-но, молодой человек! Не берите на себя функции господа бога! За это виселица.

И опять Дик бежал что-нибудь продавать и закладывать, стучался в двери больниц, платных и бесплатных, страховых, благотворительных, просил, уговаривал, совал деньги, выпрашивал какие-то ненужные процедуры и операции. Операции делали... Через некоторое время отцу становилось хуже, и Дик увозил его домой. В платных больницах дни стоили слишком дорого, в бесплатных не любили держать безнадежных. Там дорожили койками и репутацией, добивались, чтобы процент умерших был невелик.

Кровь, гной, бинты, крики, наркотики! Со ступеньки на ступеньку, ниже и ниже. Сильный человек был отец Дика, потому и мучился дольше. Уже и агония начиналась у него, и дыхание было с перерывами... а он все жил и жил.

Но однажды вечером сиделка сказала Дику: «Пульс, как ниточка. До утра не дотянет. Я подежурю, если хотите». Дик, подготовленный двухлетним бдением, уже бесчувственный от усталости, лежал за дверью в соседней комнате, читая «Да сгинет день!», что-то южноафриканское о цвете кожи. В полночь он услышал протяжный хрип. Так называемый последний вздох. Воздух выходил из легких.

И вот два дня спустя, вернувшись с похорон в комнату, пропахшую тлением и одеколоном, Дик сидел, тупо уставившись на пустую кровать.

Горевал он? Был потрясен, раздавлен? Пожалуй, нет. Для настоящего горя нужно немножко испугаться, удивиться. Но какой тут испуг, если пресс, медленно опускавшийся два года, раздавил тебя в конце концов? В сущности, Дик потерял отца не сегодня. Отец уходил постепенно — по частям: ушел кормилец, ушел наставник, ушел занимательный собеседник, ушли сильные руки, ушел ум, потом рассудок. Два года бессмысленных уси-

лий, жалких потуг удержать пресс. Бессмысленность эта угнетала всего больше. Два года Дик ухаживал за умирающим. Безнадежная попытка задержать пресс, который побеждает всегда.

Почему побеждает? Почему всегда?

«Ничего не поделаешь, так устроено богом»,— говорят утешители.

«Ничего не поделаешь, закон природы!»

Воля божья — в то время на Западе (где еще господствовал капитализм) это было самое распространенное объяснение. Так устроил бог — сколько начинаний, замыслов, устремлений, сколько возможных открытий закрывал этот барьер! Так устроил бог — и на Земле есть богатые и бедные, войны и воины, калеки и убитые, голод и эпидемии. Бог устроил так, что мы не видим чужие планеты и вирусов. Долой астрономию и микробиологию! Бог устроил так, что все стареют и умирают. Кто знает, на сколько лет раньше была бы разгадана тайна смерти, если бы люди не верили поголовно, что смерть установил бог.

Бог изображался бесконечно великим, вездесущим, всезнающим, всемогущим, заботливым, как отец, и бесконечно добрым, всемилостивейшим. Всего лишь один раз в жизни надо было бы задуматься, чтобы опровергнуть эти славословия. Но миллионы людей так и жили, не открывая глаз, не разрешая себе задуматься. Для тех же, кто пытался задавать вопросы, спросить, почему бесконечно добрый допускает столько зла и страданий на свете, существовали объяснения: либо ты грешник, и бог наказывает тебя за грехи; либо не грешник, и бог испытывает твою веру.

Испытывает, как капризная девушка, пробует, какие издевательства ты вытерпишь во имя любви.

А зачем всезнающему испытывать? Почему всемогущему не сделать людей безгрешными? Для чего вседобрейшему эта жестокая игра кошки с мышкой, игра в грехи и наказания, если в руке его весь мир и ни один волос не упадет без воли божьей?

Вероятно, и Дик не задавал бы себе таких вопросов, если бы отец его не был универсальным врачом для бедных, не лечил бы наряду со взрослыми детишек, парализованных полиомиелитом, ослепших от трахомы, оглохших от скарлатины... За какие проступки наказывались

эти несмышленыши? За грехи родителей? Но подлеца, который искалечит ребенка, озлившись на родителей, в любой стране осудят на самое жестокое наказание. Неужели же бог испытывает силу веры у трехлетних детей, еще разговаривать не умеющих толком?

Вот почему Дика не усыпили привычные бормотания: «Божья воля. Все к лучшему!» Вот почему, глядя на пустую кровать, он спрашивал: «Зачем? Почему?»

Нет, не в день похорон начал он искать ответ. Тогда он ощущал только безнадежную усталость и недоумение. Но недоумение засело в голове, и засело в голове это представление о тайном, злонамеренном, старающемся уничтожить отца. Проблема старости и смерти показалась Дику — совсем еще молодому человеку тогда — очень важной, самой важной на свете. И, оказавшись в Публичной библиотеке (той, где Маркс занимался когда-то), Дик взял в каталоге ящик с карточками книг о старости.

Почти все авторы излагали обычную, самую распространенную в то время точку зрения: существует естественный предел — около 150 лет. Нервная городская жизнь, пыль, бензин, а главное, болезни сокращают срок жизни. Так что до естественной старости никто из нас не доживает. Точка зрения казалась приятной и обнадеживающей. У каждого — запас лет на восемьдесят. Только беги из проклятых городов на чистый воздух, и жизнь утроится сама собой.

В подтверждение приводились факты: действительно, естественная старость в природе не встречается, все умирают от конкретной болезни. Действительно, бывают люди, дожившие до 150 лет. И обратите внимание на кошку: она растет одну шестую часть своей жизни, а пять шестых бывает взрослой. А человек? Растет лет до 25, почти половину жизни вместо одной шестой. Помножим 25 на 6 — получается 150.

Но Дик работал в конторе, имел дело с цифрами, образование у него было математическое, строго логическое, и утешительная логика этих расчетов не показалась ему убедительной.

В самом деле, с каких это пор верхний предел считается нормой? Бывали на свете люди в три метра высотой, не считаем же мы себя недомерками, не доросшими до естественного предела. Есть в Америке несчастный урод в полтонны весом, его таскают на носилках. Но никто не

мечтает о таком весе, не считает себя недокормленным скелетом.

И насчет арифметики: почему отношение детства ко всей жизни должно быть одинаковым у человека и у кошки? У других животных оно иное: 1 : 3 у овцы, 1 : 5 у лошади, 1 : 10 у слона, 1 : 50 у попугая. Возьмем за норму многообещающие цифры попугая. Помножим 25 на 50 — получится естественный предел больше 1000 лет!

На бумаге получится.

И самое главное: что такое естественный предел? По какой причине умирают люди, дожившие до предела? Просто так, без причины? Или естественный предел только псевдоним бога?

Вопрос казался необыкновенно важным. Образ отца еще витал перед глазами. И так получилось, что по воскресеньям, когда сверстники и сослуживцы катили за город с девушками в облегающих брючках, Дик Селдом шелестел страницами в прохладной тиши читальни. Он искал причину старости и смерти.

Двести причин предложила ему биологическая наука XX века.

Отравление кишечными ядами, закупорка сосудов известью, израсходование ферментов, замена благородных тканей соединительными, замена подвижных белков малоподвижными, слипание коллоидов, изнашивание молекул, изнашивание клеток, изнашивание сосудов, нервов, сердца... двести вариантов порчи и изнашивания.

Изнашивание? Ответ как будто правдоподобный. Машины срабатываются, ботинки стаптываются, материал протирается, вода камень точит, разрушает скалы и горы. Казалось бы, и тело наше должно рано или поздно износиться, словно куртка, словно костюм.

Но в том-то и дело (ко времени Дика это было выяснено), что организм не похож ни на куртку, ни на машину, ни на скалу. Скорее, его можно сравнить с рекой. Сегодня, вчера и восемьсот лет назад — во времена Ричарда Львиное Сердце — Темза катила свои воды у подножия Тауэра. Но где вода, в которой купались ратники Робин Гуда? Давно утекла в море. Вода утекла, а река течет. Дожди, родники, тающие снега наполняют ее все снова и снова.

Можно ли сказать, что река изнашивается?

Человек существует в беспрерывном разрушении и

самообновлении. Подсчитапо, что красные кровяные шарики полностью сменяются за 3—4 месяца, белые — за неделю-две (лучевая болезнь — порождение атомных бомб — помогла это выяснить), все белки—не меньше чем за два месяца, все атомы до единого—за семь лет. Прожив семь лет в Лондоне, Дик уже весь целиком состоит из «английских» атомов, ни одного «южноафриканского» не осталось в его теле. Дик-студент и Дик-мальчик — разные люди. Изменилась форма и сменилось содержание. Только непрерывная последовательность текучих атомов связывает их.

Итак, прожив 28 лет на свете, Дик сменил все атомы четырежды, все белки раз двести. Почему же двести раз полная смена произошла безо всякого изнашивания, а при четырехсотом или пятисотом ремонте неизбежны поломки?

Не Дик придумал это возражение — он вычитал его. Авторы двухсот теорий старения спорили друг с другом. И обилие теорий и легкость опровержения — все говорило, что правда еще не найдена.

Читая, Дик возмущался и радовался одновременно. Возмущало его и бессилие науки и бездействие ее на этом важнейшем направлении. А радовался, потому что его, как всякого ученика, воспитывали в глубочайшем уважении к ученым прошлого. И так много ему говорили о великих умах XIX века, что у него создалось впечатление, будто бы и открывать нечего, кое-что уточнить остается. И вдруг проблема рядом: неизвестно, почему к людям приходит старость.

С особенным удовольствием Дик выписал из одной книги такие слова, несколько преувеличенные, даже сенсационные, в духе рекламной капиталистической прессы:

«Тайну бессмертия откроет тот, кто расшифрует нижеследующую таблицу, объяснит ее логику:

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

Амеба — полчаса, несколько часов
Гидра — 10 месяцев
Актиния — до 70 лет
Подепки — несколько часов, дни
Жаба — 36 лет
Черепаха — до 200 лет
Курица — 15—20 лет
Сокол — 100 лет
Попугаи — 50—100 лет
Заяц — 5—7 лет

Улитка — 7 лет	Кошка — 10 лет
Рыбы-бычки — 1—3 года	Крыса — до 30 мес.
Горбуша — 1 год	Слон — 70—80 лет
Щука — до 267 лет	Горилла — 15 лет

Человек — 70 лет
Макроцистия—12—15 тыс. лет
Дуб — 400—500 лет
Рожь, пшеница — 1 лето.

«Тайна бессмертия откроется тому, кто расшифрует...»

Дику представлялось, что он держит в руках секретный план, где крестиком обозначен зарытый клад. Столько вечеров провел он, разглядывая таблицу, прикидывая так и этак, мечтая...

Может быть, долголетие зависит от размера: крупные живут дольше?

Нет, не получается. Щука долговечнее слона.

Может быть, все дело в затрате энергии? Малоподвижные живут дольше?

Нет, не получается. Больше всех энергии тратит человек.

Может быть, все дело в совершенстве. Человек совершеннее других.

Но и актиния, жалкий желудок со щупальцами, живет 70 лет, как человек, и во много раз дольше крысы.

Может быть, нервы — самое слабое место в организме? Ведь известно: все клетки в теле возобновляются, кроме нервных.

Но вот есть живые существа без нервов вообще — амеба, актиния, рожь, дуб. Какой разнобой в сроках жизни — от получаса до пяти веков.

Не дается клад в руки!

Дик начертил таблицу на листе ватманской бумаги, нарисовал на ней зверей, повесил над кроватью вместо картины. Ложась спать, поглядывал на нее, иногда раздумывал, чаще мечтал. Наступит все-таки день, когда он подберет ключ к тайне. Он станет знаменитостью. В газетах метровые заголовки: «Ричард Селдом — кудесник нашего века!» Банкеты, премии, вспышки магния, репортеры с блокнотами... «Расскажите, как вам удалось это? Хотя бы строчку, хотя бы полстрочки! Как вам пришло в голову?»

«Находит тот, кто ищет»,— говорит Дик важно.

Он богат, у него особняк, яхта, свой самолет, три машины для выезда. Шесть месяцев в году он путешествует: Америка, Италия, Индия... У дверей особняка драки, плачущие девушки умоляют, стоя на коленях: «Ваша доброта общеизвестна, продлите жизнь моему папе».—«А кто ваш папа? Врач из Южной Африки? Из тех, кто прогнал мою мать, дал ей умереть от аппендицита? Идите прочь, девушка, ваш отец недостоин жить дважды...»

И все-таки Дик нашел ключ.

Это было в 1962 году. Мы называем дату, потому что она имеет значение. В тот год отмечалось 150 лет со дня рождения Дарвина — величайшего теоретика биологии.

Именно Дарвин доказал, что жизнь на Земле эволюционирует: развивается и изменяется, что человек произошел от животных, а не был создан по образу и подобию божьему. Именно Дарвин указал и причину этой эволюции — естественный отбор в условиях борьбы за существование.

Тысячелетиями жрецы всех религий твердили в своих проповедях: «Вот как целесообразно устроен каждый жучок, каждый листок, мурашки, букашки, былинки, травинки! Во всем видна премудрость бога-творца».

Дарвин первым дал объяснение этой премудрой целесообразности. Оказывается, в борьбе за существование только премудрое способно уцелеть. Все нецелесообразное гибнет — вымирает.

Дарвин жил в Англии. Сам он был человек болезненный, с повышенной чувствительностью, тихий, вдумчивый, с умеренными взглядами, хорошо обеспеченный сельский помещик. Но в теории его была взрывчатая сила — антирелигиозная, антидогматическая, антикапиталистическая в сущности.

В Америке Дарвин вообще был запрещен в некоторых штатах; в Англии, на своей родине, упоминался с кислой критикой. Дескать, был такой, сыграл роль в свое время, но устарел, давно превзойден, представляет интерес только для историков науки.

Но юбилей есть юбилей, и слава англичанина — это слава Англии. В дни юбилея появились статьи, лекции, книги о Дарвине. Познакомился ближе с его учением и Дик Селдом, постоянно размышляющий о загадках старости. И подумал прежде всего: к старости это не имеет ли отношения?



Может быть, и срок жизни у животных целесообразный?

Вот и сказана главная мысль, дарвиновское о старости. Она мелькнула как молния, а дальше пошло наслаиваться, объясняться, и все сходилось одно к одному, все связывалось в один узел.

Прежде всего: какой же срок считать целесообразным, необходимым для сохранения вида?

Нижняя граница определяется без труда. Чтобы вид не вымер, у животного должно уцелеть не меньше двух детей, не меньше четырех «внуков». Прежде всего животное должно народить достаточное количество потомков.

Не добросердечие, не милость, а холодная жестокость природы проглядывает в этом правиле. Треска откладывает 36 миллионов икринок. Океан не заполнен икрой — это значит, что из 36 миллионов икринок вырастают и дают потомство в среднем две. Для молодой трески жизнь — редкостная удача, вроде главного выигрыша в лотерее. Млекопитающие, которые вынашивают и даже выращивают детей, не нуждаются в миллионных пометах. Пресловутая кошка в течение жизни успевает принести около ста котят, 98 из них гибнет преждевременно, не дожив до старости. В противном случае, все поля и леса были бы заполнены кошками.

Самое разумное, самое совершенное, самое умелое и заботливое в мире животное — первобытный человек — добился рекордной выживаемости. Он рождал примерно

десять детей, чтобы обеспечить продолжение рода. Двое (считая упрощенно) доживали до старости, прочие гибли от голода или в зубах диких зверей.

Теперь становится понятным, почему у кошки и человека разное соотношение между периодом роста и всей жизнью. Человек лучше умел добывать пищу, он мог дольше кормить и охранять детей. Кошка не умела добывать так много пищи, раньше бросала своих детей на произвол судьбы. Свою неприспособленность ей приходилось покрывать плодовитостью.

Становится понятным также, почему так трудно было найти логику в таблице продолжительности жизни. Дело в том, что природа не стремится к долголетию, у нее задача другая — сохранить вид. Но к цели ведут разные пути, и природа находит их. Пути эти: плодовитость, ловкость, сила, большой или малый рост, иногда и долголетие. Сокол, например, кладет 1—2 яйца, но зато живет сто лет. У него долгая жизнь уравновешивает немногочисленность птенцов.

Каким же должен быть минимальный срок жизни для человека (первобытного), исходя из интересов сохранения вида? Лет 15—20, чтобы стать взрослым; 20—30 лет, чтобы родить десятерых детей; лет 15, чтобы вырастить последнего. Итого 50—65 лет. Такова, вероятно, была естественная продолжительность жизни в первобытных лесах. Естественная, но не средняя. В лучшем случае только двое из десяти доживали до этого возраста.

Ну, а каков же максимум? Каков верхний предел жизни?

Как это ни удивительно, но те же интересы вида требуют, чтобы животное жило не слишком долго.

Дело в том, что каждый вид, от ничтожного полувещества-полусущества — вируса и вплоть до человека, существует в форме сменяющихся поколений. Смена поколений была «изобретена» природой где-то на очень раннем этапе развития жизни и сохранилась у всех растений, у всех животных. Видимо, она оказалась чрезвычайно полезной. Почему?

Потому что в смене поколений вид совершенствуется (приспосабливается к среде) быстрее. Потому что дети не копия, а улучшенная модель.

Каждое животное, приспосабливаясь к обстановке, меняет свое поведение и форму тела. Но техники знают:

не стоит до бесконечности переделывать конструкцию. На каком-то этапе разумнее начать заново. В каждом детеныше природа и начинает заново, объединяя достижения отца и матери.

Однако морально устаревшая модель (родители) старше, крепче, больше ростом. Родители едят ту же пищу, что и дети. Пока лев-отец приносит добычу львятам, он помогает им расти. Когда же львиная семья распадается, лев-отец начинает мешать молодым. Ведь он сильнее, он забирает себе львиную долю. Молодые не в силах прогнать его, не в силах соперничать. И на помощь им приходит природа: она хладнокровно убивает могучего отца. Лев стареет и умирает. Его организм выключает жизнь, чтобы освободить место молодым.

Что же выходит? Смерть — самоубийство организма?

Дик сам был смущен чрезвычайно, когда пришел к такому выводу.

Но природа предоставляла сколько угодно фактов, подтверждающих неожиданный вывод Дика. В особенности у низших животных легко было найти самое откровенное самоубийство.

Например, у поденок. Они живут несколько часов, откладывают яички и умирают. Можно ли говорить об изнашивании, истощении, смерти от голода в течение нескольких часов? Тем более, что личинка той же поденки живет три года. Три года ползает, питается, растет зародыш, а потом за несколько часов превращение в насекомое, брак, роды и смерть.

Сходно у некоторых рыб — у тихоокеанских лососевых: кеты, горбуши. Год или несколько лет они нагуливают тело в океане, затем все сразу устремляются в реки, откладывают икру и умирают массами. Старость? Какая же старость за считанные дни? Голод? Другие рыбы терпят голод месяцами. Как-нибудь самые сильные могли бы добраться до океана вниз по течению. Нет, просто жизненная задача выполнена, икра отложена, и дальше жить незачем.

То же у некоторых растений. Есть виды бамбука, которые цветут раз в двадцать лет и сразу после этого умирают. И так как в округе весь бамбук зацветает одновременно, цветение считается настоящим бедствием. Вся округа остается без леса, без строительного материала, без одежды, без пищи.

Да что далеко ходить... Ведь и рожь и пшеница — хлеб наш насущный — тоже засыхают, как только осыпались семена. Казалось, почему бы не пожить до холодов? Солнце есть, почва есть, углекислый газ есть. Расти, зеленей, пока не замерзнешь! Но в эти два месяца растение уже не даст семян, а почву будет истощать, отнимая пищу у следующего поколения. Дальнейшее существование бесполезно, даже вредно виду, и колос убирает сам себя из жизни — засыхает.

Но откровенное самоубийство встречается только у тех животных и растений, которые приносят потомство раз в жизни и больше о нем не заботятся. Однако птицы и млекопитающие заботятся о потомстве все. Взрослые нужны детям и после появления на свет. Видимо, поэтому у высших животных (и у человека) самоуничтожение организма принимает другую, завуалированную форму — растягивается на многие годы, чтобы родители успели вырастить и последнего своего ребенка. Это медленное самоуничтожение и есть старость.

Самоубийство! Самоуничтожение! Дик сам себе не верил, с опаской поглядывая на собственное тело. Глаза, уши, мускулы, руки, ноги — все свое, все направлено на сохранение жизни. Но где-то заложена в теле предательская мина, выключатель силы и молодости. Где? Добраться бы до него, вырезать, вырвать, как больной зуб?

Так оказалось, что в мрачных, на первый взгляд, рассуждениях о самоустранении были заложены большие надежды, больше чем в двухстах теориях изнашивания.

В самом деле, изнашивание — вещь как будто нестрашная, но вместе с тем неизбежная. Нельзя избавиться от воздуха и влаги, от ветра, тепла, бактерий, плесени. Конечно, мина замедленного действия опаснее сырости, но зато ее можно вынуть, обезвредить. И тогда...

Тогда, накануне старости, достигнув сорока или пятидесяти лет, люди направляются в ближайшую клинику.

«Сделайте мне селдомовскую операцию»,— просят они.

Выключатель вырезан. И старость не смеет коснуться их.

Люди живут и живут столетие за столетием...

Или же можно будет возвращаться от поздней зрелости к ранней юности, переживать вторую, третью, четвертую молодость, начинать жизнь сначала, исправлять ошибки и глупости первой юности.

Только пусть они осторожнее переходят улицы на перекрестке, двухсотлетние юноши и девушки, чтобы не потерять все свои будущие жизни.

Слава великому Селдому! Победителю старости и смерти — слава!

На мысе Доброй Надежды, там, где сходятся два океана, высится гигантская статуя сына презираемой мулатки.

Впрочем, зачем же статуя? Он сам будет жить с продленной молодостью. Самый знаменитый, самый любимый человек на Земле, желанный гость в каждой семье. Угощение в любом ресторане, вагоны подарков из дальних стран, рукопожатия богатырей (столетних), поцелуи благодарных красавиц (пятой или шестой молодости).

Эликсир вечной юности? Сказка? Наивная мечта?

Дик сам не верил, проверял придирчиво, ставил себе каверзные вопросы, старался загнать в тупик.

В технике есть такое правило: если есть у машины деталь, она может сломаться. Если есть орган в теле, он может заболеть. Где болезни выключателя? Должна быть несвоевременная старость — ранняя или запоздалая.

Но может быть, прославленное долголетие 150-летних старцев и есть эта самая болезнь, на этот раз желанная. Жалко, что она не заразительна. И интересно, почему же умирают в конце концов рекордные долгожители? Второй есть выключатель — запасной — или другая действует причина?

Еще каверзный вопрос: где исключения? Как известно, в природе нет правила без исключения. Старость утвердилась в биологии, потому что смена поколений полезна виду. Всем ли видам полезна? Если нет, должны быть неумирающие породы.

Ответ: неумирающих видов нет, но есть нестареющие. Быстрая смена поколений очень важна для передовых, энергично развивающихся видов, менее важна для отставших безнадежно, для проигрывающих соревнование. Старость ярко выражена у всех зверей и птиц, а у холоднокровных не всегда. Многие рыбы, змеи, черепахи, крокодилы растут до самой смерти (интересно, почему же они умирают все-таки?). У некоторых даже подавлен инстинкт продолжения рода — крокодилы и щуки пожирают свое потомство. Видимо, для этих животных важнее сохранить патриарха, чем освободить место для неприспособленных, плохо защищенных малышей.

Исключение подтверждает правило.

Еще одно сомнение: в природе все взаимосвязано, организм — единое целое. Если стареет весь организм, возможно ли продлить жизнь, воздействуя на один только участочек — на выключатель.

Но если так рассуждать, нельзя вылечить ни одной болезни. В организме все взаимосвязано, и болеет он весь целиком. Однако есть причина заболевания, есть главное звено, и, устраняя причину, ликвидируешь и болезнь. Вот например: при переходе от юности к зрелости главную роль играет гипофиз — желёзка, спрятанная под мозгом. При болезнях гипофиза переход к зрелости задерживается или ускоряется. Правда, ничего заманчивого задержка тут не дает. Получается не продленная юность, а продленный рост: растут руки, ноги, вырастает гигант с крошечной головкой. Если же гипофиз прекращает работу раньше времени, люди перестают расти, остаются коротконогими карликами — лилипутами.

А на переходе от зрелости к старости не гипофиз ли играет главную роль?

Не он ли и есть выключатель?

Вырезать его, и делу конец!

Вот и ключ найден к шифру жизни, вот и тропинка к кладу. От мечтаний кружится голова. Дик ходит гордый, преисполненный почтения к самому себе. Даже намекает одной хорошей знакомой, некоей девушке первой молодости, что положение его изменится очень скоро.

«У вас дядюшка умер в Америке? Вы наследство получите?» — спросила она.

Но потом оказалось, что природа гораздо хитрее и не склонна так просто уступать клады.

Дик прочел об опытах одного биолога, тоже в Англии. Тот отрезал головы личинкам клопов. Результат получился неожиданный. Личинки превращались в клопов, но только малюсеньких.

Иначе говоря: операция ускоряет переход в следующую стадию — из стадии роста в стадию зрелости или же от зрелости к старости. Чтобы удлинить молодость, нужно поддерживать работу выключателя, а не ломать его.

Поддерживать, конечно, труднее, чем сломать.

Все это сложилось в голове не сразу, не так быстро, как изложено здесь. Дик перевернул горы книг, сделал тысячу миль в своей комнате, расхаживая из угла в угол.

И, как назло, когда он выделял время для обдумывания, ничего не получалось. А лучшие мысли приходили в голову в конторе, когда надо было внимательно списывать цифры с арифмометра и демонстрировать начальству деловитость. Это было опасное время, которое газеты называли «трагедией белых воротничков». За полтораста лет до этого появились машины, вытеснившие ручной труд. Это нужное и важное открытие оставило без работы и без хлеба тысячи и тысячи кустарей, они даже ломали машины. В середине XX века входили в технику вычислительные машины, и они, в свою очередь, оставляли без работы средних расчетчиков — «белые воротнички». Дик принадлежал к их числу. И очень не рекомендовалось в такое время допускать ошибки в ведомостях или в рабочие часы заглядывать в какие-то журналы под столом и делать заметки в своей личной записной книжке.

В результате однажды в субботу Дик получил конверт с недельным жалованьем и вежливое извещение о том, что контора не нуждается больше...

Он не огорчился, даже вздохнул с облегчением. Служба тяготила его, отвлекала от желанного чтения. Все равно не стремится он стать бухгалтером, не хочет тратить время на подсчеты чужих доходов. Его призвание — война со старостью. Тут его слава, карьера, его богатство...

И в тот вечер, когда другие неудачники, получившие конверты с отказом от услуг, смывали свое горе горьким пивом, Дик выводил аккуратным своим почерком:

«Выключатель, спрятанный в нашем теле где-то, срабатывает под конец жизни. В технике такие приборы называются реле времени.

Технические реле срабатывают в зависимости от внешнего фактора — от магнитного поля, от электричества, от света, от химического вещества и т. д. В любом реле времени должны быть:

предмет отсчета,

счетчик,

сигнал, идущий от счетчика,

переключатель.

Природе во множестве нужны реле времени. Для того чтобы почки разбухали весной, а листья опадали осенью, чтобы птицы своевременно улетали в Африку, а рыбы своевременно шли в реки метать икру, нужны реле вре-

мени. И во всяком с железной необходимостью должны быть:

предмет отсчета,

счетчик,

сигнал, идущий от счетчика,

переключатель.

Безусловно, они есть и в реле старости. Тем самым намечаются четыре дороги к продлению жизни:

воздействие на предмет отсчета — на внешнюю среду,

исправление показаний счетчика,

воздействие на сигнал и воздействие на переключатель.

Есть еще и пятый путь: ремонт разрушающегося организма. Именно этим занимается современная медицина, и мы знаем, как малы ее успехи в борьбе со старостью.

И есть шестой путь, или можно назвать его нулевым: воздействие на наследственность, на весь план строения и развития организма, заложенный в первой клетке зародыша. Но этот путь пригоден в лучшем случае только для будущих поколений. Людям, уже родившимся, он не поможет уйти от старости.

Итак, шесть путей, шесть направлений наступления на старость...!!!»

Дик поставил три точки и три восклицательных знака. Потом запаковал в плотный конверт, надписал адрес: «В Бюро патентов». Он был сыном своей страны и своей эпохи — денежной. Прежде всего он постарался обеспечить прибыль, заявить себя собственником идеи, единоличным собирателем доходов с этой жилы.

Английское Бюро патентов оказалось педантичным, заявку вернуло, в патенте отказало на том основании, что идея — не изобретение. Но Дик не был огорчен, потому что в тот же день пришло письмо из Франции. Там порядки были иные, и Дику выдали патент на идею.

Оставалось ждать: кто купит идею и сколько предложит? Мысленно Дик твердо решил не соглашаться на наличные, только на проценты с дохода, по меньшей мере на 20 процентов.

Деньги нужны были неотложно. Сбережения отца растаяли еще во время болезни, вещи были проданы или заложены, работы не было. Дик ждал. Сидел в своей комнатенке, словно паук, боялся выйти в кафе на угол — вдруг упустит визитера? Раз десять в день спускался по лестнице, чтобы заглянуть в почтовый ящик. Часами сто-

ял у окна, рассматривая прохожих; нет ли среди них смуглых, черноволосых, неумеренно жестикулирующих — такими он представлял себе французов.

Но миллионеры — французские или иные — медлили. Почему-то не выражали желания возвращать молодость себе и человечеству, вносить капитал и получать 80 процентов дохода. Однажды Дик, пересчитав оставшиеся монеты, понял, что ждать больше нечего. Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе.

На этом, собственно, кончается история Дика — изобретателя, открывателя и мыслителя, начинается история Дика-просителя.

О одиссея просителя, приключения нуждающегося в помощи, где Гомер, который взялся бы воспеть тебя? Есть песни о мужестве моряка, охотника, воина, летчика, даже о мужестве жулика. Никого не вдохновляет терпение, мужество, изворотливость, настойчивость, ловкость и хитрость презренного просителя, умоляющего позволить ему спасти человечество.

Чудак какой-то, шизофреник!

О часы ожиданий в приемной под зорким оком бдительной секретарши! Улыбки служанкам, сигареты шоферам, визиты в телефонную будку («Позвоните через полчаса!»). Проникновение в чужую квартиру, расписание чужой жизни, привычки, вкусы, настроение, нежелание выслушать! Заискивающие уговоры: ну пожалуйста, где угодно, по дороге в театр, утром, вечером, среди ночи, выслушайте, будьте внимательны! И наконец, решающие три минуты, когда нужно внятно, со страстью, логично, точными, отобранными словами, но с учетом психологии собеседника, изложить, убедить, увлечь, доказать и выпросить.

Вот варианты, которыми пользовался Дик Селдом.

Вариант общественный. За всю историю человечества от землетрясений погибло 13 миллионов человек, и это бедствие приводит нас в ужас. 10 миллионов погибло в первой мировой войне, и 50 миллионов — во второй. Потрясенное человечество страшится войны как главного бедствия. Но старость уносит в самый благоприятный год 30 миллионов жизней. Какую же благодарность заслужит спаситель от старости, человек, сохранивший 30 миллионов уходящих жизней!..

Вариант семейный. Я видел ваших деток — прелест-

ные, шустрые ребятки. Девочка такая миленькая, и мальчик боевой. Наверное, вы ничего не пожалеете для их счастья. А между тем грозная опасность приблизится к ним лет через тридцать — сорок...

Вариант сентиментальный. Я — неудачник, жизнь моя сложилась сурово. Родни в Англии нет, я совсем одинок. Был у меня отец, добрый, благородный, честный врач, который спас немало детей. Но вот злая судьба и его отняла...

Вариант деловой. Люди отдают деньги за еду, за жилье, за лечение, за зрелища и удовольствия. Иные щедро бросают сотни фунтов на прихоти, другие скупятся, считают пенсы и полупенсы. Но нет ни одного самого закоренелого скопидома, который не отдал бы все свое имущество до последнего медяка и еще в долги не залез бы за спасение от смерти, за возвращение молодости. Не будем жадными и жестокими, потребуем только половину имущества, половину жалованья у служащих, половину заводов и акций у богатых...

Варианты заготовлены, выбираются на месте.

Сравнительно легко Дик попал к видному деятелю церкви. Служители бога охотно принимали просителей-неудачников, стараясь завоевать приверженцев словесным участием — не помочь, а утешить: «Сын мой, мужайся, и бог тебе поможет».

Низенький и полный, добродушнейший священник водил Дика по ухоженному садику, разглядывал тяжеловесные пионы и пышущие страстью тигровые лилии, нежную сирень и наивные анютины глазки. Прерывая Дика, зарывался лицом в цветы, блаженно жмурился и шептал с умилением: «Благодать божья! Какая благодать!»

— Вы имеете влияние на верующих. Вы сможете вдохновить их на борьбу с беззубой старостью,— говорил Дик. И сам чувствовал, как неуместны слова о старости рядом с цветущими кустами.

— Сын мой! — сказал священник.— Душа твоя исполнена горечи, сердце ожесточилось, глаза открыты, но слепы. Открой их прежде всего. Господь добр, он создал мир для радости. Не отворачивайся от красоты и благоухания.

— Я говорю о тех, кого господь лишает радости видеть красоту,— настаивал Дик,— о тех, кому не остается ничего, кроме аромата кислых лекарств.

— Так устроил мудрый бог, и не нам, смертным, из-

менять его законы. Посмотри сам: все стареет в божьем мире. И цветы эти поблекнут, увянут, растеряют лепестки, но дадут новые семена, из которых вырастут новые цветы. Таков закон бога...

— Это закон не милосердия, это жестокий закон природы, утвердившийся в борьбе за существование. Жизнь пожирает все, даже то, что ее породило. Но зачем разумному человеку пожирать своих родителей?

— Сын мой, ты ломишься в открытые ворота, пусть свет проникнет в твои очи! Отец твой и так бессмертен, душа его блаженствует на небе. А тело — это временное жилище, оно подобно автомобилю, который бежит как живой, пока шофер сидит в нем. К чему тщишься ты продлить бег машины, уже оставленной шофером. Ей незачем ехать, когда главный хозяин призвал водителя.

Дик возразил усмехнувшись (ведь он-то не верил ни в хозяина, ни в шофера):

— Вы прославляете красоту и радость мира, а сами отстаиваете гниение. Подумайте, в каком положении вы оказались. Давайте выступим оба перед вашими прихожанами. Я буду ратовать за жизнь, за вечную юность, а вы — за неизбежность старости, за то, чтобы сохранять болезни и немощи, а в утешение радоваться цветочкам. Не покажется ли прихожанам, что вы ворон, клюющий падаль, червь, питающийся трупами.

Глаза священнослужителя, сверкнули, весь он вытянулся, даже похудел на секунду и руками взмахнул, словно камнями хотел побить богохульника. Но все же сдержался, выдавил вымученно-сладкую улыбочку:

— Сын мой, не обижаюсь, ибо не ты, а горе кричит в тебе, омрачая твой разум. Но когда ты отойдешь от дома сего и задумаешься, стыдно станет тебе, что оскорблял ты и высмеивал старика, который годится тебе в отцы и желал стать отцом. Стыдно!

Он отвернулся, платком начал протирать прослезившиеся глаза.

И Дик ушел пристыженный, терзаясь угрызениями, краснея за свою несдержанность. Упрекал себя: «Хорош! Людей осчастливить хочешь, а единственного приветливого человека обидел». Только часа через два, уже в лондонском поезде, подумал, что он-то был груб и резок во имя жизни, а священник вежлив и чувствителен, защищая смерть.

Нет, к церкви обращаться незачем. Церковь твердит одно: «Так устроил бог». Если бог устроил, менять нельзя. Церковь извечно за неподвижность, за прошлое против будущего, за бездеятельность против перемен. «Свыше устроено, не человеку менять».

Следующий визит был чисто светский — к модному писателю, из тех, чьи книги девушки кладут под подушку перед сном, наплакавшись вдоволь над страницами. Знаменитый был писатель, даже имя его называть неудобно, и в XXIII веке он почитается. Дик с любопытством озирал кабинет, где рождаются книги. Вот тут они возникают — на этом столе, на этих широких блокнотах, в этой темно-синей комнате, уютной, приспособленной для вдохновения. Полки, полки, полки, забитые книгами. Большой письменный стол с клеем и ножницами, маленький с блокнотами, круглый, красного лака с пепельницей и рюмкой. Жесткие стулья, глубокие кресла, стремянка для верхних полок. Шторы и прозрачные занавески, бра и торшеры. Так и чувствовалось — все подготовлено, чтобы включить вдохновение. Прибегает сюда рассеянный человек с приема или из редакции, из банка или парламента, садится в кресло или на стул, к красному столику или к письменному, зажигает свет, боковой или верхний, блуждает взглядом... видит книги или блокноты, закуривает или смешивает коктейли. Минута, и стихи свободно потекли...

— Слушаю вас,— сказал бледный плешивый человек в бархатном халате с кистями.

Дик выбрал вариант общественный, заговорил о землетрясениях...

Писатель молча раскуривал необыкновенно длинную, похожую на трость турецкую трубку.

— ...Я не слишком сухо говорю, не утомляю вас цифрами? — прервал себя Дик.

— Нет, нет, я слушаю, мне очень интересно,— сказал писатель.— Я люблю цифры. Тридцать миллионов умерших ежегодно, тридцать миллионов трагедий в год — это внушительно. В сущности, список тем так ограничен: любовь, труд, смерть — вот и всё. И тут тридцать миллионов почти неиспользованных драм. Вообще-то люди предпочитают читать о горе. Как сказал Лев Толстой: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая — несчастлива по-своему». Счастье притупляет, горе облагораживает, утончает чувства. Нет, как хотите, без



смерти литература обеднеет. Читатели не простят мне союза с вами. Они сочтут меня перебежчиком.

Может быть, он и прав был со своей стороны, литературный эксплуататор смерти. Но безжалостный Дик, глядя на его холеное лицо, рассказал, как сиделка ворочала отца, приговаривая: «Больного жалеть не надо. Больному от жалости хуже».

— Пожертвуйте одну тему ради вечной юности,— сказал он в заключение.— Две останутся: любовь и труд.

Писатель был смущен.

— Ну хорошо, допустим, я пожертвую,— милостиво согласился он.— Хотя при чем тут я, я же не препятствую медицине. И вообще я проводник по тайникам души — так называют меня критики,— а вы толкуете о каких-то железках. Я не могу писать о железках, я разочарую читателей. Почему вы не обратитесь к специалистам?

Дик не мог не согласиться. И правда, специалист по тайникам души не обязан писать о тайнах физиологии. Согласился и только на лестнице придумал возражение. Писатель не обязан, но мог бы сделать что-то необязатель-



ное для спасения жизни чужих и своей. Видимо, Дик ошибся в своих расчетах. Не все люди на Земле согласны отдать половину имущества ради жизни.

«Почему вы не обратитесь к специалистам?» — спросил писатель. Честно говоря, Дик медлил не из лучших побуждений. Ведь патент у него был только французский. Он опасался, что ученые подхватят идею, переиначат, назовут другими словами, а его, инициатора, оттеснят. Но ведь тут дело шло о счастье человечества. Дик пристыдил себя, подумал, что частью славы он может пожертвовать, поделиться с другим ученым... и пробился, не без труда, к видному биологу, очень деловитому, еще нестарому, коренастому крепышу, стриженному ежиком.

— Молодой человек,— сказал тот, не дослушав и до половины,— ко мне приходят многие с подобными предложениями. Обычно я отвечаю так: «Я тоже люблю порассуждать о политике, но делаю это за чаем в гостях. А пишу я только о том, что я знаю,— о биохимии. Разве вы биолог по специальности? Разве вы думаете, что люди напрасно учатся в университете пять или шесть лет?»

Этот разговор был только первым, за ним последовали десятки. Далеко не все ученые осаживали Дика так же нетерпеливо, чаще это было свойственно молодым. Старики приглашали Дика к столу, знакомили его с дочками, похлопывали по плечу или по коленке, уговаривали ласково, как больного:

— Вы, юноша (дружок, голубчик, батенька), больно уж торопливы. Человечество тысячи лет решает проблемы жизни и смерти. Лучшие умы не нашли ответа — Бэкон, Парацельс, Аристотель, Эпикур... Разве вы считаете себя талантливее Бэкона? Нескромно, юноша (дружок, голубчик, батенька). Открытия достаются тяжело, наука сейчас так сложна — синхрофазотроны, электронные микроскопы, спектральный анализ, парамагнитный резонанс. Юность самонадеянна. Я тоже в студентах был таким. Кончил, потом написал диссертацию, звание мне присвоили, одели черную шапочку в Кембридже. Двадцать лет (тридцать, сорок) терпеливо сижу в лаборатории... и не перевернул мира мизинчиком, не перевернул. А вы кто? Вы даже не студент в биологии. Нельзя же так нетерпеливо. Вени, види, вици!

«Но ведь я нескромен ради жизни, а вы скромно и терпеливо не боретесь со смертью»,— думал, а иногда и говорил в глаза Дик.

И не сразу он понял, что специалисты, и резкие и ласковые, просто не слышат его. Его слова не пробиваются сквозь их барабанную перепонку. Они смотрят раздраженно или терпеливо, а про себя думают: «Кто этот Селдом? Недоучка, бухгалтер какой-то. Чему он может научить меня, профессора? Что он может сказать, кроме глупостей?»

Позже, когда Дик жаловался на ученых своему новому другу Горасу Джинджеру, журналисту, едко-циничному на словах и шумно-восторженному на страницах газеты, тот хохотал долго и преувеличенно:

— Святая наивность! Конечно, тебя не слышали. А услышали бы, все равно ничего не сказали бы. Ведь это биологи только по названию. На самом деле это специалисты по шерсти, по почкам, по вакцинам или по биографиям великих биологов девятнадцатого века. Да и что скажет о жизни знаток овечьей шерсти? Он о жизни ничего не читал со студенческой скамьи. Вот он глядит на тебя и думает: «Мне о жизни и смерти нельзя высказываться. Это

вторжение в чужую область, нарушение научной этики. Тут я некомпетентен. Ошибусь, подорву свой авторитет. Сплетни пойдут: профессор, а ведет себя несолидно...»

— А что важнее — сплетни или вечная юность?

— Да ведь юность эта — журавль в небе, а тут синица в руках — профессорское жалованье, конверт каждую субботу, лекции, консультации, учебники, статьи... Ты поищи биолога, специалиста по жизни, не по отметкам в зачетной книжке.

Ищущий находит. Дик нашел и биолога.

Многие современники Дика считали, что герои в Англии повывелись. Некогда существовали — в эпохи рыцарей и пиратов, а к XX веку вымерли. В благоустроенном Лондоне есть только полисмены вместо рыцарей, а вместо мореплавателей пассажиры автобусов в ярких галстуках и пыльниках невыразительного цвета.

Лайон Флайстинг был высок ростом, худ, моложав, носил полосатый галстук и невыразительный пыльник. Был ли он пассажиром, судите сами.

Уже сложившимся человеком, опытным инженером, попал он на войну. Год провел на конвейере, где заготовляются трупы, проникся глубоким отвращением к смерти и с фронта привез идею: «Если бы смертельно раненных замораживать и хранить лет 50—100, со временем наука сумела бы вернуть им жизнь». Позже идея расширилась: холод приостанавливает жизненные процессы; тепло, электричество, химические вещества возбуждают. Нужно найти набор возбудителей — и жизнь возобновится, найти другой набор — и от старости двинется к молодости.

Больше пятнадцати лет Флайстинг искал этот набор возбудителей. Он бросил инженерное дело, отказался от заработков и хорошего места. Два года был без работы, без денег и без карточек (тогда в Англии продукты выдавали по карточкам — в обрез и впроголодь). Жена бросила его, не вытерпела полуголодной жизни. Без диплома нельзя было проникнуть в лабораторию,— Лайон за два года кончил экстерном колледж. Но ни в одном институте не искали возбудитель молодости, а свой институт Флайстинг организовать не мог — денег не хватило бы. С двумя дипломами он поступил уборщиком в лабораторию холода, тайком делал свои опыты по ночам. Тайна раскрылась, ночного исследователя выгнали. Опять куда-то устроился,

пережег трансформатор. Уехал в Голландию, вернулся, уехал в Шотландию... Там и разыскал его Дик.

На задворках ветеринарной лечебницы, пропахшей скотным двором и креозотом, в крошечной комнатке, заставленной клетками с крысами и кроликами, долговязый блондин в белом халате с завязками на затылке, рассказывал сочувствующему слушателю свою одиссею.

— Статьи не печатают,— жаловался он.— Если печатают, вычеркивают о возвращении молодости... Даже странно, как будто сами не хотят жить дольше.

Дик, восхищенный, воскликнул:

— Теперь нам будет легче! Мы уже не одиноки. Соединим усилия. Все становится на свои места: искать надо, как возбуждать выключатель молодости.

Но, к удивлению его, даже к обиде, лицо инженера-ветеринара стало сухим и замкнутым.

— Я прочел ваш доклад,— сказал он строго.— Там есть верные мысли, но все это не ново. Я говорил об этом еще десять лет назад.

— О выключателе тоже? — спросил Дик с испугом.

— А что выключатель? Это же литературное сравнение, не больше. На самом деле нет никакого выключателя. Тепло, холод, нервы, кровь регулируют процессы.

Нет, он отказывался принять Дика в долю. Он был героем-мучеником, но хотел быть единоличным владельцем мученического нимба, не соглашался потесниться на бронзовом пьедестале даже для продления своей жизни... даже для успеха дела.

Дик признавал в душе, что Флайстинг прав со своей точки зрения. Может ли равнять себя с новичком человек, проработавший пятнадцать лет? Но тогда и священник прав: он заботится об авторитете церкви. А писатель — об авторитете своем в литературе. А ученые — об авторитете своем в науке. Все последовательны и потрясающе непоследовательны.

Что важнее — жизнь или авторитет?

Дик с усмешкой вспомнил свои наивные мечты. Он ожидал, что его встретят с восторгом, на руках будут носить, задаривать, благословлять, что за ним пойдут толпы энтузиастов. Ничего подобного, никаких толп! На борьбу со смертью никто не хочет тратить ни минуты и ни пенса. Наоборот, требуют еще приплаты. За что? За спасение собственной жизни, за спасение жизни своих детей.

«А ты бескорыстен ли?» — придирчиво спрашивал себя Дик. Да, он и сам мечтал о деньгах, славе и почете. Так он начал. А сейчас? Сейчас, пожалуй, он отдаст открытие даром (почти!), лишь бы оно попало в надежные руки. Слишком много души вложил в дело, и стало оно дороже души. Но другие не вкладывали души. Значит, когда идешь к человеку, думай: какую обещаешь приплату?

Что же он может обещать ученым? Тут труднее всего. Специалистам по шерсти, почкам и вакцинам он предлагает: «Оставь свою тему, займись моей!» Никто не соглашается, конечно.

Что же делать? Ждать, чтобы выросли ученые, для которых тема жизни и смерти будет их собственной? Сколько ждать? Нельзя ли найти людей, которые могут повлиять на ученых?

Дик имел в виду печать — журналистов.

На ловца и зверь бежит. В ресторанчике, где Дик пил кофе по утрам, сердобольная хозяйка указала ему на худого носатого человека, с большущими руками.

— Это Джинджер из «Геральда». Попробуйте познакомиться, может, он будет полезен вам.

Дик помедлил, разглядывая репортера. Что за человек? Лицо невыразительное, глазки оловянные, большущий нос клином. Руки — самое примечательное: длинные пальцы, цепкие, подвижные. Так и чувствуется — этот своего не упустит.

Дик подошел и сказал:

— Предлагаю сенсацию.

Оловянные глазки тупо смотрели в пивную кружку. Голос невнятно пробормотал:

— Чушь.

Но пальцы сжались мгновенно: поймали. Держат. Ощупывают.

Дик понял: тут выслушают.

Он повествовал в рекламном тоне, подсказывая газетчику заголовки: «Вы согласны умирать?», «Приплата за вторую молодость», «Одиссея проситeля», «Умоляю — останьтесь юными!» Он заметил, что правая рука репортера соскользнула со стола, на колени лег блокнот.

— Что ж,— сказал Джинджер,— не сенсация, но материал для заметки на тысячу слов. Значит, вы дарите мне его, чтобы я вам сделал рекламу. В науке я ничего не смыслю, тут я не авторитет, но могу подать под таким со-

усом: среди всяких чудаков есть один, который изобретает бессмертие. «Его бизнес — вечная юность» — с такой шапкой может пройти. А биография у вас интересная? Читатель ценит людей с авантюрной биографией. Хорошо, если вы международный шпион, или торговец украденными девушками, или принц-изгнанник, или убийца-рецидивист...

Записная книжка откровенно легла на стол.

Дик начал рассказывать, с удовольствием глядя, как проворно скользит перо по страничке.

И вдруг цепкие пальцы разжались. Авторучка упала на залитый пивом столик.

— Не пойдет,— сказал Джинджер.

— ?

— Не пойдет. Мне сразу надо было догадаться, что вы полукровка. Не пойдет. Мы ведем переговоры с Южной Африкой о базах, сейчас не время заострять углы. Расовая проблема — их пунктик. Негр — спаситель человечества? Нет, наша газета не пойдет на такое. Напрасный труд.

И он вырвал листок из блокнота.

Дик закусил губы. В Европе ему не так уж часто кололи глаза происхождением. Но первая заповедь просителя: «Будь необидчивым».

— А не можете ли вы,— сказал он,— поступиться предрассудками ради спасения жизни? Написать эту статью о негре, чтобы получить лишних сто лет молодости.

— Чудак! — сказал Джинджер примирительно.— Я не хотел тебя задеть. Предрассудков у меня нет, взглядов тоже, но есть трое галчат, которые раскрывают рты четыре раза в день. Мне нужно жалованье каждую субботу, и я не могу ссориться с хозяином кассы.

— А трех галчат вам не жалко? — настаивал Дик.— Ведь это их жизнь будет непомерно короткой, если их папа не рискнет одной субботней получкой.

Репортер выругался:

— Черт! Хитрый ты малый! Хитрый, но наивный. Все равно я эту статью не протолкну, понимаешь? И пользы чуть. Не мой хозяин — хозяин Англии. Но слушай, что я сделаю. Я сведу тебя с хозяином хозяев.

— С премьер-министром?

— Хитрый ты, но наивный. С хозяином премьеров!

И, чуть шевеля губами, он назвал фамилию одного из крупнейших банкиров.

Как он решился, отец трех галчат, рыцарь субботнего жалованья, поборник синицы в руках?

Три недели спустя Дик, подчищенный и подштопанный, вступил в тайный кабинет хозяина хозяев.

«А что тут особенного?» — спросил он себя.

Обычный деловой кабинет, совсем не такой благоустроенный, как у писателя. Обычная мебель, никелированные трубки и стекло, стекла несколько больше, чем нужно. Книжные полки, ярковатые переплеты. Среднего роста человек, пиджак в меру широкий, брюки в меру узкие. Недорогие сигары в простом деревянном ящичке.

Позже Дик понял —профессия просителя научила его быть прозорливым,—что таков стиль денежного владыки. Он король некоронованный и притворяется обыкновенным человеком. Его обстановка и внешность вопиюще обыкновенные. Они кричат: «Мой хозяин не владыка. Он демократ, он в равном положении с вами. Денег у него побольше, но и у вас может быть столько же. Нет основания злобствовать и завидовать».

И свою, выученную заранее, речь Дик на ходу переиначил. Он обратился не к владыке, а к рядовому человеку: всем нужно продлевать жизнь, вам — тоже.

Хозяин хозяев слушал со скучающим лицом, как бы без интереса. Но как только Дик кончил, быстро задал вопрос:

— Сколько денег? Сколько лет?

Дик со вздохом назвал срок — неблизкий и сумму на ежегодные исследования — солидную. Затем, чтобы скрасить неприятное впечатление, заговорил о прибылях:

— Каждый человек с радостью отдаст половину имущества...

Богач потускнел.

— Десять лет, по-вашему? А что делают в Америке?

— Ничего, насколько мне известно.

Дик пытался еще приводить какие-то доводы, но богач явно не слушал. Один раз улыбнулся некстати:

— Вам легче сделать бизнес, обращаясь не к старикам, а к наследникам. Боюсь, что и мой сын обещал бы вам не одну тысячу фунтов, лишь бы вы не продлевали мне жизнь. Обещал бы! Дать он не может. У шалопая нет ни одного фунта в кармане. Ничего, кроме долгов.

На этом аудиенция кончилась. Богач поднялся, протянул Дику два пальца, небрежно кинул:

— Я подумаю о вашем предложении. Нет, не утруждайте себя, не звоните. Я передам ответ через вашего приятеля. Скажите ему, чтобы он зашел, когда найдет время.

Джинджер нашел время без труда. Он мог бы зайти и через пять минут. Ведь он ждал Дика за углом, словно девушка, проводившая возлюбленного на экзамен. Все-таки было что-то человечное в этом газетчике «без взглядов».

Он побывал у капиталиста через несколько дней и вернулся с недоумением на лице и с конвертом в кармане.

— Вот,— сказал он.— Подачка. Двадцать фунтов. Правда, он обещал больше, если я подберу десяток таких идиотов, как ты, и тисну статью о том, как в нашем свободном мире просвещенные предприниматели помогают инициативным молодым людям. Но я же понимаю — это бесполезно. Из десяти кандидатов в «Геральде» вычеркнут именно тебя, чтобы не дразнить Южную Африку. Нет, что-то ты сказал не так. Давай припомним каждое слово. Что ты говорил? Что он спрашивал?

— Ничего. Спросил, что делают в Америке.

К удивлению Дика, друг его разразился проклятиями.

— Ну конечно, первый вопрос: что делают в Америке? Мы — третьестепенные и сами уверовали в свою третьестепенность. Верим, что открытие может быть сделано только в Америке или же в России. Как будто у нас умных людей быть не может. Дик, увы, ничем тебе помочь нельзя. В Англии каждый спросит тебя: что делают американцы и что — русские? И каждый подумает: «Если американцы и русские не изобрели вторую молодость, значит, изобрести ее нельзя». Мой совет: уезжай скорее из этой захолустной провинциальной страны. Вези свою идею в Америку... или в Россию. Даже пикантно — на деньги буржуя уехать к большевикам.

Дик внял совету. Только выбрал не красный Восток, а золотой Запад. Кто знает, как обернулась бы его судьба, если бы он направился в Советскую страну? Но он не знал русского языка, да и уехать в Америку было проще.

Итак, Дик отправился добывать бессмертие в Америке, отплыл с 50 фунтами в кармане (20 — подарок богача, 25 дал Джинджер из негустых своих сбережений, 5 — старьевщик за все имущество Дика).

Что было дальше? Нужно ли во всех подробностях излагать американский вариант одиссеи просителя? Недоверчивые ученые, недоверчивые специалисты, церберы у

дверей недоступных миллионеров, письма без ответа, уже все одинаковые, лишь фамилии адресатов менялись на конвертах.

«Сэр! Ради спасения вашей жизни и жизни ваших детей, ради спасения в прямом смысле слова, согласитесь потратить полчаса...»

И в Америке не хотели спасать...

Не хотели священники. Писатели. Дельцы. Секретари дельцов. Телохранители дельцов. Конгрессмены. Ученые. Старики. Молодые...

Дик мотался по стране. Мелькали города и городишки. Нью-Йорк. Чикаго. Лос-Анджелес. Богомольная Новая Англия. Расистский Юг. Апельсиново-бензиновая Калифорния. Голубели сверкающие рельсы. Голубели укатанные автострады с пестрыми бензоколонками. Дик поднимал кверху большой палец. «Хич-хок» — подвезите, пожалуйста. В тысячный раз, заученно-усталым голосом, уже не веря в успех, но не позволяя себе отречься, рассказывал попутчику о перспективах вечной юности.

По-разному ему отвечали: «Ну, в это я ни за что не поверю», «Наукой давно установлено», «Дорогой, столько людей умных, ты что — умнее всех?», «Если бог не захотел...», «Мастаки вы насчет сказок — черномазые», «Людей и так слишком много», «А что говорят врачи?», «Все равно атомная бомба всех спалит — старых и омоложенных», «Ладно, если ты такой волшебник, вылечи меня от прыщей!», «Ты это придумал, чтобы денежки выманивать, да?»...

И Дик без возмущения, без горечи стыдил:

«Неужели вы так не дорожите жизнью? И жизнью детей? Хотите, чтобы они состарились обязательно?»

Некоторые обижались. Тормозили. Высаживали.

Из тысячи лиц, промелькнувших на автострадах, запомнилось одно: чисто выбритое, с поджатыми губами, самоуверенное.

— Очень любопытно,— сказал этот бритый, не отрывая глаз от ограниченного сектора, очищенного «дворником» от капель дождя.— Значит, выключатель, этакая шишечка в мозгу, и заведует старостью? А нельзя разрушать ее нарочно — лучами, или импульсами, или бактериями?

Дик пояснил, что выключатель разрушать нельзя; старость наступит немедленно.

— Я так и понял,— сказал бритый.— Потому и спро-

сил: нельзя ли разрушить? Мы живем в трудное время. Прежде чем продлевать жизнь, надо ее сохранить, уберечь свободный мир от красных. Вот наслать бы на них такую скоропалительную старость, чтобы они одряхлели и перемерли за один год все до одного...

Это был единственный раз, когда Дик сам попросил, чтобы его высадили в чистом поле под дождь.

Деньги, привезенные из Англии, быстро кончились. Дик прерывал свое паломничество, чтобы заработать. Зарабатывал чем попало. Сгребал снег. Подметал улицы. Собирал финики. Продавал галстуки. Преподавал арифметику. Возил навоз. И не один раз, оказавшись на мели, бежал на почту, чтобы послать телеграмму в Англию: «Джинджер, выручай! Сижу без цента. Твоя молодость под угрозой».

К сожалению, он не мог достать постоянной работы. Приезжий, цветной (по коже видно), он был для американцев человеком третьего сорта, получал место в третью очередь, терял в первую. Автоматизация распространялась и здесь: «белые воротнички» массами теряли работу. В Америке было пять миллионов безработных, пять миллионов семей, которые не могли прокормиться. Дик принадлежал к их числу. «Я больше думаю о еде, чем о науке»,— писал он Джинджеру в отчаянии.

Весной было особенно тяжело. Уборка снега кончилась, полевые работы не начинались. И ветер дул пронзительный, каждая прореха давала себя знать. И благотворители отказались кормить Дика; он прослыл уже в этой округе безбожником. Случилось так, что он бродил три дня голодный, откровенно голодный, мечтая не об успехе, не о славе, не о бессмертии, а об яичнице, шипящей на сковороде. Как приклеенный стоял у витрин магазинов, у вертящихся дверей ресторанчиков, выбрасывающих на холод клубы аппетитного пара.

Вечер застал его на скамейке возле этаких дверей. Дик глотал слюну, жадными глазами выискивал добрую душу, которая дала бы доллар на ужин. И вот вместе с клубами запахов дверь выбросила на него хорошо одетого юношу. Слишком пьяный, он вышел без пальто, чтобы освежиться, кое-как доплелся до скамейки и рухнул рядом.

Дик заговорил о ссуде. Пьяный расстегнул пиджак, пачка зеленых долларов торчала из кармана... Но тут силы оставили его, он перегнулся через спинку скамейки...

Дик вскочил с отвращением. Ирония судьбы: один страдает от голода, другой — от обжорства. Дик отбежал... замедлил шаг, остановился...

Пачка зеленых бумажек задержала его — ненужная, даже вредная молодому пропойце. Как она пригодилась бы Дику! Хватило бы на добрых полгода. За полгода нашлись бы люди со средствами, он приступил бы к работе, начал бы лабораторные опыты. Не для себя — для человечества, для этого пьяного дурака, между прочим, который упирается, жить не хочет долго, единственную свою молодость старается сократить, отравляя себя алкоголем.

«Не для себя! Не для себя!» — твердил Дик. Но, честно говоря, думал о себе — о своем желудке. О масле, шипящем на сковороде, о ломтиках поджаренной ветчины, о кружках горячего кофе, о банках консервов — плоских и высоких. Потянул оловянный язычок, намотал на стержень: откройся, крышка, глотай, голодающий!

Два Дика спорили в одном костлявом теле. Один кричал: «Воровство! Позор! Преступление!» Другой глотал слюну и жадно бормотал: «Не для себя! Не для себя!»

Опытный вор, вероятно, в таких обстоятельствах думает о способе кражи, о безопасности, о путях бегства. Дик был поглощен борьбой с самим собой. Кричал себе: «Уходи!» И сам себя соблазнял: «Потом, позже, вернешь эти деньги. Может, пьяница этот прославится благодаря тебе. Человек, Купивший Людям Вечную Юность Спьяну!»

Дик уходил и возвращался, кружил, приближаясь к деньгам, словно кролик, ползущий к удаву. Сел вновь на скамью, сказав себе: «Я сидел тут. Ничего нет плохого в сиденье. Захочу — встану и уйду». Огляделся. Кусты закрывали его от освещенных окон ресторана. Взмолился, забыв о своем неверии: «Господи, помоги, ты же знаешь, не для себя беру!» Пьяница спал на скамейке, болтая свесившейся рукой, безвольный, словно пиджак, повешенный на спинку. «Встань и уйди!» — сказала совесть в последний раз (или это был страх?). «Я же верну после, когда разбогатею»,— сказал ей Дик и переложил деньги в свой карман.

Ему хотелось мчаться, ломая кусты. Силой он заставил себя уходить неторопливо. «Господи, помоги, ты же знаешь, не для себя беру!» Пьяные орали в ресторане, истошно визжала какая-то девица. «Только до угла бы дойти — за углом безопасность. Еще двадцать шагов! Решетчатая

ограда, решетка мешает свернуть. Еще десять шагов! Ну, кажется, пронесло! Закушу... и на поезд. Вот и угол! Можно прибавить шаг. Пустынная улица, одинокая фигура в тени. Тоже пьяный? Полисмен!!!

— А ну-ка подойди сюда, голубчик! Руки вверх! Что это у тебя в кармане? Ну конечно, так и знал, я же видел, как ты кружил словно ворона над падалью. Пьяных обираешь, дешевая твоя душонка!

*

Дик не проявил бесстрастного мужества, какое полагается профессионалу. Должно быть, настоящие воры знают, на что идут, чем рискуют. Морально они подготовлены к тюрьме. У Дика все получилось случайно, и слишком велико было падение с воображаемого постамента славы. Дик плакал, становился на колени, целовал суконные брюки полицейского. Дик плакал на следствии и на суде пытался втолковать что-то о своих особых заслугах перед человечеством. Все это было внесено в протокол, но на ход дела не повлияло. Закон есть закон. За воровство полагается тюрьма. И судья, уважающий хладнокровие и твердость у подсудимых, сам проникшийся идеологией гангстеров, от себя еще добавил два года малодушному.

Бездомный благодетель человечества получил кров и питание. Получил комнату — трехстенную — с решеткой вместо четвертой стены. Жизнь по свистку. Свисток — вскакивай с койки! Свисток — выходи на завтрак! Свисток — садись за стол! Свисток — кончай жевать! А потом до обеда прокладывай канавы, режь дерн и сырую глину в болоте. Хорошо, что от усталости думать некогда и дни идут быстро — один за другим, один за другим.

Единственная отдушина — тюремная библиотека. Среди затрепанных книг — детективных и душеспасительных — попадаются иногда и журналы с популярными статьями об открытиях. Дик читает с острой болью и завистью. Какие-то мысли возникают, добавления.

Вот читает Дик книгу о симбиозе. Автор, противник Дарвина, старается доказать, что борьбы особей нет в природе. На самом деле природа многолика: есть в ней борьба за сосуществование и есть сосуществование. Биологический вид выбирает, что ему выгоднее: война или мирный договор? И в результате раки селятся вместе со жгучими актиниями, возле акул вьются лоцманы, возле крокоди-

лов — птицы, выклевывающие паразитов; есть мелкие рыбешки, живущие в пасти крупной или среди щупалец ядовитой фазалии; клубеньковые бактерии, квартируя на корнях бобовых, снабжают хозяев азотом. В кишках людей селятся кишечные бактерии, помогающие переваривать отбросы. В головах у нас рифмуются «микробы» и «хворобы», на самом деле в мире полным-полно полезных микробов.

А нельзя всю медицину будущего построить на полезных микробах? Вывести расу, поедающую холестерин в сосудах — микробы антисклеротики! И поедающие опухоли — микробы антиканцеротики! И поедающие те вещества в мозгу, которые отсчитывают пору наступления старости, — микробы антигеронтики!

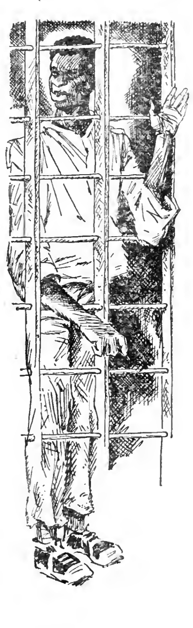
Прививка против старости!

И по воскресеньям узник строчит длиннющие письма в редакции, в научные ассоциации, влиятельным лицам, видным ученым...

«Сэр! Разрешите высказать несколько соображений чрезвычайной важности по поводу Вашей содержательной книги...»

«Заявка в Бюро патентов.

Новый способ лечения склеротических заболеваний...



Новый способ борьоы с раковыми заболеваниями...

Новый способ предотвращения надвигающейся старости, отличающийся...»

Впрочем, так ли нов зтот способ, так ли отличается от общеизвестных. В самом организме есть клетки, пожирающие вредные вещества и вредные бактерии,— лейкоциты, белые шарики, неусыпная стража крови. Они похожи на амеб, сами напоминают микробов. Некогда, до Мечникова, их считали паразитами крови. Кто знает, может быть, белые шарики и в самом деле произошли от паразитов, прижившихся в теле могучего хозяина, поступивших к нему на службу. Так варвары-грабители, поступая на службу к Риму, брались охранять границы империи.

И вот лейкоциты рыщут по телу, пожирают непрошеных пришельцев... и сожрут, пожалуй, непрошеных помощников, присланных охранять организм от старости.

Как быть?

Подумать надо еще...

Месяц спустя читает Селдом заметку о новейших опытах. Соро́ка собакам отрезали ноги, потом приживили: половине собак — свои ноги, другой половине — чужие. Свои приросли, чужие отсохли. Наглядная иллюстрация несовместимости тканей.

А у Дика ворох новых соображений.

Несовместимость — вот в чем беда! Слепая непримиримость организма мешает медицине. Тело отвергает чужую ногу, чужую почку, чужое сердце, умирает, отвергая помощь из упрямства. И стареет, отказываясь от микробов, устраняющих старость, это ведь чужеродные помощники.

Фанатизм какой-то биологический!

Но как же зти фанатики отличают свои клетки от чужих? Почему в слепом фанатизме не поедают собственное тело? Умеют узнавать свое и чужое. Умение необходимое и очень древнее, нужное самым простейшим многоклеточным. Видимо, свои клетки снабжены какой-то отметкой, паролем своего рода: «Я своя, меня не трогай!»

Какой может быть пароль? Химический только. Ведь глаз-то и ушей у лейкоцитов нет. И нервов нет.

Опять вспоминает Дик правило, для медицинских рассуждений очень полезное: если имеется какой-то орган, должны быть и болезни этого органа. Если есть пароль, должны быть болезни пароля. Клетки, потерявшие пароль,

будут съедены; клетки, забывшие пароль, будут есть своих соседок.

Не похоже ли это на рак?

Инфекционные бактерии — чужаки в организме, они пароля не знают, лейкоциты их легко разоблачают и проглатывают. Но природа существует давно, всякие ухищрения перепробовала, на всякий яд нашла противоядие. Нет ли среди бактерий и таких, которые научились «подслушивать» пароль, притворяться своими?

Не похоже ли это на сибирскую язву, одна клетка которой способна заразить и убить мышь? Почему организм мыши так плохо сопротивляется именно этой болезни?

Но всякое оружие может быть использовано и против друга и против врага. Нельзя ли приклеивать пароль к искусственно выведенным бактериям Селдома, которые будут уничтожать опухоли, холестерин в сосудах, придерживать стрелку счетчика жизни на отметке «молодо»?

«Сэр! Прошу Вас потратить полчаса Вашего драгоценного времени, чтобы выиграть много десятков лет...»

«Заявка в Бюро патентов. Как сохранить молодость...»

Правда, главное еще неясно. Как разобраться в таинственной химии пароля? Нужны опыты. Но что можно сделать, сидя за решеткой? Идеи бросаешь на ветер, авось подберут...

Книга об успехах генетики. Самоновейшие достижения. Главы о нуклеиновых кислотах. ДНК — код, шифр, проект организма, программа построения и деятельности, архив и штаб. В ДНК записано все о слоне, все о ките, все о человеке, все о бацилле, все о вирусе. Вирус вообще — голая молекула ДНК, почти голая. Она проникает в клетку, пролезает в штаб, притворяется своим активным работником и, давая ложные приказы, заставляет клетку работать на себя, плодить толпы вирусов из клеточного материала. Вирус — это диверсант, подменивший секретную программу клетки своей, ложной.

Значит, клетка может строить что угодно: и другую клетку, и вредные вирусы.

А нельзя ли подменить программу пользы ради?

Представим себе полезный вирус, искусственный. Допустим, что это ДНК, где записана формула лекарства, пенициллина например. Впрыскиваем ДНК в кровь, записи проникают в клетки, все равно какие — в мышечные, клетки эпителия, соединительные, и клетки те начинают

изготовлять пенициллин. Свой собственный, родной, снабженный паролем.

Имеет это отношение к борьбе со старостью?

Прямое!

В здоровом организме при налаженном порядке мозг распоряжается железами, железы выделяют гормоны, гормоны регулируют деятельность тканей и клеток. В старости все это разлаживается, мозг не посылает приказы, железы ленятся или саботируют, гормонов нужных нет в крови, клетки отлынивают и разрушаются. Запишем теперь нужные гормоны на ДНК, введем искусственный вирус в тело. ДНК проникают в клетки, заставляют их насыщать кровь полным набором гормонов. Возраст человека — это возраст его крови. Молодая кровь играет, когда в нее введен вирус вечной юности.

Прививка бодрости!

«Дорогой сэр! Прошу вас...»

«Заявка на способ радикального омоложения, отличающийся...»

Так прошло два года — четверть срока. Дик уже проводил свободные часы за вычислениями: сколько позади дней, сколько могут ему скостить за хорошее поведение и сколько осталось до того дня, когда можно подать заявление с просьбой о досрочном освобождении... Впрочем, надежда никогда не покидает человека. Дик продолжал писать свои письма, мечтая, что кто-то, власть имеющий, оценит, смягчится, даст приказ... Он загадывал на счастливые числа, ждал избавления каждый месяц 18-го числа, и в свой день рождения и в день рождения матери.

Однажды, 7 февраля, в столовой его отделили от марширующего строя. В тюремной канцелярии за столом надзирателя сидел какой-то офицер.

— Вот это и есть наш писатель,— сказал ему тюремщик почтительно.— Сочиняет все. Папок не хватает.

Дик с ужасом увидел, что все его заявки и замечания, аккуратно подшитые, хранятся здесь, в шкафу.

— А я вас помню,— сказал офицер неожиданно.— На дороге подвозил. Вы еще проповедовали что-то о всеобщем бессмертии и блаженстве на Земле. Ну как, излечили вас в этом санатории?

Дик всмотрелся внимательно и узнал в офицере бри-

того с поджатыми губами, который рассуждал о скоропалительной эпидемии старости в «красных» странах.

— Я продолжаю надеяться,— пробормотал Дик.

— Хорошо, что вы продолжаете надеяться. Вам действительно повезло. Наш главный эксперт считает, что вы можете пригодиться в одной закрытой лаборатории. В общем, мы возьмем вас к себе... и увезем. Очень далеко. Если вы не предпочитаете отбыть свой срок полностью. Колеблетесь? Ну, я не тороплюсь. Подумайте до утра. Мы не скрываем, что хотели бы привлечь вас. Нам очень импонирует ваша постоянная готовность генерировать идеи: надеемся, что этот генератор не иссякнет и в будущем, хотели бы иметь его под рукой. Но... в общем-то, идеи носятся в воздухе. Вы сами понимаете, что можно обойтись и без вас.

Дик все понял. Он не обманывал себя иллюзиями. Чем могла заниматься закрытая лаборатория, к делам которой причастен офицер? Уж никак не продлением жизни. Дик понимал, что он предатель: предает мечту, предает себя, предает стариков и у всех детей отнимает долгую жизнь. Но устоять не мог. Еще шесть лет по свистку убирать свою койку, по свистку садиться за стол и по свистку прекращать жевать! Еще шесть лет, день в день, провести в трехстенной комнате с решеткой вместо четвертой стены! День в день! Отказ офицеру не сочтут хорошим поведением.

Уж лучше бы не было этого соблазна!

*

Вот и все, что можно было прочесть в рукописи. Селдом не успел или не мог написать о своем прибытии в Антарктиду, о работе на тайной подземной базе. Впрочем, можно было догадываться, как использовались его идеи. Снаряды были начинены не вакциной юности, а бактерией скоротечной старости. Не о долгой жизни здесь хлопотали, а о быстрой массовой смерти.

Можно было догадываться... и вместе с тем оставалось сомнение. Рукопись Селдома слишком похожа была на литературное произведение. Поэтому историки продолжали проверку. Провели еще немало часов в архивах, пересматривая старые, пожелтевшие, хрупкие бумаги XX века.

Им удалось в конце концов разыскать дело Селдома

Ричарда, в нем постановление суда, приговор за мелкую кражу без применения оружия. Заметки о поведении. Приказ о досрочном освобождении. Основание было указано очень невнятно. Расписка в получении вещей. Разыскали они газеты того времени. Мелкие заметки на пять строк о воре Селдоме были, об освобождении его не нашлось ни слова. Впрочем, возможно, что к нему относился такой отрывок из книги американского журналиста Эварта: «Тысяча и одна сказка кабацкой Шахерезады».

Вот что там было написано:

«В ту ночь — 273-ю — небо возвращало долги. Вода, заимствованная у океана в жарких тропиках, с шумом возвращалась домой. Капли радостными лягушатами прыгали по асфальту, танцевали на гулких крышах пакгаузов, дружными ручейками стекали по желобам и, буль-буль-буль, пускали пузыри по всему заливу. Блестели мокрые крыши, окна и плащи. Струилось. Журчало. Секло. Мутные фонари тускло светили, как будто со дна морского. Казалось, и впрямь берег уже погрузился в воду, океан поднялся, соединился с небом.

С разбега я нырнул в кабак — с тротуара на три ступеньки вниз. Отряхнулся, как собака после купания. Вдохнул пьяный гул, винные пары, табачный дым. Только в одном углу было свободное место, и Шахерезада уже сидела за тем столиком в образе болезненного человечка, серо-бледного, без кровинки в лице, как будто он никогда не выходил на солнце из этого подвала. Он хлебнул, морщась с отвращением, и сразу же заговорил, должно быть, давно ждал меня со своей сказкой.

— Ваше здоровье! — сказал он.— Нет, напрасно улыбаетесь. Ваше здоровье я пью, пропиваю вашу молодость, по глоточку за год жизни. Годом меньше стало, еще меньше, еще... Вот так, умрете не позже восьмидесяти. Вам же обязательно хочется умереть?

Я сказал откровенно, что не рвусь, не настаиваю на смерти. Даже с удовольствием избавился бы от этой процедуры.

Шахерезада усмехнулась криво:

— И лжете! На самом деле вам хочется в могилу. Всем хочется. Вот я стану на колени (он сделал попытку сползти на пол), буду умолять вас на коленях: «Примите сто лет, пожалуйста». Но вы откажетесь. Вы спросите: «А какая приплата?» То-то! Жить никто не хочет даром,

а за смерть дают доллары. И я их пропиваю. Ваше здоровье пропиваю. По глотку за год. Бутылочку за вашу жизнь. И за его. И за его. И за мою жизнь бутылочку...

Пьяная Шахерезада не любит недоверчивых усмешек. Я сказал с полной серьезностью:

— Я верю вам. Вы продаете эликсир вечной юности. Я охотно приобрету флакон. Как надо принимать: чайную ложку перед обедом или после обеда?

Шахерезада покачала пальцем у меня перед носом:

— Но-по-но! Флаконов нет и не будет. А старость будет. Потому что я покидаю вас. Уплываю... к чертям, к пингвинам. Еду пропивать вашу жизнь — вашу, его, его... и свою. Вот выпью стаканчик вашей молодости... и не просите ее назад.

И он ушел в небо, слившееся с океаном. Растворился. А нас с вами оставил перед зеркалом, пересчитывать седину в висках».

*

Это написал Эварт о Селдоме или о другом аналогичном искателе эликсира вечной юности. Рукопись же самого Селдома заканчивалась так:

«Постановление суда:

Я, судья Селдом Ричард, рассмотрев всесторонне обстоятельства дела Селдома Ричарда, уроженца Южной Африки, холостого, судимого ранее за воровство, признаю его виновным в предательстве, совершенном против человечества, в подготовке массового убийства мужчин, женщин, стариков и детей, путем распространения бактерий инфекционной скоротечной старости, и приговариваю его, вместе с соучастниками, к смерти путем заражения ими же изобретенными, выведенными и размноженными бактериями.

Поднявший меч от меча и погибнет».





Записанное не пропадает[1]

Раньше все люди у нас, в Солнечной системе, были обречены на грустную участь. Прожив 3—4 десятка лет полноценных, они становились немощными, некрасивыми, постепенно теряли силы и способности. Все это называлось неизбежной, естественной старостью. И в конце концов, несмотря на все усилия специалистов, какой-нибудь важный орган выходил из строя, организм прекращал функционировать — умирал. Тысячелетиями люди мирились с таким порядком, даже не представляли, что может быть иной...

Из энциклопедии третьего тысячелетия

---

[1] Глава из романа «Мы — из Солнечной системы».

Нина влетела в распахнутое окно лаборатории; не снимая крыльев, кинулась подруге на шею:

— Ой, Ладка, как я рада видеть тебя, Ладушка! Я так соскучилась без вас с этими лианами и бананами! Гляди, всех собрала, всех притащила к тебе. Том, слезай с подоконника, поцелуй Ладу, я разрешаю. И Сева тут, наш главный веселящий. И Ким... Впрочем, Кима ты видишь часто...

— Совсем нет, он от меня прячется.

Ким отвел глаза. Он и в самом деле избегал встречаться с Ладой. В гигантском Серпуховском институте были сотни корпусов, разминуться было не трудно. Да и зачем бередить рану. Острая пора ревности прошла, осталась ноющая, надоедливая, неотступная, словно застарелая зубная боль. Да, Ким сторонился Лады. Вот и сейчас он снимал крылья в самом дальнем углу. Он всегда втискивался в угол, как будто стеснялся загромождать комнату своим могучим телом.

— А как здоровье Гхора? — спросила Нина и оглянулась на своего чернолицего супруга.

Вопрос был обыкновенный, вежливый, но в жесте таилась крохотная шпилечка. Смуглая красавица Лада, блестящая и талантливая, всегда затмевала свою бело-розовую подружку. У Лады был сонм поклонников, Ким среди множества... Но Нина вышла замуж раньше — за Тома, молодого врача, коллегу, здоровущего, широкоплечего, развеселого. А Лада выбирала, перебирала... и выбрала стареющего Гхора, правда знаменитого, с мировым именем ученого, творца волшебной ратотехники, директора Серпуховского научного городка... но старика все же. О здоровье его надлежало справляться.

Лада заметила укол и парировала тут же:

— Гхор не вылезает из лаборатории, работает днем и ночью (то есть хватает здоровья на круглосуточную работу). Увлечен беспредельно. Всё записи, записи, записи! Каждый вечер приносит какую-нибудь удивительную новинку. Стенок не хватает (дескать, хоть и старик, а интереснее твоего молодого).

В самом деле, стенок не хватало в лаборатории. Три из четырех до самого потолка были заставлены полками

наподобие библиотечных. На них рядами, вплотную друг к другу, стояли очень яркие и пестрые коробки. Таблички над полками гласили: «Пища», «Одежда», «Материалы», «Аппаратура», «Утварь», «Обстановка»...

— Чем угостить вас, например? — продолжала Лада, вынимая из коробок квадратные, с медным блеском пластинки.— Я помню, Том любит блины с лососиной. А тебе, Ниночка, конечно, пломбир с клубникой. И еще что? Заказывай, у меня тут на полках тысяча двести блюд.

Она опустила несколько пластинок в щели зеркального комода, стоящего в углу, в том, где жался Ким. Ратомотор загудел, расставляя атомы по местам, радужные цвета побежалости покатились по выпуклому зеркалу. И через несколько секунд дверца аппарата откинулась со звоном, выталкивая на поднос аппетитно дымящуюся горку блинов и вазочки с мороженым.

Том вертел в руках пустую коробку, задумчиво читая вслух:

— «Ратокухня. Серия «А-12». Блюда русские. Блины с гарниром. Готовила кулинарный мастер Ганна Коваль. Расстановка атомов записана в лаборатории №...»

— Такие штуки уже есть у нас, в Центральной Африке,— сказала Нина.— Но мама Тома презирает их. Говорит, что ей скучно есть один и тот же стандартно-безупречный пирожок. Предпочитает пережаренные, но индивидуальные.

— А я предпочитаю не тратить время на поджаривание,— возразила Лада.— Впрочем, это дело вкуса. И вообще запись с подлинника — пройденный этап. Сейчас мы составляем записи несуществующего. Есть вещи, которые вообще нельзя изготовить руками. Ратозапись позволяет продиктовать любую комбинацию атомов.

— Что именно? — поинтересовался Том. Работал он участковым врачом, но со студенческих времен тянулся к технике.

— Все, что угодно: вещества, машины, животные... Металл даже. Оказывается, в обычном железе полно крохотных трещинок, из-за них металл теряет девяносто девять процентов прочности. А в записи можно дать монолит идеально безукоризненный. Материала нужно в сто раз меньше. Мосты получаются как паутинка — ступить страшно. Каркас трехэтажного дома я поднимаю одной рукой, тысячеэтажный дом, дом выше Эльбруса, вполне возмо-

жен. Все получается: небывало тонкое, небывало гладкое, небывало крупное и небывало миниатюрное. Например, модель любой машины с булавочную головку и даже меньше. Кибернетический фотограф для съемки микробов. Кибернетический хирург для операций внутри тела. Вводишь его в вену, он добирается до сердца, оперирует клапан.

— Это будет или есть уже?

— Почти все здесь на полках.

— А чем Гхор занят сейчас?

— Сейчас идут заказы межзвездников. Невесомый и идеально прозрачный материал для километрового телескопа. Жаропрочная изоляция на сто тысяч градусов. Броня, выдерживающая удары метеоритов. Гхор хочет все это сделать из вакуума, напряженного до отказа. Вот там идут опыты, в том розовом корпусе...

Лада подошла к окну, привычным взором отыскала в зелени тот матово-стеклянный кубик, где находился ее муж, староватый, великий, необыкновенный и слабеющий, вдохновенный, трудный в жизни, любимый...

И вдруг... Что это? В глазах туманится, что ли? Стена скособочилась, словно отразилась в кривом зеркале, а затем раскрылась бесшумно, и бурый дым повалил изнутри.

— Ребята, беда! Катастрофа, ребята!

Ким еще держал крылья в руках; он первым оказался за окном, раньше, чем грохот взрыва дошел до лаборатории Лады. Воздушная волна встретила его в пути; тугой удар завертел волчком, кинул за облака. Ким переждал наверху полминуты и затем спикировал к развороченной стене.

Все он понял в первое мгновение. Видимо, Гхор превзошел опасный предел в опыте, перенапряженный вакуум лопнул, «броня» превратилась в дождь осколков, продавила и разметала стену лаборатории Гхора.

— За мной не летите! — крикнул он в радиомикрофон.— Может быть проникающая радиация. Я врач, я измерю, я сообщу, можно ли.

Но никто его не слушал. Том и Нина сами были врачами, Лада тоже. И могла ли радиация испугать ее?

Почти одновременно с разных сторон все четверо скользнули в пролом. Дымился развороченный взрывом большой ратоаппарат, на полу хрустели осколки приборов, казалось, тяжелый каток прошелся по ним. Один из ла-

борантов стонал, закрыв лицо руками, другого взрывная волна вынесла в сад. Гхор лежал в углу, вдавленный за ратоматор, весь в крови от плеч до колен, с рукой, нелепо вывернутой за спину.

Лада пыталась приподнять его голову и все твердила надрывно:

— Милый, милый, милый, ну посмотри же на меня, милый!

Гхор открыл рот и захрипел натужно. Прохрипел и замер. Ким понял: все кончено.

— Милый, ну посмотри же на меня!

И не Лада, не потрясенный Ким — Нина закричала во весь голос:

— Мужчины, что же вы стоите как чурбаки? Запишите его! Запишите скорей!

ГЛАВА 2. АРИФМЕТИКА СПАСЕНИЯ

Несколько дней спустя, когда были выполнены самые грустные обязанности, инициативная группа собралась в холостяцкой квартире Кима.

Здесь, как и в студенческие времена, было неуютно и полным-полно экранов. На самом большом прибой штурмовал скалы, наполняя комнату таранными ударами и ворчаньем гальки.

Ким привык к постоянному грохоту, комнатный шторм бодрил его. Но сейчас пришлось приглушить бурю, иначе голоса не были бы слышны.

Том с Ниной уселись на диване рядышком; они остались нежной парой, как в медовый месяц. Лада пристроилась в сторонке, в темном углу за торшером, отделенная от товарищей вдовьим горем. Ким расхаживал, по обыкновению, слегка сутулясь, как бы пригибаясь к собеседникам. У стола сидел Сева, с трудом сдерживавший жизнерадостность. Он сдал наконец экзамен, был счастлив, что стал полноправным в этой компании.

— Итак, талантливые друзья мои, объявляю собрание открытым. Прошу засечь время — девятнадцать часов две минуты. Ким излагает идею.

— Идея проста. Мы просматриваем ратозапись, находим травмированные клетки, удаляем их, вклеиваем запись нормальных.

— Просто, как у Архимеда,— комментировал Сева.— «Дайте мне точку опоры, и я переверну земной шар». Всего три неясности: где точка опоры, как сделать рычаг и сколько лет нажимать на него.

Том сказал:

— Спасибо, Сева, три трудности указаны точно. Разберем отдельно опору, рычаг и потребное время. Параграф один: опора есть ратозапись. Но ратозапись читать нельзя: каждый атом — тысяча знаков. Жизнь мала, чтобы прочесть одну клетку. Вывод: надо взять кусочек записи, сделать срез, смотреть гистологию среза.

— Я буду заниматься гистологией! — воскликнула Нина.

— Сколько будет срезов? — спросил Сева деловито.

— Параграф два,— продолжал Том.— Поврежденные клетки определены, вынимаем, клеим ратозапись здоровых клеток. Идет перемонтаж. Если Ким поможет, я хочу делать перемонтаж.

— Не забывайте самого трудного,— напомнила Лада.— Гхор был болен старостью, возможно, геронтитом. Надо будет восстановить переключатель в его мозгу.

— Ладушка, милая, а ты уверена... насчет идеи Селдома? — Нина замялась, не зная, как договорить.

Ким раскрыл скобки:

— Мы пойдем непроторенным путем. Есть опасность, что мы восстановим человека неправильно. Он будет мучиться из-за наших ошибок. Надо сделать проверку на животных.

— Придется тебе, Кимушка.

Ким тяжело вздохнул. Он предпочел бы работать возле Лады. Но если никто не хочет возиться с мышами, придется ему. Он привык брать на себя трудное и неприятное.

Нина решила подсластить неприятное:

— И кроме того, Ким будет старшим.

Сева прервал их:

— Высокоталантливые друзья мои, все вы наивные остолопы, без меня, дурака, вы пропадете, потому что принимаетесь за дело не с того конца. Я недаром спросил: сколько нужно срезов? Ибо я читал протокол вскрытия. Там написано: трещины черепных костей, переломы ребер, бедра и челюсти, травмы обоих легких, разрывы сосудов, множественные — понимаете ли,— множественные кровоизлияния в мозг, во внутреннюю полость... итого около

сотни травм, на каждую — сто срезов, с каждым срезом возни на неделю...

— Такому делу всю жизнь отдать надо,— сердито возразил Ким.— И не с прохладцей работать, не по три часа в день.

— О благородный рыцарь, не кидай взоров на даму, не жди от нее одобрения. Лада предпочитает не ждать сотню лет, пока ты единолично спасешь и сумеешь вернуть ей мужа. Работу надо ускорить, и есть для этого способ, изобретенный еще в эпоху родового строя, который, однако, не приходит в ваши высокоученые головы. Способ называется разделение труда. В данном случае разделение труда между разведчиками и армией. Вы — светлые гении — на одном ребре разрабатываете методику починки. Две сотни рядовых, негениальных, идя по вашим стопам, чинят череп, легкие, сосуды и все остальное. Негениальными командую я, потому что я сам негениальный: придумывать не могу, годен только командовать. Подождите, высокоученые, не возмущайтесь, я не лезу в руководители. Руководителем должен быть другой — немолодой, знающий, опытный, который даже вам давал бы советы, исправлял бы ваши гениальные заскоки. И еще он должен быть авторитетным, заслужившим доверие, потому что вам, будущие Павловы и Мечниковы, доверия еще нет, вы еще не проявили себя ни в чем. К вам не пойдут в добровольные помощники две сотни гистологов и ратомистов. Слишком много красноречия вам придется тратить ради каждой пробирки и каждого стола. Поэтому я на вашем месте попросил бы руководителем стать Гнома — я разумею профессора Зарека. Веское слово сказано.

— Сева, ты — гений! — вскричала восторженная Нина.— Я бы расцеловала тебя, но Том ужасный ревнивец.

— Благодарю тебя, Ниночка. Отныне я равноправный гений в вашем обществе.

Среди многочисленных экранов в комнате Кима имелся большой, лекционный. На нем и появилась через минуту чернокудрая голова маленького профессора. Друзья попросили разрешения прийти.

— Зачем тратить время на переезды? — уклонился Зарек.— У меня у самого экран не меньше вашего. Сядьте все пятеро так, чтобы я видел вас.

Больше часа длился пересказ всех соображений. Лада делала доклад.

— Только вы можете спасти для меня Гхора. Умоляю вас не отказываться,— заключила она.

Профессор был польщен и смущен.

— Лада, милая, ты же знаешь, я не могу отказать тебе. Но ты просишь слишком много, не понимаешь, как много. Руководителем едва ли... (Лада умоляюще сложила руки на груди.) Ну я подумаю, подсчитаю свое время, подумаю еще. А консультантом я буду во всяком случае. И в качестве консультанта могу сейчас же указать вам на две ошибки.

— Ага, я говорил, что у гениальных найдутся ошибки,— не удержался Сева.

— Ошибка, между прочим, твоя. Ведь это ты сказал, что нужно будет двести помощников.

— Я только прикинул,— забормотал Сева.— Приблизительно двести. Может быть, сто пятьдесят или триста, я уточню.

— Так вот, уточнение будет очень основательным, дружок. Я опасаюсь, друзья, того, что вы недооценили старость Гхора. Заведомо можно сказать, что разрушения есть в каждом органе и даже омоложенный мозг не все восстановит полностью. Мы же не хотим вернуть жизнь Гхору только для долгой и мучительной смерти от старческих болезней. А для этого нужно еще понять, чем отличается старая ткань от молодой и что может исправить мозг и что не может. Вам потребуется не двести помощников, а двадцать тысяч опытных экспериментаторов. Я бы оценил эту работу в двадцать миллионов рабочих часов.

Ким смотрел на лицо Лады. Оно вытягивалось, становилось горестно-напряженным. Разочарование было велико, но Лада не хотела отвечать слезами. Она сдерживалась, кусала губы, собираясь с силами, чтобы подумать, поискать веские возражения.

И Ким поспешил на помощь:

— Учитель, мы не боимся трудностей. Мы испробуем все пути — и лабораторные, и общественные. Будем работать сами и рассказывать о поисках людям. Люди присоединятся постепенно. Через год будет обсуждаться «Зеленая книга»; мы внесем предложение: пять секунд труда ради жизни Гхора.

Кто же откажется подарить пять секунд на спасение человека?

Кустистые брови Зарека сошлись на переносице. Чер-

ные глаза смотрели на Кима в упор. Казалось, профессор проверяет, заслуживают ли эти молодые люди доверия, не растратят ли попусту емкие секунды общечеловеческого труда.

— Это долгий путь,— сказал он.— Путь многолетних споров. Но есть и другой, покороче. Совет Планеты имеет право распределить до ста миллионов часов труда в рабочем порядке. Я могу обратиться к Ксану Коврову, попросить его поставить ваш проект в рабочем порядке. Поговорите между собой, друзья, спросите друг у друга: есть у вас основания просить Ксана?

ГЛАВА 3. КСАН КОВРОВ

По образованию Ксан Ковров был историком, по призванию — философом. И пожалуй, не случайно именно философ-историк стал в те годы председателем Совета всех людей, живущих на Земле, Луне и планетах. У самого Ксана в его главном труде «Витки исторической спирали» есть такие слова:

«В прошлом чаще всего главой государства становился представитель самой важной для эпохи профессии. К сожалению, до нашего тысячелетия обычно это был военачальник. В мрачные периоды застоя, когда господа стремились сохранить свое господство, удержаться, замедлить, застопорить рост, власть нередко захватывали жрецы, проповедники отказа от земного счастья, сторонники бездействия в этом мире. В эпохи великих споров вождями становились мастера зажигательного слова — ораторы, адвокаты, проповедники, реже писатели, слишком медлительные в дискуссиях. Когда споры кончились и человечество стало единым, кто возглавлял единое хозяйство планеты? Хозяйственники — инженеры, экономисты, строители каналов, островов и горных кряжей. Но в последние годы, после веков орошения и осушения, замечается новый поворот. Экономические задачи решены, с необходимыми хозяйственными заботами мы справляемся за три-четыре часа. Труд необязательный стал весомее обязательного. На что направить его? Что дает счастье? И все чаще мы видим во главе человечества знатоков человеческой души: воспитателей, педагогов, литераторов, философов, историков».

Ксан написал эти слова еще в молодости, будучи рядовым историком. Он не подозревал, что пишет о самом себе.

«Витки исторической спирали» были главным трудом его жизни. О витках спирали он размышлял и писал десятки лет. Его увлекала диалектическая игра сходства и несходства. Человечество идет все вперед, каждый виток нечто новое. Новое, но подобное старому, подобное старому, но по сути — иное.

Ксан изучал прошлое, писал для специалистов старомодным, даже сложноватым языком, но книги его расходились миллиардными тиражами, читались взахлеб молодежью и стариками, обсуждались на Совете Планеты. Потому что с тех пор, как человечество изгнало эксплуататоров, на Земле началась эпоха сознательной истории и страны больше не плыли по течению. Люди хотели понимать причины застоя и предотвращать их, хотели предвидеть трудности и готовиться к ним заранее. И действительно, застоя не было с двадцатого века начиная.

«О непредвиденных последствиях в истории» — так назывался очередной труд Ксана.

Еще в древности жители Двуречья, вырубая леса в горах, обезводили Тигр и Евфрат и свою же страну превратили в пустыню. Энгельс приводит этот пример.

И разве испанцы, в погоне за золотом покорившие Америку, думали, что они ведут свою страну к нищете?

Именно эта работа о непредвиденных последствиях и привела Ксана в Институт новых идей. Был такой институт, куда с надеждой и волнением несли толстые папки со своими проектами и предложениями самонадеянные молодые люди, упрямые неудачники, энтузиасты вечного движения, душевнобольные маньяки и гениальные изобретатели. Чтобы найти алмазные крупинки в мутном потоке заблуждений, требовалось большое терпение, большое искусство и большая любовь к людям. Ксан выслушивал авторов проектов с удовольствием. Он вообще любил слушать и обдумывать, говорить предпочитал поменьше. Даже составил для себя правила обдумывания; позже они вошли в наставления для рядовых слушателей Института новых идей:

1. Помни, что твоя задача—найти полезное, а не отвергнуть бесполезное.

2. Нет ничего совершенно нового, и ничего совершенно старого. В необычном ищи похожее, в похожем не упусти необычного.

3. Не забывай о неожиданных последствиях. Во всяком достижении есть оборотная сторона. Усилия вызывают сдвиги, и не всегда приятные.

4. Наука, как и жизнь, развивается по спирали. Следовательно, чтобы идти вперед, нужно своевременно сворачивать. Большой рост требует принципиально новых решений, а прямое продолжение ведет в тупик.

Пожалуй, нет ничего удивительного в том, что видный историк, философ непредвиденных последствий и директор Института новых идей, стал главой Совета Планеты — первым умом человечества. И в Совете Ксан, как прежде, обсуждал вселенские проекты, но поступившие не от одиночек, а из институтов и академий.

И как прежде, в его кабинете висела табличка с теми же заповедями: «Твоя задача — найти полезное, а не отвергнуть бесполезное»...

И в Совете Планеты Ксан был по-прежнему неразговорчив, выступал редко, высказывался коротко, предпочитал выслушивать и обдумывать. Слушал на заседаниях Совета, слушал в своей приемной, слушал в кабинете, читал доклады статистиков и таблицы опросных машин, но, кроме всего, проводил, как он называл, выборочные опросы; проще говоря, затесавшись в толпу где-нибудь на аэродроме, в клинике, в театральном фойе или на заводском собрании, слушал, о чем спорят люди. Со временем мир узнал эту манеру: широкогрудым бородачам, похожим на Ксана, каждый торопился высказать свое мнение о жизни, ее устройстве и неустройстве. Один журналист воспользовался этим, ходил по улицам, приклеив окладистую бороду, потом выпустил книжку «Меня принимали за Ксана». Ксан прочел ее усмехаясь... и попросил еще десятерых журналистов бродить с приклеенной бородой в толпе.

Слышанное и прочитанное Ксан любил обдумывать в сумерки. Он жил на одном из островов Московского моря; дом его окружал большой тенистый сад с запущенными дорожками, спускавшимися к воде. Под вечер ветер обычно стихает, листья перестают шелестеть, кроны и кусты сливаются в темную массу. Ничто не отвлекает, не останавливает внимания, дышится легко, шагается прямо.

В этом тенистом саду размышлений и принял Ксан Зарека с его учениками.

Старики шли под руку. Ксан делал шаг, Зарек — два. А сзади, словно гвардейская охрана, вышагивала рослая молодежь: Ким, Сева и Лада между ними.

— Только не пускай там слезу, Лада,— сказал ей Сева в дороге.— Разговор будет, по существу, медицинский, экономический. Ксана надо убедить, показать, что мы народ дельный, надежный.

— Разве я плакса? — возразила Лада.

Излагал идею Зарек. Шагающие сзади друзья могли быть довольны.

Зарек был точен, как ученый, и красноречив, как лектор. Под конец он сказал:

— Гхор только в силу вошел. Столько сделает еще замечательного. Да что убеждать вас, Ксан! По себе же мы знаем. Только-только набрали опыт, только разобрались в деле, только поняли жизнь, а сил уже нет, природа приглашает на покой.

— Да? Вы успели понять жизнь? — переспросил Ксан. Голос его выражал любопытство, а не иронию, но Зарек осекся, смущенный. — Значит, двадцать миллионов часов на одного человека? — переспросил Ксан. — И потом попросите прибавки?

— Эти усилия окупятся. Будет проведено полное ратомическое обследование организма. Мы восстановим Гхора и научимся восстанавливать любого...

— Вот это важно — любого. Обязательно любого! Но тогда уже не надо будет тратить двадцать миллионов часов на каждого, не правда ли?

— Нет, конечно. Важно найти метод. В дальнейшем будет в тысячу раз легче.

— «В тысячу раз» — литературное выражение или арифметическое?

— Примерно в тысячу раз.

— Хорошо, двадцать тысяч часов на оживление человека. Это ведь немало. Они, молодежь, не знают, в юности не считают времени, но мы-то с вами понимаем, Зарек, что означает двадцать тысяч. При нашем четырехчасовом рабочем дне человек успевает проработать тридцать — сорок тысяч часов за всю жизнь. Стало быть, если я правильно считаю, придется вернуться в двадцатый век, к семичасовой работе, чтобы обеспечить всем продление жизни. Это

удвоение человеческого труда. Все ли согласятся на длинный рабочий день?

— Я уверен, что все,— вмешался Ким, краснея под взглядом Ксана.

— А я не уверен, юноша. Пожилые-то согласятся, к которым костлявая стучит в окошко. А молодежь не может, не обязана думать о смерти, всю жизнь трудиться с напряжением, чтобы отодвинуть смерть.

— Молодежь у нас небездумная. И не боится тяжкого труда,— вставила Лада.— Даже ищет трудностей, даже идет на жертвы, радуется, если может пожертвовать собой. Так было всегда, еще в героическом двадцатом...

Ксан пытливо посмотрел на нее, на Кима, на Севу.

— Хорошо, три представителя молодежи готовы идти на жертвы. Спросим теперь старшее поколение. Зарек, как вы считаете, старики пожертвуют собой для молодежи?

— Всегда так было, Ксан. Во все века отцы отдавали себя детям.

— Да, так было. Отцы выкармливали детей, а потом умирали, освобождая для них дом и хлебное поле. Учителя обучали учеников, а потом умирали, освобождая для них место на кафедре и в лаборатории. Это было горько... а может, и полезно. Не будем переоценивать себя. Мы знаем много нужного, а еще больше лишнего. У нас багаж, опыт и знания, но с багажом трудно идти по непроторенной дорожке. Мы опытны, но консервативны, неповоротливы. У нас вкусы и интересы прошлого века. Что будет, если мы станем большинством на Земле, да еще авторитетным, уважаемым большинством? Ведь мы начнем подавлять новое, задерживать прогресс. Может быть, наша жажда долголетия — вредный эгоизм? Может быть, так надо ответить этим трем героям: «Молодые люди, мы ценим ваше благородство, но и мы благородны — вашу жертву отвергаем. Проводите нас с честью, положите цветы на могилку и позабудьте, живите своим умом. Пусть история идет своим чередом». Так, что ли, Зарек?

Профессор растерянно кивнул, не находя убедительных возражений. Он не решался встать на позицию, объявленную Ксаном неблагородной. Но тут вперед выскочила Лада.

— Вы черствый! — крикнула она.— Вы черствый, черствый, старый сухарь, и зря называют вас добрым и

умным. Считаете часы, меряете квадратные метры, радуетесь свободному пространству. А нам не тесно с любимыми, нам без них не просторно, а пусто. Мы им жизнь отдадим, а не два часа в день. У нас сердце разрывается, а вы тут часы считаете. Черствый, черствый, сухарь бессердечный!

Она подавилась рыданиями. Сева кинулся к хозяину с извинениями:

— Простите ее, она жена Гхора, она не может рассуждать хладнокровно. Я же предупреждал ее, просил не вмешиваться.

И Зарек взял Ксана под руку:

— Давайте отойдем в сторонку, поговорим спокойно. Она посидит в беседке, успокоится...

Но Ксан отстранил его руку:

— Не надо отходить в сторонку. Она права: мы все сухари. Когда женщина плачет, мужчина обязан осушить слезы.

И позже, проводив Ладу и ее довольных друзей, Ксан долго еще ходил по шуршащим листьям и бормотал, сокрушенно покачивая головой:

— Друг Ксан, кажется, ты становишься сентиментальным. Женщины не должны плакать, конечно... Но ты же понимаешь, какую лавину обрушат эти слезы. Впрочем, если лавина нависла, кто-нибудь ее обрушит неизбежно. Ладе Гхор ты мог отказать, но историю не остановишь. Нет, не остановишь.

ГЛАВА 4. ШИМПАНЗЕ НЕ ГОДИТСЯ

Весь год весь мир занимался восстановлением Гхора. Повсюду в медицинских и ратомических институтах были созданы лаборатории восстановления жизни. Ратозапись тела Гхора размножили, разделили на части и разослали во все страны света. Головной мозг изучался в России, спинной мозг — в Северной Америке, скелет — в Южной, рот, глаза и уши — в Африке, сердце — в Индии...

Лишь в одном месте Гхор существовал весь целиком, и то в виде разборной, расчерченной мелкой сеткой модели.

Модель эта стояла в диспетчерской штаба по спасению Гхора, а главным диспетчером был Сева. С утра до вечера стоял он у селектора, десять раз в день совершая круго-

светные путешествия, резким голосом, требовательно напоминал:

— Аргентина, вы обещали сдать всю полосу УВ к первому числу. Выполняете слово?..

— Филадельфия, вы задерживаете поясничные позвонки!..

— Мельбурн, я получил мизинец, спасибо. Все в порядке. Приступайте к безымянному пальцу...

— Осака, как у вас дела с гортанью? Микрофлора сложная? Так оно и должно быть. Неясность с ратозаписью? Хорошо, высылаю вам инструктора...

Сева беседует со всем миром, а Том безвыходно в лаборатории. Окружен приборными досками, индикаторными лампочками, проекторами, реостатами. Он занят ратомедицинскими машинами, ибо без техники нельзя прочесть ни единой записи. Ведь в одном мизинце Гхора сотни миллиардов клеток, и в каждой клетке триллион атомов, и каждый записан тысячью ратобукв. Записано, а прочесть нельзя: жизнь коротка, людей на планете мало.

Приходится обращаться за помощью к машинам.

Есть ратомашина читающая: она упрощает запись, распознает клетки. Следит за ратолентой вогнутым своим глазом и печатает лучом на фотонитке: н-н-н-н — нервные клетки, м-м-м — мышечные, к-к-к-к — костные, э-э-э — красные кровяные шарики, л-л-л — белые. Иногда попадается: ??? — нечто неизвестное машине, чаще всего незнакомые ей микробы. Их надо рассмотреть и вредные исключить. Зачем оживающему Гхору вредные микробы? (Тут, между прочим, возникают открытия. Найдены в записи неизвестные науке микробы. Вредные, бесполезные или нужные? Идет проверка. Молодой врач Носада пишет ученый труд: «О штаммах микрофлоры в гортани Гхора».)

Есть ратомашина сличающая. Ей дается образец: нормальная, идеально правильная клетка, нормальное чередование, нормальная молекула. С нормой она сличает ратозапись, указывает отклонения. Отклонения нужно осмотреть внимательно не машинным — человеческим оком: какой в них смысл, полезны или вредны? Омертвевшие клетки долой, вклеим в ратозапись живые. Непонятное отклонение? Изучим. Не таится ли и здесь полезное открытие?

И есть, наконец, ратомашина печатающая, подобная читающей, но работающая противоположно — не от тела

к записи, а от записи к телу. Она нужна, когда исследование закончено, составлен проект реконструкции мизинца, без вывиха и отека, без склеротических отложений, без мертвых клеток, составлен и переведен на машинный язык: м-м-м... к-к-к... э-э-э... Считывая эту диктовку, машина изготовляет по ней ратозапись, запись вставляется в ратоматор, мгновение — и мизинец готов. Еще месяц он живет в физиологическом растворе, проверяется, копируется, вновь режется хирургами. И наконец курьер увозит тяжелую коробку с ратозаписью в Серпухов, а Сева мажет красной краской еще несколько кубиков.

И странное дело: за всеми этими хлопотами исчез Гхор. Австралийцы думают о пальцах, японцы — о гортани, Сева — о кубиках, Том — о ратосчитывании, идут споры об органах и органеллах, нормальных и патологических, о срезе № 17/72, о слое УВ, о квадратике ОР-22. Гхор исчез. За деревьями нет леса.

В Австралии — левая рука, в Японии — горло, в Австрии — пищевод, а мозг — в Серпухове. Лада работает в отделе мозга. Перед ее столом экран, на нем амебообразные, с длинными нитями нервные клетки. И схемы молекул — белковых и нуклеиновых с буквами АБВГВГАА и т. д. Лада—непосредственная помощница Зарека. Изучает часть мозга, связанную с переживаниями (эмоциями) — радостью, горем, надеждой, разочарованием, ликованием, страхом, любовью и гневом. Где-то здесь, в этой области — она называется гипоталамической,— по мнению Селдома, прячется счетчик жизни, часы, отсчитывающие сроки молодости и старости. Если Селдом прав, работа Лады самая важная. Все труды пойдут прахом — австралийские и австрийские, если указатель счетчика не будет переведен на «молодость».

Суровая, осунувшаяся, еще более красивая, наклоняется Лада над микроскопом.

Ким думает про себя:

«Какая выдержка, какое долготерпение! Наверное, невыносимо тяжело все время иметь дело с мозгом мужа. Не предложить ли ей другое занятие?»

Но он деликатно молчит, не решает бередить раны. А бесцеремонный Сева, тот спрашивает напрямик:

— Теперь ты знаешь тайные мысли мужа, Лада?

Ким ужасается. А Лада, к его удивлению, отвечает спокойно:

— Я не думаю об этом, Севушка. Для меня тут нет никакого Гхора. Гхор живет в моей памяти: он сила, он гений, он воля и характер. А здесь серое вещество, и я должна изучать серое вещество, чтобы вернуть силу, гений и нежность. Тут любви нет, тут нервные клетки. Это не стихи, это бумага, на которой они пишутся.

Месяцы шли, и рассредоточенный по миру Гхор постепенно собирался. Шкаф для ратозаписей наполнялся коробками, разборная модель стала красной почти вся. Белых кубиков не осталось совсем, желтых и голубых не так много, но почти все в мозгу. Тело Гхора можно было восстановить, но Гхора восстановить не решались. Мог получиться здоровый человек со старым мозгом, несчастный, даже больной психически.

Не в первый раз совершенство человеческого организма мешало медицине. Так было с несовместимостью тканей. У ящериц легко прирастали чужие ноги, у человека этого не получалось. И со счетчиком старости та же трудность.

Ведь у человека, кроме химической, кроме нервной, есть еще регулировка генетическая, эмоции, воля...

А в памяти перемены отмечались не только химически: там происходила перестройка, отростки нервных клеток перемещались, изменялись касания...

Если бы имелась запись мозга Гхора десятилетней давности, задача была бы проще: восстанови прежнее строение мозга — и все. Правда последние десять лет исчезли бы из жизни Гхора, он не знал бы даже о женитьбе на Ладе.

Однако ратозапись имелась только одна — посмертная.

По записи нашли разрушенные участки, но не было известно, что следует сделать их на месте.

Пробовали найти решение, сравнивая мозг Гхора с мозгом других людей — молодых и старых. Ратозапись впервые позволяла вести такие исследования без чужих несчастий — на снимках с живого мозга. Машины-ратосличители захлебывались от работы. Для проверки делались все новые и новые снимки, потоки фактов заводили в дебри новых проверок.

— Мы заблудились в мозгу,—жаловался Зарек.—У нас тысяча моментальных фотографий, а нам нужна кинолента, одна-единственная, история одного постепенно стареющего мозга. Тогда мы поймем, как идет процесс.

— Но ведь старение продолжается лет двадцать,— ужаснулась Лада.

Зарек про себя подумал, что двадцать лет — не такой большой срок в науке, тем более для решения сложнейшей проблемы оживления, да еще с омоложением. Но вслух не сказал Ладе. Она работала с таким нетерпением, так уверенно рассчитывала на свидание с мужем. Как можно было ей сказать: «Не надейся. Встреча произойдет лет через двадцать... или никогда». Зарек ничего не сказал вслух. Лада сама докончила мысль:

— Через двадцать лет я буду уже немолодой, некрасивой. Гхор не узнает меня.

И она же предложила выход: изучать не нормальную старость, а болезненную, скоротечный геронтит — болезнь Селдома. Тогда двадцатилетний срок сократится до нескольких месяцев.

— Это идея! Поищи сама, Ладушка, не доверяй никому.

И Лада искала со всей своей энергией. Запросила все страны, где были вспышки эпидемии. Но отовсюду медики с гордостью сообщали, что за последние два года не было ни одного случая, ни единого...

Лада вернулась с предложением заразить геронтитом шимпанзе.

Зарек считал этот опыт бесполезным. Шимпанзе очень похож на человека телом, но именно в психике различия существенны. Тем не менее Зарек согласился. Он понимал, что Лада в отчаянии и согласна на любые средства, кроме медлительных.

— Это идея! Займись, Ладушка, сама,— сказал он.

Слишком быстрое согласие удивило ее. Она насторожилась, заподозрила неискренность. Теперь она внимательно прислушивалась к разговорам, которые велись за ее спиной. Ловила намеки: не хотят ли свернуть работу, отложить оживление Гхора без ее ведома?

И однажды она услышала, как Зарек сказал в своем кабинете:

— Боюсь, не с того конца мы начали: нарушили естественный ход науки — от легких задач к более трудным. Сначала молодых надо было оживлять — погибших от несчастного случая: утонувших, убитых током, упавших с воздухолета. Сложили бы кости, сосуды наполнили кровью... и жив человек. Замучились мы с этой старостью.

Забыв о вежливости, яростная Лада ворвалась в кабинет:

— От вас я не ожидала, учитель! Это предательство! Да, да! Вы предаете Гхора и меня. Меня, которая к вам пришла за помощью. Что стоят ваши слова: «Гхор — мой друг. Лада — моя любимица». Предали любимицу, предали, предали!

Зарек и сам еще не хотел отступаться. Он дал честное, честнейшее слово, что доведет работу с Гхором до конца, именно с Гхором, ни с кем другим, никем его не заменит. Лада успокоилась, попросила прощения и окончательно смутила профессора, поцеловав его курчавую макушку. Но Лада не могла не понять, что Зарек не имеет права давать обещания. Там, где вложено двадцать миллионов часов человеческого труда, решают не привязанности и не обещания, а разумный путь к успеху.

На следующий день Лада пошла даже к Киму извиняться (он был свидетелем этой сцены). Долго сидела в его лаборатории, рассказывала о присланном шимпанзе («Симпатичный такой, красавец, жалко отбирать у него молодость»). Шутливо всхлипнула, посмеялась над своей чувствительностью («Как Нинка стала»), заглянула в кривое зеркало ратошкафа, показала язык своему отражению, вытянутому, как восклицательный знак, улыбнулась Киму.

— Как ты считаешь, я красивая, Кимушка?

Разрумянившаяся, смуглая, с блестящими глазами и блестящими волосами, Лада была особенно хороша сегодня.

— А ты меня любишь все еще?

Ким только руками развел. Вопросу удивился. Нетактично было спрашивать об этом.

— Любишь,— решила уверенно Лада.— Пока красивая — любишь. Ведь у вашего брата любовь поверхностная — к внешности только. И Гхор меня разлюбит лет через двадцать. Я хотела бы всегда быть такой, как сейчас.

Ким заметил, что, видимо, так оно и устроится в будущем. Через двадцать лет все будут омолаживаться.

— Нет, мне хочется быть именно такой, как сейчас, в точности такой. Может быть, ратозапись сделать? Чтобы образец был будущим омолодителям. Давай запишем, Ким. Сегодня же. Ты не торопишься на свидание? Ну давай, мне очень хочется. Причуда такая.

Так ласково она глядела, так умильно просила... и, в сущности, не было причины отказать. Лада надела свое любимое платье — красное, с черно-золотым поясом, вплела венок из белых лилий в черные кудри и уселась на корточках в ратоматоре. Ким сделал запись, запечатал коробку, вытеснил на ней имя, фамилию, дату и уложил в архив, где хранились все записанные крысы, свинки, собаки и обезьяны, как бы переслал потомству венок из лилий, пояс с золотом, юную улыбку Лады, смуглые, со светлым пушком щеки.

— Все уже кончено, Кимушка? Ну, я побегу переоденусь — и за дело. Оставила пласт АВ-12 на столе. А послезавтра у тебя тоже свидание? Нет? Тогда приходи ко мне. Не бойся, с глазу на глаз не останемся. Том с Ниной будут и Сева. И папа все о тебе спрашивает, и Елка тоже. Она уже взрослая, невеста совсем.

Позже, мысленно перебирая слова и взгляды Лады (он все еще чересчур много размышлял о ее словах и взглядах), Ким подумал, что Лада вела себя странно. К чему это приглашение? К чему разговоры о свидании? Лада почти кокетничала с ним. Зачем? Ведь только вчера она кричала и ругалась ради спасения Гхора. Это было так непоследовательно, так по-женски.

И с мужской последовательностью в назначенный срок Ким взял курс из Серпухова на Сенеж, туда, где жил Тифей с дочерьми.

Вот и леса на Сестре-реке, вот и озеро, подпертое прямой дамбой, вот затончики среди камышей с мясистыми бело-желтыми лилиями, теми, из которых Лада сплела венок, вот и синий домик с узорным крылечком, нижние ступеньки полощутся в воде. В саду опадают листья, кружатся громадные желтые снежинки, безмолвно и покорно ложатся на дорожки. Вот комната, уставленная девичьими безделушками, вот диван, на котором Лада любила сидеть с ногами, знакомая посуда на столе, у стола хлопочет Тифей...

Все, как прежде. Пожалуй, только Елка изменилась, младшая сестра Лады. Нет язвительной девчонки, которой так побаивался Ким, есть ее тезка — девушка, внешне похожая на ту девчонку, но гораздо больше на Ладу-студентку. И Кима она встречает приветливо, расспрашивает о Лупе и дальних странах.

А Лада что-то возится в своей комнате, даже не вышла

поздороваться. Только нажимает рычажок, делает прозрачной стеклитовую дверь, спрашивая, пришел ли Зарек, и опять вливает цвет в стеклит, прячется от глаз. Переодевается, что ли? Или нездорова? Выглядит она прескверно: бледная, усталая, совсем не похожа на ту цветущую женщину, которая записывала свою красоту вчера. Как будто подменили.

— Ой, Ладка, у тебя седой волос. Вырви скорее!

Это Нина кричит, непосредственная и откровенная, как всегда. И тут же спохватывается. Не надо было кричать о седом волосе при гостях, при «мальчишках».

— Седой, правда? И еще один. Целая прядь.— В голосе Лады почему-то нет недовольства.

«Лада седеет. Время-то идет!» — подумал Ким.

А Нина сразу догадалась, в чем причина:

— Ладка, ты сумасшедшая! Себе вместо шимпанзе, да?

Ну конечно, Лада была верна себе. Зарек сетовал, что не может изучить процесс старения на одном человеке: больных скоротечным геронтитом не нашлось, и Лада привила болезнь себе.

Нина кинулась на грудь мужу — естественное прибежище.

— Том, что-то надо делать, Том, спаси ее!

Сева схватился за браслет.

— Архив ратозаписи? Ну-ка посмотрите, есть у вас антигеронтит?

Ким уже напяливал ранец, готовый лететь за лекарством.

— Мы тебя задушим лекарствами, дурочка безрассудная! — ругался Сева.

А Лада, топая ногами, кричала:

— Сами вы дурачки, дурачки, дурачки! Ну чего переполошились, куда побежали? Я ни крошки в рот не возьму, ни единой крошечки. Я же не флюгер — решила, испугалась, передумала... Не понимаете, не встречали таких? Где вам понять, жалкие! Про настоящее чувство только в книжках читали. А мне для любви жизни не жалко... жизни!

И в довершение суматохи загремел микрофон наружной двери. Неуместно праздничный голос Зарека извещал:

— Старый учитель ждет у калитки. Лада, украшение Вселенной, можно мне войти в твой чертог с тортом под мышкой?

Нипа и Том провели его под руки. Лада топала ногами:

— Не хочу! Не буду лечиться!

Сева кричал:

— Задушим лекарствами!

Ошеломленный профессор повторял:

— Подождите, не все сразу. Один кто-нибудь! Ну помолчите же!

В наступившей тишине Ким сказал унылым голосом:

— Теперь я понимаю, почему ты обязательно хотела сделать ратозапись.

Наконец Зарек разобрался во всей истории, привычно взял руководство в свои руки.

— Во-первых, выпейте все по стакану воды,— сказал он.— Все. Ты, именинница, тоже. Во-вторых, рассуждайте спокойно. Лечиться поздно, инфекция уже сделала свое дело. Мы убьем микробов, жизнь спасем, но молодость не возвратим. Значит, в-третьих, надо поставить научные наблюдения. В-четвертых, все мы, бациллоносители, здесь, и все должны идти в строгий карантин. Значит, нам и вести наблюдения. Ким, будешь моим помощником. Все прочие думайте, кому передать свою работу на время карантина. Придвигайся, Ким, смотри на мой браслет, займемся организацией...

ГЛАВА 5. ПРАВО НА СОН

Каждое утро ровно в восемь Ким клал на стол профессора тяжелую свинцовую коробку, очередную ратозапись Лады. Свистком вызывал машины — читающую и сличающую. Они выползали из стенных шкафов, шлепая мягкими гусеницами, держали наготове столик, похожий на нижнюю челюсть, готовились прожевать сегодняшний материал.

Уже через несколько минут сличающая машина металлическим голосом докладывала:

— Отмечаю изменения в областях АВ-12, АВ-14, 15, 16, АС-11.

А читающая разъясняла в свою очередь:

— В области АВ-12 повреждены синапсы. Шесть омертвевших клеток...

Процесс старения шел. Машина находила изменения повсеместно. А люди, друзья, ничего не замечали на глаз,

видя Ладу ежедневно, ежечасно. «Она не меняется ничуть», — уверяла Нина. Но потом брала фотографии недельной давности и ахала: «Совсем другой человек!» И седина в волосах, и морщины на лбу, мешки под глазами, кожа дряблая, губы выцвели, стали тоньше, жилы надулись на руках, выпятились на шее.

Лада сама точнее посторонних отмечала ступеньки старения. Говорила Нине:

— Запиши — седая прядь в волосах, вчера ее не было. Усталость с утра: спала, но не отдохнула. Не хочется приниматься за работу. Страшно подумать, что надо еще переодеваться. Предпочитаю полежать с книжкой на диване. Нет, не о любви — о любви скучно читать.

А профессор и товарищи час спустя спорили, разматывая ратозаписи: из-за каких физиологических изменений умер у Лады интерес к любви, какие клетки выключились, какие гормоны перестали поступать в кровь, какие нервы в мозгу перестали соприкасаться.

Споры шли не только в Серпухове. Размноженная ратозапись, пересекая материки и океаны, мчалась в институты мозга всего мира. В Индии, Бельгии, Того и Перу выходили на трибуны молодые и пожилые лекторы с указкой, чтобы прочесть рефераты об изменениях в височной впадине Лады Гхор, о разрушении гипофизарных нервов Лады Гхор, о восемнадцатых сутках патологического состояния Лады Гхор.

Никогда еще не было такой возможности у науки — изо дня в день наблюдать старение. И Лада сама старалась помочь наблюдателям: вела почасовой дневник своих ощущений:

«Читала час. Заболела голова. В первый раз в жизни болит голова от чтения».

«Скучно читать про Венеру. Неотвязная мысль: «Я уже туда не поеду».

«Полнею. Прибавила полтора кило. Платья узки в талии. Все надо переклеивать».

«Тяга к нарядам все равно не пропадает. Хочется быть одетой к лицу, и никаких усилий не жалко. Интересно, где у меня в мозгу этот стойкий центр портняжных интересов?»

Но не всегда Ладе удавалось быть иронично-спокойной, наблюдать себя со стороны. Бывали дни, когда она теряла мужество, плакала перед беспощадно откровенным зерка-

лом. Лежала часами, уткнувшись лицом в подушки, проклинала свое самопожертвование. Потом вызывала Кима, выспрашивала, уверен ли он, что жизнь и красота вернутся к ней, хорошо ли сохранилась ратозапись, не надо ли ее дублировать.

И Ким в сотый раз терпеливо напоминал ей, что ратозапись повторялась ежедневно, говорил обо всех удачных опытах с животными... о неудачных умалчивал.

— А ты все еще любишь меня, Ким? — спрашивала Лада назойливо.— И такую любишь, выцветшую?

— Конечно, люблю,— уверял Ким.— Всю жизнь буду любить.

Сам себе он с удивлением признавался, что кривит душой. Чувства его изменились, сердце не поспевало за событиями. Когда-то он влюбился в смелую, яркую, юную искательницу необыкновенного. Поблекшая вдова была совсем другим человеком. Эту он уважал, жалел, был верным другом по долгу, без волнения. Прежде в присутствии Лады он трепетал, горел, сердце вздрагивало от ее шагов. Сейчас никакого трепета не было. Холодно, даже с оттенком раздражения он признавался в любви... для утешения. Лгал, но понимал, что признание необходимо Ладе, поддерживает ее, прибавляет бодрости.

Первый месяц Лада держала себя в руках: вела дневник лаборатории, изучала ратозаписи, находила поврежденные участки мозга, дискутировала об их назначении. После работы соблюдала режим, делала гимнастику, плавала в бассейне. Но в конце октября она простудилась, слегла в постель, вынуждена была оставить спорт и работу.

Во время болезни увядание перешло в старость. Гимнастику стало делать трудно, гулять утомительно, голова болела от мелькания ратозаписей. Появились боли в пояснице, в коленях, в затылке. Каждый день Лада сообщала длинный перечень болей. И странное дело: исчезла точность в ее наблюдениях, стареющая Лада стала мнительной. Какие-то боли не подтверждались ратозаписями, оказывались воображаемыми. И лечиться Лада стала всерьез, радуясь облегчению. Как будто забыла, что привила себе старость и никакие лекарства ей не помогут.

Прошли ноябрь и декабрь. Во всех частях света белые, желтые, смуглые, черные, бронзовые лица склонялись над кривыми, графиками, схемами мозга Лады. А сама Лада, уже совсем седая, сгорбленная старушка, проводила время

у решеток отопления. Жила бесполезно. Ее уже не требовалось исследовать. Старость зашла у нее дальше, чем у Гхора, далеко за пределы, доступные для лечения.

Она стала беспомощной, потому капризной и раздражительной, изводила поручениями своих сиделок — безответно-добродушную Нину и Елку, далеко не такую добродушную и не такую терпеливую. И постоянно упрекала их за молодость: дескать, я свою отдала, а вы за мой счет пользуетесь, цветете, так будьте мне благодарны, хотя бы просьбы мои выполняйте проворно.

— Что я просила? Ну что? Неужели нельзя было запомнить?

Сама она ничего не помнила, забывала свои поручения, теряла баночки с лекарствами и пипетки; жила в полусне, не отдавая себе отчета, плохо понимая действительность, как будто на мир смотрела сквозь мутное стекло. Дни ее были заполнены процедурами. Подробно и многословно рассказывала она Киму о своих недомоганиях, записывала его советы, тут же теряла записочки и ругала Нину за беспорядок и невнимание.

Только о Гхоре Лада не забывала, без устали, часами твердила о нем. И Нине, и Елке, и даже Киму рассказывала о достоинствах Гхора («Я помню, Кимушка, ты тоже был влюблен в меня. Ты хороший и добрый, но разве ты можешь сравниться с Гхором?»). Покойный муж рос в ее глазах, она вслух называла его гениальнейшим из ученых всех времен, спасителем человечества. Быть может, в этом преувеличении было самооправдание: спасительница спасителя человечества имела право на повышенное внимание к своей персоне.

— Нет, ты дослушай, Ким, сегодня с утра я почувствовала боль вот тут, под ребром...

И Ким час спустя докладывал Зареку:

— Что делать, профессор, ума не приложу! Лечим от склероза, раковый процесс остановили как будто, сердцу даем электростимуляцию, теперь начинается отек легких...

— Посмотрю, конечно.— Профессор надевал халат, протягивал к ультрафиолетовой лампе руки, загорелые, как у всех медиков, и говорил Киму со вздохом:

— Все равно, юноша, если человек свалится с крыши, он разобьется обязательно. А мы рассуждаем, куда подложить подушечку: под спину или под голову? Голову сбе-

режем — ударится спиной. Уж если падает, значит, ударится...

Лада ударилась головой.

Однажды поутру — декабрьское утро было, с пушистым снегом, незапятнанно-белым, словно страница для неначатой поэмы,— Нина с волнением вбежала в лабораторию:

— Скорее, скорее, ей хуже! Ей совсем плохо!

Лада — бывшая Лада — лежала в постели, остекленевшим глазом смотрела на неразгибающуюся руку, невнятно бормотала что-то. Ким понял с одного взгляда: паралич.

В этот день торжественная, розовая от волнения Елка вручила ему запечатанный конверт.

Вот что они прочли вслух:

«Москва, 9 сентября 2204 года.

Я, Лада Гхор, прошу вскрыть это письмо в случае моей смерти, тяжелой болезни или при ослаблении сознания.

Я пишу в самом начале опыта, будучи молодой, здоровой, в здравом уме и твердой памяти.

Прошу моих товарищей неукоснительно выполнить мою волю. Кима назначаю ответственным.

Я не хочу жить без Гхора — моего любимого мужа. Если к моменту моей смерти еще нельзя будет оживить его, не торопитесь восстановить меня. Пускай моя ратозапись хранится, пока ведется подготовка, и пусть нас с Гхором оживят одновременно.

Если же Гхора можно будет восстановить раньше моей смерти и та ужасная старуха, в которую я превращусь, еще будет жива, не показывайте ее (меня) Гхору и не говорите ей (мне), что Гхор уже жив. По секрету от нее восстановите по ратозаписи и отведите к Гхору молодую Ладу.

Пускай старуха доживает свой век, но не заставляйте ее (меня) мучиться слишком долго. Как только придет дряхлость или неизлечимая болезнь, будьте милосердны и отравите меня. Не продлевайте моих мучений из ложной жалости».

Нина всхлипывала на груди у Тома. Прямая как струна Елка, отвернувшись, кусала тонкие губы.

«Вот и конец! — думал Ким.— Вот и все!»

Было нестерпимо грустно, и не утешала ратозапись в свинцовой коробке. Та, будущая Лада, казалась другим человеком, почему-то черствым и фальшивым, безжалостным к несчастной старушке. Впрочем, еще неизвестно,

удастся ли копия. А Лада подлинная кончает жизнь. Все позади:

«Вот-вот откроется дверь, и войдет необыкновенное...»

«Кимушка, не тревожь себя, будь мужчиной, не звони!»

«Вы черствый, черствый, старый сухарь!»

«Вот тут у меня саднит, под ребром, сегодня...»

Все позади! Все в прошлом!

По привычке зачем-то обеззаразив руки ультрафиолетом, Ким вынул шприц.

— Елка, ты сестра. Как твое мнение?

— Я бы тоже не хотела жить на ее месте. Но я не смогу, сил не хватит. *(Рыдание.)* Ты сам, Ким... Ты ее... Да?

Ким кивнул. По обыкновению, самое тяжкое он брал на себя.

Но тут Сева кинулся к нему, схватил за руки.

— Стой, Ким, не безумствуй. Это же преступление... Врач не имеет права. У тебя отберут диплом. Приговорят к пожизненной скуке.

— Пусть отберут. Пусть приговорят, — сказал Ким упрямо. — Лада мне поручила. Я выполню.

— Лада не имела права распоряжаться судьбой старушки. Глупость какая: «Отравите, когда состарюсь!» Сейчас надо спросить.

— Но она не соображает...

— Значит, она другой человек. Она передумала.

Ким в замешательстве опустил руки. Где тут правда? Сева воспользовался нерешительностью:

— Нинка, зови скорей Гнома! Он решит.

Прочтя завещание Лады, маленький профессор сказал строго:

— Двойку вам всем по медицинскому праву. Что вы знаете о самоубийстве?

— Самоубийство — трусость, — сказал Том. — Это дезертирство из рядов человечества.

— И глупость,— добавила Нина. — Помутнение.

— Нет, молодые друзья, истории вопроса вы все-таки не помните. О самоубийстве была целая дискуссия в начале первого века. Тогда еще вырабатывались нормы свободной жизни и были горячие головы, закружившиеся от свободы. Дескать, свобода — это полное удовлетворение желаний, и, если не хочется жить, свободно уходи. Но другие возражали: «Человек свободен делать все, но не в

ущерб обществу. Самоубийство — ущерб: потому что каждый из нас должник. Нас учат, растят и кормят лет до двадцати пяти, мы должны старшим двадцать пять лет труда». И принято было решение: «Никто не имеет права уйти из жизни, не проработав двадцати пяти лет». Даже были установлены специальные суды тогда для несчастных, обиженных судьбой калек. И форма выработалась: «Ввиду того что общество не сумело обеспечить мне счастливую жизнь, прошу освободить меня от обязательств...»

— Вот Лада и просит освободить ее.

— Не просит, а просила. В молодости. Но молодой Лады уже нет.

— А старая не может решать. Но разве ей лучше жить дальше?

Зарек был в затруднении. Он немилосердно терзал свою шевелюру.

— Мне кажется, друзья, тут совсем другой вопрос, но тоже из медицинского права. Может ли врач лишить жизни неизлечимого больного? Как там написано в учебнике? Сева, ты же сдавал недавно.

— Врач не имеет права лишить жизни больного ни по его просьбе, ни по просьбе родных, ни по собственной инициативе в целях милосердия,— отбарабанил Сева,— потому что никто не может знать скрытых сил организма и никогда нет уверенности, что болезнь не примет благоприятного течения.

— Но...— переспросил Зарек.

— Что-то не помню «но».

— Есть «но». Врач не имеет права лишить жизни, однако по решению консилиума из семи человек может погрузить больного в глубокий сон в надежде, что во сне организм справится с болезнью.

Консилиум состоялся два дня спустя, и в тот же вечер друзья Лады вкатили в ее комнату электроусыпитель.

Они говорили о лечебном сне, частоте тока, дозировке. Но, должно быть, по их преувеличенно громким голосам и торжественно-грустным лицам больная догадалась. Глаза ее стали жалкими и испуганными, затравленный взгляд остановился на Киме.

— Больно будет? — с трудом ворочая языком, выговорила она.

— Это сон, только сон, лечебный, высокочастотный.

— Гхор как? — произнесла старушка.

Все хором начали ее уверять, что Гхор будет восстановлен вот-вот, сомнения все разрешены. Лада проснется совсем здоровая... и его приведут к ней.

Больная покачала головой.

— Ему... молодую,— выдавила она.

Всхлипывающая Нина спустила темные шторы. В полумраке монотонно загудел усыпитель. Усталая старуха закрыла глаза...

У организма Лады не оказалось скрытых резервов: она умерла во сне девять дней спустя.

ГЛАВА 6. КНОПКА

Еще в октябре, когда живая Лада считала перед зеркалом морщины, Зарек определил в мозгу двадцать семь очагов, ведающих отсчетом старости. Вскоре стало ясно, как нужно исправлять ратозапись в двадцати очагах,— семь остались непонятными.

Лада умерла в начале декабря. К этому времени двадцать исправленных очагов были уже записаны, хранились в свинцовых коробках; семь очагов так и остались нерасшифрованными.

Семь международных конференций собирались в январе, феврале и марте, чтобы обсудить семь загадок мозга Гхора. Пять удалось разобрать, насчет двух остались сомнения. Группа бразильских ученых, изучавших эти очаги, доказывала, что они ведают воспоминаниями детства и не играют большой роли. Бразильцы предлагали не откладывать воскресение, пойти на некоторый риск. Они обещали, что восстановят эти детские воспоминания позже, без ратомики, с помощью свидетелей и кинопленок.

Была назначена дата — 28 апреля. Весь апрель шли предварительные опыты. Проверяли ратозапись. Хирурги вскрывали восстановленные по отдельности части тела, выверяли швы, все ли подогнано безукоризненно. Щелкали и искрили электронные машины, на цифрах и лентах моделируя мышление Гхора. К сожалению, все это были модели, модели, модели... Есть в науке проблемы, которые не решаются пробными опытами. Чтобы узнать, взорвется ли атомная бомба, надо было ее взорвать. Чтобы узнать,

вернется ли жизнь к Гхору, надо было вернуть ему жизнь.

Весь мир с нетерпением ожидал 28 апреля.

В Северном полушарии лопались почки, в Южном — ветер обрывал пожелтевшие листья, в тропиках стояла душная жара, ясно было на Марсе, сумрачно на Венере, на одной половине Луны сияло слепящее солнце, смоляная ночь была на другой половине. Но всюду, всюду, всюду, куда только достигала телевизионная связь, люди приникли в этот день к экранам с волнением, надеждой или со скептическим недоверием на лице.

Вернется ли к жизни умерший в позапрошлом году?

«Ни за что,— говорили многие.— Жизнь — это не только расстановка атомов. Есть некая тайна, отделяющая живое от неживого. Ее-то и упускает ратомика».

Тайну эту называли по-разному: жизненной силой, особым пятым состоянием материи, биологической энергией, биологическим полем, шифром жизни...

А верующие в бога (если бы дожили до XXIII века) — душой.

Души, конечно, ратоматор не мог создать. Души в ратозаписях не было.

Конференц-зал Серпуховского института был переполнен. В первых рядах сидели сподвижники Гхора: ратохимики, ратобиологи, ратофизики, ратометаллурги, конструкторы и теоретики, создатели ратомики. Полтора года назад со слезами на глазах они проводили в могилу своего лидера, полтора года старались скрупулезно выполнять его задания, теперь со смущением и сомнением ожидали экзамена. Неужели вернется? И такой же резкий, напористый, требовательный? Как-то оценит их самостоятельную работу?

За ними толпились медики: африканские, европейские, азиатские, океанийские, космические — люди, потратившие сотни миллионов часов (гораздо больше, чем Зарек просил у Ксана), чтобы Гхор существовал снова, чтобы у него были подвижные пальцы, быстрые ноги, крепкие плечи, смуглая кожа и красивый нос с горбинкой...

Зря старались они или не зря?

Затаив дыхание смотрели они на громадный лекционный экран. На этот же экран, но через свои телевизоры смотрели тысячи миллионов болельщиков жизни, желая,

надеясь, веря, мечтая, умоляя судьбу, чтобы Гхор стал живым... чтобы человека удавалось возвращать из могилы.

На экране виднелась лаборатория Гхора — та, в которой произошла роковая авария,— отремонтированная и оборудованная в точности по чертежам. Зарек хотел, чтобы Гхор очнулся в привычной для себя обстановке, не был бы удивлен и ошеломлен в первую минуту. И для этой же цели в лаборатории находились не врачи и не санитары, а знакомые Гхору люди: личные его лаборанты, раненные



вместе с ним полтора года назад, сам Зарек и еще Ким — и как свидетель, и как врач.

Ким с лаборантами вкатил столик с тяжеленной ратозаписью. Сняли крышку. Вставили плоский диск в ратоматор, проверили электроцепи и отошли со вздохом на шаг, оставив Зарека наедине с кнопкой.

Кнопка!!!

Маленький цилиндрик цвета слоновой кости, отполированный, чуть вогнутый, приятный на ощупь, крошечная деталь, может быть самая простенькая в машине, к тебе обращены все взоры в торжественные минуты.

Непременный участник важных открытий, опытов, опасных и рискованных, праздничных пусков и спусков, ты свидетель многих предварительных поражений и окончательных побед. К тебе прикасаются затаив дыхание, краснея и бледнея, с нежностью и трепетом.

Ты могла бы возгордиться, вообразив себя главной деталью, но тебя так легко заменить, скрутив проволоку пальцами!



На кнопку глядели сегодня не дыша миллиарды зрителей на Земле и в космосе.

И Зарек, которому предстояло эту кнопку нажать.



Вот он поднялся на скамейку, специально для него подставленную.

Протянул волосатый палец с обкусанным ногтем.

Нажал.

Что-то будет? Что окажется в ратоматоре? Живой и могучий Гхор, помолодевший по приказу науки, или модель Гхора, мертвое подобие, тело без жизни? Или нечто среднее: живое, но изуродованное, вечный укор тем, кто голосовал за опыт 28 апреля?

Зажглись алые буквы: «Готов». Зарек рванул на себя дверцу.

Неяркий свет упал в полутемный шкаф. Внутри, скорчившись, завернув руку за спину и свесив голову на грудь, сидел человек.

Миллиарды зрителей ахнули, увидев эту неестественную позу. Неужели неудача? Только Ким не испугался.

Он помнил, как втаскивали Гхора в ратоматор полтора года назад. Именно в такой позе его всунули, так записали — с рукой, завернутой за спину.

— Гхор, проснитесь! — отчетливо крикнул профессор.

И тогда Гхор (копия Гхора в сущности) зашевелился, выпрямил ноги и уселся на краю шкафа.

— Вы узнаете меня, Гхор?

И Гхор-копия ответил (ответил!!!), пожав плечами:

— Странный вопрос. Узнаю, конечно, еще не потерял памяти. У вас срочное дело, профессор? Можете подождать



несколько минут? А то мы один опыт подготовили, хочется его довести...

Это были первые его слова во второй жизни.

— Опыт уже состоялся,— напомнил Зарек.— Была авария. Вас ушибло. Вот он,— указал на Кима,— привел меня. Помните его?

— Помню, как же! Ваш ученик, приятель моей жены.

(Если бы знал Гхор, сколько смеха и неодобрения вызвал этот ответ в Солнечной системе!)

— Я должен выслушать вас.— Зарек решительно приступил к Гхору.— Вы очень сильно ударились, лежали без сознания.

— Ничего не чувствую, профессор, нигде не болит.

— Проверим все равно. Встаньте, будьте добры. Дышите глубже. Присядьте. Согните правую руку. Пальцами пошевелите. Закройте глаза...

Гхор, несколько озадаченный, подчинился. Он набирал воздух, клал коленку на коленку, напрягал мускулы, ворочал глазами направо и налево. И миллиарды, миллиарды, миллиарды людей у телевизоров смеялись и плакали от радости, обнимались



и аплодировали, даже пританцовывали, не отводя глаз от экрана, кричали восторженно:

— Он дышит! Он смотрит! Дрыгает коленкой! Он живой по-настоящему!

Гхор между тем, невнимательно выполняя распоряжения Зарека, хмурил лоб.

— Профессор, теперь я припоминаю кое-что. Ратоматор лопнул... и меня швырнуло об стенку. Было очень плохо, ком стоял в горле... душило... и в голове мутилось. И как будто Лада была тут и рыдала. Это правда, профессор?

— А что потом было, вы не помните, Гхор?

— Потом? Ничего! Позеленело... померкло. Ничего не было. Потом я открыл глаза и увидел вас.

«Что было потом, после смерти?» Столько людей впоследствии задавали этот вопрос Гхору. Были какие-нибудь

видения, сны? Ничего! Ничего не мог рассказать Гхор. Ему казалось, что прошло всего несколько секунд. Он проспал свою смерть без сновидений.

Осмотр окончился. Зарек не нашел никаких изъянов. Скрывая ликование, он сделал озабоченное лицо.

— Очень жаль, но вам придется полежать, Гхор. Ничего не поделаешь. Удар пришелся по затылку. С сотрясением мозга шутить нельзя.

— Профессор, я абсолютно здоров. Давно не чувствовал себя таким бодрым.

— С сотрясением не шутят, голубчик. Сознание вы теряли? Теряли. Рыдающая Лада вам чудилась?

На экране появились носилки. Лаборанты уложили на них воскресенного и вынесли за дверь. На экране под крики «ура» и аплодисменты кланялся Зарек. Гхора же в санитарном глайсере уже мчали на Волгу, в тенистый сад Ксана. Так распорядился хозяин этого сада. Дальнейшие события показали правильность его распоряжения.

Мир ликовал. Мир праздновал победу ученых. Человеку удалось то, что в прошлых тысячелетиях приписывалось только богу. Столько было шествий с цветами, огненных змеев в ночном небе, столько танцев на улице и объятий, столько клятв в вечной любви на сто жизней вперед! Позже в память этого стихийного ликования был установлен праздник — День жизни.

Ким оказался среди немногих, чья радость была неполной в этот день.

— Когда будем восстанавливать Ладу? — спросил он сразу.

Зарек ответил, естественно, что надо подождать, понаблюдать Гхора. Ведь ему только исправили травмы и заменили переключатель. Старческие клетки остались в мускулах и органах. Необходимо проверить, удачно ли пойдет омоложение, исчезнет ли седина, морщинистая кожа...

Наблюдения начались с первого мгновения, продолжались в пути и в доме Ксана круглосуточно.

И что же?

Гхор не только ожил, но и поздоровел. Он как будто отоспался, стал свежее и бодрее.

Седина — цветовой индикатор старости — таяла, словно снег, отступая к вискам. Кожа расправлялась, исчезали морщины на лбу, расправлялись плечи. Гхор становился выше, сильнее, мускулистее. Ел с отменным аппетитом

здорового мальчика, спал непробудно, был полон энергии.

Помнил все отлично. Проверочные упражнения на сообразительность, внимание, запоминание выполнял по норме двадцатипятилетнего.

Неделю его держали в постели на санаторном режиме, отсчитывали движения, шаги, усилия. Потом выяснилось, что под утро тайком он вылезает в окно и не прогуливается, а бегает: пробегает три-четыре километра по дорожкам сада, чтобы излить избыток энергии.

Он вел себя так неосторожно: игнорируя режим, читал ночи напролет, на заре купался в ледяной Волге, ел когда попало, бродил по окрестным лесам, возвращался мокрый до пояса. И Зарек счел полезным открыть всю правду. Исподволь, как тяжелобольному, как сыну о смерти отца, рассказал, что он, Гхор, был мертв полтора года и должен со своим вторым телом обращаться бережнее. Гхор воспринял это сообщение с легкостью мальчишки, переболевшего гриппом. Болел и выздоровел, что может быть естественнее?

И тогда же он спросил о Ладе. Пришлось рассказать. Ведь умалчивание бросало бы тень на ее поведение. Тогда бы получилось: муж умер, весь мир вызволял его, а бывшая жена не откликнулась.

— Так восстанавливайте же ее скорее! — воскликнул Гхор.

Он просил, настаивал, умолял с жаром влюбленного юноши. Не спал ночей, горел, требовал точного срока, повесил календарь, уговаривал скостить несколько дней, отчеркивал часы.

И в сущности, не было причины откладывать.

Ладу возрождали без торжеств, без всемирного праздника, без зрителей. Даже полированную кнопку нажимал не Зарек, а Ким, верный друг, сопровождавший Ладу во все трудные минуты.

Нажал... и застыл с открытым ртом. Вдохнуть не было силы. И сердце замерло. Что-то будет?

Не хватало мужества открыть дверцу. Ким медлил, пока изнутри не послышался стук. И Лада, живая, цветущая, в красном платье с черным поясом, выпорхнула наружу. На лилиях в ее волосах сверкали капельки воды... позапрошлогодние.

— Все уже кончено, Кимушка? Спасибо, дорогой. Ну,

я побегу переоденусь — и за дело. Оставила АВ-12 на столе. А ты торопись на свое свидание.

Ким вздрогнул. Даже слова, даже интонация позапрошлогодняя. Шутка про свидание. Для этой Лады ничего не произошло, она торопится спасать мужа.

Ким поймал ее за руку:

— Стой, Лада. Послушай, Лада. Ты — это не ты. Ты — записанная и восстановленная. Это твоя вторая жизнь.

Лада замерла, расставив руки. Одна у Кима в руке, другая протянута к двери.

— Ким, это правда? Ты не разыгрываешь меня?

— Истинная правда. Гляди, вот Нина, Сева, их же не было при записи.

— А Гхор?

— Жив. Восстановлен. Здоров. Совсем здоров, уверяю тебя.

— Вези же меня к нему скорей!

Они ехали по земле, в автомашине, и Лада всю дорогу расспрашивала о Гхоре: как он выглядит, как себя чувствует, помнит ли о ней, справлялся ли?

А Ким держал ее за руку, живую, теплую, нежную и сильную, молодую, с выгоревшим пушком на загорелой коже. Ловил дыхание, блеск глаз, восхищался... и не верил.

Что же это такое рядом с ним, ставшее Ладой?

Новой Ладе он попробовал рассказать о той, что состарилась и умерла во сне, не приходя в сознание. Но юная жена Гхора слушала без внимания, с эгоизмом влюбленной внучки. Бедная бабушка, жалко ее, но свое она отжила. О бабушке поплачем в другой раз.

— А Гхор? Как он выглядит? Не изменился?

Киму даже обидно стало за ту старушку, отдавшую жизнь ради счастья этой равнодушной девицы. И обе они — Лада. Как странно! Путаница в уме. Мыслить надо по-новому.

— И он уже не седой? — допытывалась Лада.

Последний разворот. Дамба, ведущая на остров. Аллея с еще не растаявшим снегом, серым и ноздреватым. Ворота.

Но кто это бежит навстречу по лужам, поднимая грязь фонтаном, оступаясь в мокром снегу, балансируя руками?

— Куда под колеса, оголтелый?!

И Лада из кабины прямо в воду:

— Гхор!
— Лада!
Стоят в снежной каше по колено, целуются. Головы откинут, посмотрят друг на друга и целуются опять.
— Любимый!
— Любимая!
Минуты через три Лада вспомнила о третьем лишнем, протянула ему руки для утешения:
— Кимушка, спасибо!
Но Кима не было. Он оставил влюбленных у машины и ушел прямо в чащу по ноздреватому снегу к березкам и осинкам, еще худеньким, голенастым, с растопыренными сучьями, но освещенным солнцем и жизнерадостным, как девчонки-подростки, у которых все хорошее впереди. Шагал, продавливая наст, смотрел сквозь ветки на бледно-голубое небо и широко улыбался. Так и шел с застывшей улыбкой.
Ревности не было. И зависти не было: такому беспредельному счастью нельзя завидовать. Да Ким и сам был счастлив. Видимо, счастье дарить — самое чистое, самое светлое, оно сродни материнству. И таких минут у Кима будет много отныне. Много, много раз будет он сводить расставшихся, видеть глаза, затуманенные слезами радости, слышать трепетное спасибо. Почтальоном радости будет он в этом мире — нет приятнее функции...

ГЛАВА 7. ВСЕ ЕЩЕ ПЛАЧУТ

Будем вечно молодыми! Вечно будем молодыми!
Сплетая руки, юноши и девушки несутся в буйном хороводе. Глаза их блестят, лица раскраснелись, ветер треплет волосы, дыхания не хватает для пения, для крика, для танца...
Небо тоже ликует. Художники раскрасили светом облака.
Словно девушки в пестрых нарядах, толпятся они над Москвой, каждое смотрится в зеркало реки. Взлетают ракеты, огненные букеты распускаются в небе, с шипением, треском и звоном крутятся огненные колеса. Треск и грохот в небе, песни и хохот на земле. Весело и оглушительно празднуют люди победу над смертью.
— Дедушка, будешь молодым! Иди плясать с нами.

— Гляди на этого бородатого. Вылитый Ксан. Наверное, журналист.

— Эй, приклеивший бороду, передай Ксану, что мы счастливы.

И весельчаки не знают, что их слушает подлинный Ксан. По своему обыкновению, он делает выборочный опрос, ловит обрывки разговоров, нанизывает на память, вяжет, петля за петлей, сетку доводов для будущих дискуссий.

— Сто лет живем — ура! Двести лет живем — ура, ура! Триста — ура, ура, ура!!!

— А я, дружок, о пяти годочках мечтал. Поскрипеть, кости погреть на солнышке.

— Получай, папаша, три столетия!

— Не за себя, за дочку рада. Тридцать лет девочке, а лучшее уже позади. Морщинок больше, внимания меньше.

— На полюсе не был. Побываю. В Париже не был. Побываю. На Марсе не был...

— Бывают жизни нескладные, неудавшиеся, тянучие. Так хорошо, что выдадут вторую. Дотерпел до конца, все перечеркнул, начинай заново.

— А ты, дядя, не откладывай! Сегодня начинай заново.

— Дешевое отношение к жизни будет, неуважительное. Тяп-ляп, сто лет кое-как. Ты цени годы, цени минуты. Не важно — сколько прожил, важно — как жил...

— Семьсот лет, ура! Восемьсот — ура! Тысячу — урра!!!

— Ишь разохотились!

— Слушайте, а ведь это скучно: тысячу лет ты инженер, тысячу — блондин, тысячу лет — пигмей.

— Нет, уж новая жизнь — новая внешность и новый темперамент. По вкусу. По каталогу.

— А я в следующей жизни стала бы мужчиной.

— Поговорка была: если бы молодость знала, если бы старость могла... Наконец-то совершенство: могучие старики.

— Отменяется растрата сил человеческих. Только выучился...

— Мне главного нашего жалко. Голова математика, пальцы художника. Обидно — двух лет не дотянул.

— Люди прошлого не должны быть обездолены.

— Ученые придумают. Есть же герасимоведение — восстановление портрета по черепу. Вот и тело восстано-

вят как-нибудь — по клеточкам, по химии волос, костей, что ли...

— Пушкина. Пусть бы написал о нашей эпохе!

Девушка протягивает другу обе руки.

— Сто жизней проживем вместе, правда?

— Ура! Нашим ученым — ура! Все вместе, хором: ура!

Но мир велик и многолюден. Есть в нем и такие, которые не радуются даже в этот день всемирной радости. С озабоченным видом набирают они номера на своих браслетах, взывают:

— Справочная, дайте мне позывные Гхора. Через ноль? А профессора Зарека? Тоже через ноль? Безобразие!

В XXIII веке каждый человек с каждым может связаться по радио. Каждый друг знает пожизненные позывные друга, каждый возлюбленный с нежностью шепчет любимое имя и номер любимой. Но есть люди, которых можно вызывать только через ноль — через радиосекретаря, иначе им некогда будет работать и спать. Чаще это знаменитые врачи, знаменитые артисты и знаменитые космонавты. У Ксана тоже номер с нулем. И он сам распорядился дать браслеты с нулем Зареку, Гхору и Ладе. Ведь он знал, что мир велик и даже в праздник радости найдутся несчастные. Статистика говорит, что каждую секунду на Земле умирает один человек. Их близким невозможно ликовать в надежде на будущее. Им надо спасать умирающего сейчас.

— Справочная, дайте номер помощника Зарека, высокого такого, полного, его показывали на экране. Кимс 46-19? Спасибо.

И слабенький ток вызова иголочкой покалывает кожу Кима. На его браслете, таком инертном до сегодняшнего дня, чередой проходят незнакомые гости.

Женщина средних лет (выше средних) с малоподвижным, искусственно подкрашенным лицом. Чувствуется, что кожа натянута и выделана усилиями многих косметиков.

— Вы Ким, помощник Зарека? Ох какой милый мальчик! Голубчик, вы, верно, знаете меня в лицо. Я Мата, артистка, я «Девушка, презирающая любовь», я «Цветочница из Орлеана», я «Наташа Ростова». Милый, мне нужна молодость как воздух. Мое амплуа — расцветающие девочки, я не могу играть властных и злобных замоскворецких старух.

— К сожалению, товарищ, все это дело будущего...

Наблюдения... Специальные заседания. До свидания... Рад бы...

Покалывапие.

Глубокий старик. Сухое, желтое, как будто пергаментное лпцо.

— У меня, дорогуша, была мечта в жизни: перевести па русский язык «Махабхарату» всю целиком. Но это сотни тысяч стихов, лет тридцать усидчивой работы. Милый, запишите меня на вторую жизнь. Обещайте, тогда завтра же прпступлю к работе.

Неприятно разочаровывать людей, но этот хоть подождать может год-другой. А как быть с таким вызовом?

На экране смуглая чернокудрая девушка с заплаканными глазами. Лицо классическое, черты безукоризненные. Она иностранка, русского языка не знает, у себя на родине говорит в рупор кибы-переводчицы. Ким слышит металлический голос машины, чеканящей слова с неприятной правильностью.

— Пожалуйста, будьте любезны, сделайте безотлагательно ратозапись моей мамы.

— К сожалению, товарищ...

— Если бы вы знали мою маму...— не отступается девушка.— Такая доброта! Такое сердце! Такое долготерпение! Нас одиннадцать человек детей, и трое совсем маленькие...

— Рад бы...

— Ну сделайте что-нибудь... Ну прошу вас...

Девушка давится рыданиями, старается сдержаться, засовывая в рот кулак. После заминки киба-переводчица сообщает:

— Непереводимые, нечленораздельные звуки, выражающие крайнее горе и отчаяние.

Почему-то плачущие девушки, в особенности чернокудрые, вызывают у Кима непреодолимое стремление оказывать помощь. Ким берет у девушки позывные (Неаполь. Джули 77-82), обещает то, что не имеет права обещать, и сам через барьер нуля вызывает профессора Зарека.

— Юноша, надо выдерживать характер,— говорит ему профессор укоризненно.— Есть решение Ученого Совета: никаких скороспелых кустарных опытов. Гхора надо понаблюдать.

— Но у нее умирает мать, — оправдывается Ким. —

Добрая, любящая, мать одиннадцати детей, трое совсем маленьких.

И Зарек сам, вопреки логике, соглашается связаться с Ксаном.

Радиоволны находят Ксана в кафе, что против библиотеки Ленина.

— Женщины все еще плачут на планете, дорогой Ксан. Как быть?

— Уважаемый профессор, вы наносите мне удар в спину,— говорит Ксан Зареку.— Сами же вы, медики, продиктовали решение: ничего не предпринимать, пока ведутся наблюдения. И будьте справедливы. На Земле умирает ежегодно миллиард стариков. Вчера я вас спрашивал: сколько вы способны оживить? Вы ответили: не более тысячи в год, по пять человек на каждый Институт мозга. Как отбирать эту тысячу из миллиарда? По старинному принципу, который в двадцатом веке назывался протекцией?! Девушка просит Кима, Ким — вас, вы — меня, я разрешаю... Так?

— Я не могу отказать,— упавшим голосом говорит Зарек. — Отказать в жизни! Это не лучше убийства.

— А как быть со всеми остальными, не догадавшимися плакать перед вашим Кимом? Три миллиона умрет сегодня. Их мы не убиваем?

Профессор молчит, понурившись.

— Вот такие терзания нам предстоят, Зарек. Каждодневно кого-то приговаривать к смерти, кому-то отказывать в помиловании!

— Что же сказать этой плачущей девушке, Ксан?

— Ну, черт возьми, чего вы от меня хотите? Есть у них ратолаборатория в Неаполе? Пусть запишут мамашу, положат в архив. А очередность я решать не буду. Совет Планеты решит. Вот соберемся после праздника, примем общий порядок, единый закон продления жизни.

Расстроенный, смотрит он на кипящую толпу. Людской океан на Земле, миллиарды и миллиарды — вот в чем проблема. Дать счастье одному умели еще в Древнем Египте. Но принцип коммунизма: по потребности — всем. Всем! Миллиардам!!!

— Ну что ж, придется внести ясность,— вздыхает он. И достает из портфеля толстый блокнот, озаглавленный: «Заметки на будущее». Листает с конца к началу, останавливается на листках, помеченных октябрем 2203 года.

В том октябре полтора года назад принимал он в своем саду группу молодых спасителей Гхора.

«...Допустим, полнейший успех. Гхор возвращается. Вдова не плачет.

Допустим, осушены слезы всех вдов. Не состоялся миллиард похорон. Население увеличилось на миллиард.

Кормить, одевать, размещать, развлекать лишний миллиард! Новые заботы!

Такие ли новые! В новом ищи старое.

Естественный прирост — миллиард в год. Всеобщее оживление только увеличивает его вдвое. Не один процент, а два процента в год. Приближает уже намеченные планы. Вспомним.

Где размещать?

I. Проект отепления полярных стран. Оживают, заселяются, входят в хозяйство скованные льдами 15% суши.

Помни оборотную сторону. Получаем, но и теряем.

а) Растаявшие льды поднимают уровень океана метров на 60. Затопляется побережье во всем мире. Надо его спасать.

Валы по периметру всех материков всего мира! Емко!

б) Климат становится суше и жарче. Лесов меньше, степей и пустынь больше. К чему?

За все потери 15% прибыли. Обеспечим прирост семи лет. Стоит ли игра свеч?

II. Проект заселения океана.

Предлагаются плоты. Наплавная суша. Ничего не откачивать.

Помни оборотную сторону.

Полная застройка океана превратит планету в мертвую пустыню.

Расчет и умеренность.

Застройка пятой части или четверти океана. Прирост суши на 50—62%. Решение проблемы на три десятка лет.

За эти три десятка лет надо подготовить прыжок в космос.

В космос! Куда же еще?

Бесконечные сложности!

Попробовать иначе?

Сбалансировать рождаемость? Ограничить рост, ограничиться Землей? Стариков больше, детей меньше! Хорошо?

Помни про оборотную сторону: консерватизм мысли. Замедление прогресса. Необязательность прогресса. Поэтизация прошлого».

Полтора года назад это было записано.

Несутся в хороводе, сплетая руки, юноши и девушки. Глаза их блестят, щеки раскраснелись, ветер треплет волосы, на лицах восторг.

И небо ликует тоже. Художниками раскрашены облака. Пурпур, охра, крон. Малявинские сарафаны на небе.

С улыбкой завистливо-сочувственной смотрит Ксан на ликующую молодежь, шепчет, покачивая головой:

— Трудный выбор предстоит вам, дружочки!

ГЛАВА 8. ГХОР КАК ЛИТЕРАТОР

Молодость!

Кровь горяча, мускулы упруги, бодрость в каждой жилке. Ни одной мысли нет о режиме, экономии сил, профилактике. Даже презираешь медицину, смеешься над теми, кто тратит время и внимание на лекарства и процедуры.

Молодость!

Сила льется через край, в душе отчаянность, все моря по колено, все дороги чересчур гладки. Хочется не ходить, а бежать, не бежать, а прыгать, перескакивать через канавы, взбираться на холмы, залезать на деревья... не по необходимости — от избытка сил, потому что прямая дорога слишком гладка.

Молодость!

Но как объяснить молодому (отныне навеки молодому!) читателю все великолепие молодости? Он молод сам и не замечает молодости, как света, как воздуха. О воздухе вспоминают, когда нечем дышать, о здоровье — когда его теряют. Ксан говорит: «Есть два способа обрадовать человека: первый — подарить долгожданное, второй—вернуть утраченное. Почему-то вторая радость сильнее». И Лада счастлива безмерно, потому что ей вернули любовь, а Гхор счастливее вдвое: ему вернули и любовь и молодость.

Гхору нравится работать до утра, не потому что необходимо, а потому что силы есть. Устал, голову под кран, ледяной душ, пробежка по саду — и снова свеж, как буд-

то не было бессонной ночи. А прежде: недоспал бы час — на весь день головная боль.

Ему нравится на заре в трусах выпрыгнуть в весенний сад, промчаться напрямик, разбрызгивая ледяные лужи, первый подходящий сук использовать как турник, у ствола сделать стойку, потом пройтись на руках, не потому что врачи рекомендуют зарядку — силы в избытке. Раньше не сумел бы, простудился бы. Теперь все доступно.

Ему нравится быть в толпе: гомон, говор, мелькание лиц, красочных платьев, беглые взгляды девушек из-под ресниц. Девушки не нужны Гхору: у него своя жена — красивая, любящая, преданная, верная. Но приятно, что он опять молод и привлекателен, никто не отвернется равнодушно, заметив седину.

Память еще хранит скупую расчетливость слабосильной старости: не разбрасывайся, не отвлекайся, не затевай новое, если хочешь успеть хоть что-нибудь. Но сейчас силы хоть отбавляй, времени хоть отбавляй, никакая дорога не представляется слишком длинной. Гхор изучает сразу десять наук, которые начинаются с приставки «рато». Кроме того, он хочет объехать весь мир, самолично составить альбом красивейших видов. Он даже учится рисовать, потому что вычитал, что только рисовальщик, кропотливо, вручную прорабатывающий детали, видит всю скрытую красоту мира,— фотограф охватывает слишком большие куски, глотает не прожевывая и потому не ощущает вкуса. До сих пор и Гхор не смаковал, глотал кое-как, сейчас намерен насладиться всей красотой Вселенной. В альбоме будут виды не только Земли, но и планет. На столе у Гхора «Справочник космонавта». Жизнь подарена заново, впереди десятилетия. И к черту расчетливость! «Лада, летим на Плутон!» — «Зачем?» — «Просто так».

Смешноваты старики с их серьезностью и озабоченностью. Зарек три раза в день проверяет что-то, измеряет, выслушивает, прикатывает в комнату диагностическую машину. «Профессор, я здоров как бык. Не верите? Глядите, я нажал слегка и сломал стол. Зачем? Просто так. Мне нетрудно сломать. И починить нетрудно. Плюньте на ваши анализы и предписания, выкиньте рецепты за окно. Лучше потанцуйте с Ладой. Зачем? Просто так. Потому что весело».

И Ксан смешноват, тоже нахмуренный и озабоченный. У него проблема: миллион срочных заявок на молодость, а

в институтах мозга тысяча мест. «Ну и что же? В космос тоже миллион желающих на одно место, там кидают жребий. Несерьезное решение? Найду другое, посерьезнее. Приходите утром, дорогой Ксан, решение будет».

Ночью Гхор садится писать рассказ — рассказ-решение, рассказ-предложение. Он никогда не занимался литературой, а теперь попробует. Сил хватает на все, хватит и на рассказ.

Вот он целиком, рассказ Гхора, первый в его жизни. Гхор полагал, что он чужд литературных ухищрений, пишет, как говорит. Действительно, в те годы принято было в бытовой речи пропускать все связующие подразумевающиеся слова, суть улавливать по контексту. И были энтузиасты усеченной речи, даже классиков переводившие с литературного языка на консиективный. Гхор, сам того не подозревая, примкнул к школе консиективистов.

ЧЕЛОВЕК ОТЧИТЫВАЕТСЯ

Проснулся рано.

Оранжевые от солнца карнизы. На нижних этажах тень.

Вспыхнуло стекло.

Календарь.

24 октября. Особенное число. День рождения.

Не радостно. Год позади. Шестьдесят. Одинок. Вечером будничный ужин, сумрачные воспоминания. Без поздравлений. Браслет молчит.

Звоночек почтового ящика. Вспомнили? Кто?

Теряет одну туфлю.

Печатное приглашение. Бланк: «По случаю шестидесятилетия просим в Дом отчета».

Ах да! Новейший обычай: отчет человека. Лучшим — молодость, вторая жизнь. Считают: здоровое соревнование. Стимул творчества. Если дается даром, изнеживает.

Костюм. Плащ. Портфель. Фото где?

Собирается без оживления. Похвалиться нечем. Но так принято. Из уважения к людям.

Парадная лестница. Фрески. Вверх — вереница благородных стариков, вниз — омоложенные. На площадке мраморная доска. Имена удостоенных — золотом.

Гулкий зал. На трибуне седой, румяный. Уверенный голос.

Первый кандидат. Поэт сказал: «Будь пятиконечным!» Труд — общество — культура — семья — спорт. Старался. Медаль стоборья. Инструктор волейбола. Сохранил себя. Без омоложения проживу сорок. О семье? Две дочери, сын. Уже дедушка. Внучата — реклама манной каши. О культуре? Говорить полчаса. Книги. Виолончель. Диспуты. Шахматы. О гражданине общества? Городской совет. Санитарная инспекция. Чистота, красота, нужны всем. Труд — программист. Кибы обслуживания. Мытье, уборка, кухня, ремонт. Оригинальные программы. «Спасибо» районного масштаба.

Голоса. Достоин!.. Достойный во всех отношениях!.. Все бы такие!

Судья. Всех кандидатов выслушаем.

Голос. Достойнее не будет.

На трибуне суровый. Шрам поперек лица. Серебряный комбинезон.

Второй кандидат. Не хватило времени стать пятилучевым. Альфа Центавра — восемь лет. Сириус — семнадцать. Девушку не попросишь ждать семнадцать. Режим дня, монотонность, собранность, точные наблюдения. Два-три полета — жизнь. Скажете: не было жизни вовсе.

Голоса. Прав, не было жизни.

Достойнее. Молодость отдал людям. Дать вторую.

А вторую космосу?

— До-стой-не-е, до-стой-не-е!

Судья. Всех юбиляров сначала.

Старушка на трибуне. Чистенькая, уютная, лучистая. Руки под фартуком, стесняется. Молчит.

Двенадцать рослых за нее. Шесть сыновей. Подводник, полярник, моряк, ратофизик, ратогенетик, ратометаллист. Шесть дочерей. Все матери. Учительница, профилактики, одна артистка. Внучат — цветник.

Говорят о ласке, самоотречении, душевности, терпении и такте.

Детям все, себе ничего.

Двенадцать ходатаев.

Двенадцать папок с заслугами.

Не считая коллекции детских лиц.

Заслужила продление!

Зал *(хором)*. Ей продлить! Ей! Матери! Маме!

Все за нее. Каждый — о своей маме. Умиление и благодарность.

Судья *(умоляюще)*. Терпение. Последнего. Четвертый кандидат порядка ради.

На трибуне проснувшийся рано. Глядевший на оранжевый карниз. Шарф на шее. Сутуловатый. Кашляет. Себя не сохранил.

Четвертый. Не пятилучевой. Одинок от эгоизма. Труд без интереса. Ночной дежурный. «Спасибо» нет даже домового масштаба. Был городской стыд: порча музейного экспоната. Полгода безделья в наказание. Молодости не заслужил. Время отнимаю. Но дело незавершенное. Ищу, кому вручить.

Одна страсть, один интерес — великие люди. Тайна гениальности! Волновало: этим пером — великое слово. Собирал вещички, пряди волос, автографы. Почти бессмыслица. Другие пожимают плечами. Замкнулся.

Вдруг ратомика. Описание каждой молекулы. Осенило: в руках ключ. Вещи великих людей, дыхание, пот, кожа под краской, под чернилами, в волокнах бумаги, одежды. Химия гения!

Энгельса помню. «Эпоха требовала гениев и породила их». Наша требует. Но кто способен? Именно?

Математики и музыканты — сызмала. Поэты — в юные годы. Что от врожденного?

Взялся за кропотливое. Ратобиохимия. Сравнение: белки среднего, белки гениального. Мозги великих в музее. Тургенева — наибольший. Взял срез. Городской стыд за это. Мечтал: найду решение. Мечтал: себя подправлю. Общая польза и личное счастье. Мне уважение — отмена городского стыда. Мечты, мечты!

Но сто тысяч белков у каждого. Изучаю тысячу гениев. Разобрать одну молекулу — месяц. Нет в жизни ста миллионов месяцев. Уже стар. Шарф, кашель, пилюли. Успел мало: наметки, догадки. Пора передавать. Кому? Сюда принес.

Попрошу достойного. Космонавт ли, умелец терпения, мать ли, детей много. Если учитель, учеников еще больше. Прошу...

Закашлялся. Долго. Надсадно. Виноватые глаза. Папку протягивает. Рука дрожит...

Молчание на суде.

Космонавт. От имени времени и пространства, от имени чужедальних миров, миллионов километров, спрессованных в минуты... Ему!

Мама *(со вздохом)*. Мне зачем? Я простая. *(Привычное отречение мамы.)*

Первый кандидат *(очень надеялся на награду)*. Рассмотреть надо наравне.

Голоса. Ему! Четвертому!

Судья *(разводя руками)*. Голосуем?

Выставка ладоней. Подсолнечники на поле.

Рассказ этот, волнуясь, как и полагается молодому, начинающему автору, Гхор прочел Ксану и Ладе. И, как неуверенный автор, добавил пояснения, не надеясь, что написано достаточно ясно:

— Так решается проблема, которую ты обсуждаешь, Ксан. Сейчас вторую жизнь заслуживает не каждый. Есть тысячи и тысячи средних людей, их долголетие никому не нужно. Жизнь надо дарить избранникам. Возникнет здоровое соревнование. Стремясь к награде, каждый будет стараться прожить не кое-как, а с наибольшей отдачей.

Ксан слушал с неопределенной улыбкой.

— Вот ты какой! — произнес он. Потом добавил: — Чем хороша литература? Она умеет умалчивать о последствиях. Точка поставлена, счастливый конец, влюбленные целуются, неудачники плачут за сценой. Видимо, литератор не мог бы работать на моей должности. Разреши, Гхор, к твоему произведению я подойду как консультант Института новых идей. Я продолжу твой рассказ. Нет, не завтра, сейчас продолжу, устно. Итак, восторженные свидетели вынесли победителя на руках. Он сиял от счастья. Не все сияли. Некоторые были смущены. Задержались в зале друзья космонавта. Один сказал:

«Юбиляр был лучшим из нас. Значит, так получается: мы, космонавты, отверженцы. Всю жизнь в ракете, как в ссылке, и это не подвиг. Так на кой же черт лишать себя радостей жизни? Проживу-ка я свой век на Земле в полное удовольствие».

«И я»,— сказал другой.

А третий крикнул:

«Друзья, космачи, откажемся все летать! Паралич космических трасс. Кажется, на Сириусе это называется забастовкой. Пусть обойдутся без космонавтов, может, научатся ценить нас».

Унылые сыновья и дочери провожают обреченную

мать. Женщины плачут: расставание неизбежно. Одна из них, рыдая, кричит:

«Были мужчины высокомерными господами, так и остались! Почему изобретатель всех почетнее? А женщина, мать умников? Обречена с рождения быть человеком второго сорта?»

Правильно я рассказываю, Лада? — прервал себя Ксан.

— Мать надо было наградить, конечно, дать ей вторую молодость,— предложила Лада.

— А космонавту?

— И космонавту. А среднему, во всех отношениях достойному, пожалуй, не стоило.

— Хорошо, Лада, принимаю твою поправку: среднедостойным не нужно продления. Даю новый конец рассказа.

Под бурные аплодисменты жизнь продлили троим. Но...

За столом, за веселым ужином, обнимает космонавт друзей. Прощается со старостью, уходит в молодость. Он весел, прочие грустноваты. Старшие в большинстве не награждены, младшие в большинстве не добьются награды. Он счастливец... и отщепенец. Он лучший, они среднедостойные. Но разве он настолько лучше других? На словах его поздравляют, глазами укоряют. И кто-то, самый откровенный или несдержанный, кидает в лицо как плевок:

«Слушай, а сам себя ты считаешь наилучшим? Тот не смелее? Этот не хладнокровнее? Они летали на два года меньше, но велика ли разница — твои двадцать пять или их двадцать три?»

И награжденный, стуча кулаком, кричит с надрывом:

«Отказываюсь от молодости! Кому передать? Решайте сами!»

Мать-старушка приходит, сияя, в свой дом. Говорит мужу:

«Отец, поздравь!»

Старик обнимает ее, сдерживая слезы. Сам-то он не удостоен. Сорок лет прожили вместе, но всем известно: материнские заботы больше. Всхлипывает:

«Прощай, голубушка! В той молодости найди хорошего мужа!»

Сорок лет вместе! И вот уже награжденная рыдает, цепляется за старика:

«Не хочу я другой молодости! С тобой жила, с тобой стариться буду!»

Так, Лада?

— Конечно, супругов нельзя разлучать,— говорит Лада.— Старик тоже заслуженный. Он же отец двенадцати хороших детей.

— А древняя старушка, мать награжденной? А сестры ее, верные помощницы? А из двенадцати детей всем ли дадут молодость? А если никому? Как ни верти, всюду слезы, чьи-то привилегии, чьи-то обиды. Хорошо получается, Лада?

Лада молчала, смущенная.

— Продолжаю рассказ: у себя дома за столом сидит средний, но достойный во всех отношениях человек. Он пишет жалобу: «Прошу пересмотреть... Меня обманули. Со школьных лет призывали быть многолучевым. Я поверил... я послушался... я старался. За это меня наказывают смертью. Жизнь дают маньякам, сидящим в затканной паутиной каморке. Почему меня не предупредили в детстве? Разве я не мог стать маньяком?»

Еще продолжаю. Одна из зрительниц говорит дочери: «Милая, выходи замуж за физика и угождай ему. Он противный малый, но что-нибудь изобретет... И заслужит вторую молодость для себя и для тебя. А любимого своего бросай. Это душа-человек, добряк, но слишком скромный. Никому не покажется заслуженным».

Другой зритель советует брату:

«Явишься в Дом отчета, рассказывай басни про какие-нибудь проекты. Чем нелепее, тем скорее заинтересуются. Лепи наобум: «Дескать, переменю человеку мозги, сделаю быстродействующими, как у вычислительной кибы». Проверять не будут. А захотят проверить, ври напропалую: «Ничего не успел, доделаю в следующей молодости». Разок покривишь на словах, зато получишь целую жизнь».

Третий говорит:

«Там, на суде, все решается криком... — Другу советует: — Собери побольше крикунов, пусть вопят что есть мочи: «Ему, ему!» Я тоже для тебя покричу. А через год подойдет моя очередь, ты приходи ко мне кричать».

— Но ведь это нечестно! — возмутилась Лада.

Ксан перестал улыбаться. Лицо его стало сердитым.

— На Земле нет нечестности двести лет, Лада, потому

что «каждому дается по потребностям». Нечестность неприятна, а кроме того, не приносит никакой выгоды в наше время. Но «не вводи человека в искушение», говорили древние. Сама ты, Лада, уверена, что не покривишь душой, если жизнь твоего мужа... твоего сына... можно будет спасти нескромностью и нечестностью? Человеку не под силу сказать: «Мой сын обыкновенный, убивайте его спокойно!»

— Как странно, Ксан все видит в черном свете,— сказала Лада мужу, когда они остались одни.

Гхор пожал плечами:

— Стариковская психология. Заскорузлый мозг боится напряжения. Новое требует переосмысления, умственного напряжения, а старое, какое ни на есть, улеглось давно. Но между прочим, я тоже член Совета, мы там возобновим этот спор.

ГЛАВА 9. ЕСЛИ ВСЕМ...

СОВЕТ ПЛАНЕТЫ

Выдержки из протокола заседания от 3 мая 2205 года.

Ксан. Друзья, я внимательно прослушал убежденную речь Гхора и с удивлением отметил в ней одну черту, свойственную горячим, юным, увлеченным и пристрастным изобретателям. Им, молодым изобретателям, так хочется добиться признания, что они громоздят все возможные «за» и не замечают, что один довод исключает другой категорически. Мне нет необходимости долго спорить с Гхором, потому что Гхор сам опроверг Гхора.

Что он сказал в своем выступлении?

Первое: открыв ратомику, человек наконец-то получил возможность удовлетворить любые желания, взобрался на гору, где можно расположиться для блаженного покоя. Погоня за продлением жизни лишит нас заслуженного покоя, вынудит снова пуститься в трудную дорогу.

Второе: погоня за продлением жизни заставит людей выбирать самые трудные пути в жизни, соревноваться в творчестве и соревнование это обеспечит быстрый прогресс...

Так за что же ратует Гхор — за блаженный покой или за стремительный прогресс? Ведь эти состояния взаимоис-

ключающие. Если прогресс — значит, нет покоя, а если покой — значит, нет прогресса.

Гхор. Каждый выбирает по своему вкусу, по склонностям, по способностям.

Ксан. Дорогой Гхор, вы слишком плохого мнения о людях. Нормальный, здоровый человек не выберет безделтельность. Человеку присуща любовь к труду, активность. Это норма психологии. И я замечал, что воспеватели блаженного покоя почему-то подсовывают покой другим, отнюдь не себе. Гхор не хочет покоя, и я не хочу, и ни один человек в этом зале и за стенами зала тоже. Не следует считать себя совершеннее других. Вы заботитесь не о людях, Гхор, а о выдуманной схеме, об абстрактном лентяе, не существующем на Земле.

Гхор. Я не могу считать себя знатоком психологии и не хотел бы вступать в дискуссию о тайнах человеческих эмоций. Я физик, я ратомист, я практик. Я уважаю цифры и держусь на ясной почве школьной арифметики.

Статистика говорит, что на Земле умирает ежегодно около миллиарда человек. Институты мозга всего мира могут принять в этом году для омоложения одну тысячу, тысячу из миллиарда. Так же арифметика говорит, что от тысячи к миллиарду путь долог. Чтобы увеличить промышленность в тысячу раз, потребовалось два века — двести лет. Допустим, здесь мы возьмем темпы в тысячу раз выше: в результате потратим двести лет, даже сто или пятьдесят. Хотим мы или не хотим, но мы поставлены перед необходимостью двести лет заниматься выбором, решать, кому жить, а кому не жить. Необходимость, неизбежность, и я предлагаю прийти к этому трудному делу с открытыми глазами, не прятать голову в песок, воображая, что все сделается само собой.

Мы вынуждены выбирать тысячу в этом году, две тысячи в будущем и так далее. Выбирая, приобретем опыт. Опыт подскажет нам оптимальный процент: сколько людей нужно оставлять для блага человечества. Я лично думаю, что оптимальный процент не сто... Может быть, я ошибаюсь, это выяснится на опыте. Мы вступаем в переходный период от кратколетия к долголетию. Ксан как историк подтвердит: без переходных периодов не обойдешься. А у переходов свои законы, и с этими законами следует считаться. Суть состоит в том, что отбор уже начался и надо договариваться, как его проводить.

К с а н. Я благодарен Гхору за то, что он позволил мне перенести разговор в область исторических сравнений. И совершенно правильно, что переходные периоды — историческая необходимость. Они бывают длительными, это тоже верно, но длина-то у них различная, вот в чем суть.

Действительно, железо входило в быт тысячу лет, но телевидению понадобилось только тридцать, а всеобщее ратоснабжение — хорошо, что Гхор напомнил вам,— было введено за один год всего лишь. Верно, переходы бывали долгими, но длина их сокращается по мере развития техники.

Гхор считает, что на этот раз переход займет у нас два века, и ссылается на арифметику. Я же приводил более сложные, не мною составленные расчеты экономистов, из которых следует, что, понатужившись, вернувшись к семичасовому или восьмичасовому рабочему дню, мы обеспечим всеобщее омоложение уже через пять — восемь лет.

Пять лет или двести — разница принципиальная. Пять лет — короткое напряжение, быстро забывающееся, очередная война с природой. Двести лет — это десяток поколений. Это уже эпоха со своими законами, укладом и даже моралью. О морали хотел я напомнить.

Мы с вами живем при коммунизме, и основной порядок, закон распределения, у нас — каждому по потребности. Но такой порядок существует только два века, а до того тысячелетиями законом было неравенство: немногим — лакомства, прочим — черствые корки; один наряжал жену в парчу, прочие — в лохмотья; один жил во дворце, большинство — в трущобах; один учил детей у лучших профессоров, лечил у лучших докторов, большинство не лечило и не учило вообще. Таков был закон общества в прошлом, и люди привыкли к нему, считали законом бога, рождались для неравенства и умирали в неравенстве.

Не надо воображать, что они были злющими, наши предки. Они тоже мечтали о добре, твердили: «не убий», «не лги», «будь вежлив и справедлив» и прочее. Но жизнь противоречила этим заповедям. Плут, грубиян и наглец пролезал, толкаясь локтями. Скромный и честный уступал дорогу за счет своей семьи, своих детей обрекал на худшую судьбу. Поэты писали: «С милым рай в шалаше», но женщины-то знали, что в шалашах голодно и холодно, в шалашах младенцы простуживаются. И можно

ли винить женщин, что они мечтали о богатом женихе и сохраняли верность нелюбимому, чтобы детей не обрекать на нищету?

К чему я ворошу все это забытое? К тому, что в нашу жизнь входит временное неравенство, а Гхор предлагает его растянуть, закрепить и узаконить. Одним, меньшинству,— жизнь продленная, другим — однократная, по старинке короткая. Наши предки ссорились за лучшие условия жизни, потомкам угрожают свары за срок жизни. Можно ли требовать скромности, честности и уступчивости, если уступать придется жизнь своих детей, если скромность — это твоя смерть?

Гхор. Но я же говорил о научном подходе к отбору, объективной оценке, о статуте общественных судов.

Ксан. Да, я понял вас. Но я сомневаюсь, что, выслушав двадцатиминутный отчет человека, можно дать объективную оценку его жизни. Сколько тут будет зависеть от впечатления, приятной внешности, от умения говорить, выгодно подать свои достоинства!

Гхор. Зачем сейчас толковать о мелких подробностях? Допустим, я предложил не лучший вариант. Можно повысить объективность судов, если вести учет заслуг всю жизнь.

Ксан. Гхор, но это ничуть не лучше. Представьте, построена плотина или дом — чья заслуга? Многих. Надо делить проценты. Те же общественные суды, но из-за дележки очков. То же некрасивое стремление присвоить себе незаслуженно большую долю. Не окажется ли у финиша не лучший, а самый беззастенчивый, без устали ссорящийся за проценты? Пожалуй, все учреждения будут заняты не работой, а учетом заслуг, и все советы, вплоть до нашего, круглый год будут разбирать жалобы получивших отказ в продлении жизни, приговоренных к смерти от увядания.

Будем смотреть правде в глаза: неравенство в долголетии приведет к оживлению эгоистической морали. Вот почему я стою за то, чтобы напрячь усилия и за пять лет перейти ко всеобщему продлению жизни, а на эти пять лет не вводить ни суды, ни отборы, ни споры, а записывать всех умирающих, и записи хранить на складах, пока не будет осуществлено всеобщее и равное продление жизни.

Гхор. Я несколько удивлен, что Ксан, знаток челове-

ка и человеколюбец, такого плохого мнения о наших замечательных современниках. Я лично думаю, что наши люди поймут необходимость, проявят сознательность и глубокую честность в самооценке. Быть может, некоторые, слабые душой, заколеблются, но неужели из-за этих слабодушных обрекать на смерть всех, кого мы можем спасти уже сегодня?

Ксан. Я сказал: не «обрекать на смерть», а «записывать и хранить записи».

Гхор. Нет никакой уверенности, что ратозапись можно хранить пять или десять лет. Притом мы даже к всеобщей записи не готовы: нет оборудования, нет хранилищ, нет специалистов. Обучение займет лет шесть.

Ксан. Шесть месяцев.

Гхор. Допустим. Но и в эти полгода люди будут умирать. Отбор — неизбежность. Будут трудности. Но не для легкой работы выбирают Совет Планеты.

Ксан. Я все сказал. Наш спор записан и будет приложен к «Зеленой книге». Люди прочтут, продумают, проголосуют.

Гхор. Прошу прощения, при чем тут «Зеленая книга»? «Зеленая книга» выйдет в конце года, сейчас май. Сегодня мы обсуждаем чисто экономический вопрос: ассигновать ли часы на восстановление умерших и по какому принципу отбирать тысячу человек для опытов? Я предлагаю сделать это в рабочем порядке. Пусть каждый член Совета внесет в список троих.

Ксан *(задыхаясь)*. Вы хитрите, Гхор, хитрите!

Ксан в тот день чувствовал себя худо, так неважно, что даже в Кремль не полетел на ранце, предпочел медлительную и комфортабельную наземную машину. Однако важного сообщения пропускать не хотелось. Могла возникнуть полемика, в полемике требуется быстро найти возражения. Впрочем, Ксан считал свою точку зрения неоспоримой. Существует коммунистический принцип — каждому по потребностям. Каждому, каждому, каждому, невзирая на заслуги и погрешности. Есть у людей потребность продлить жизнь?

Ксану казалось сначала, что Гхор упускает из виду этот принцип по неопытности, по горячности, в пылу спора. Нужно только объяснить терпеливо, и он поймет ошибку. И Ксан был откровенно удивлен, встретив упорство, даже изворотливость у противника. Гхор возражал и воз-

ражал; говорил о чем угодно, но обходил главное: как удовлетворить потребность? И в голову Ксана начало закрадываться сомнение: «Полно, печется ли Гхор об общих потребностях? О ком же? Не о себе: ведь ему жизнь уже продлили. Но пожалуй, о себе подобных. Гхор — выдающийся ученый, он первый в мире оживленный, он счастливчик, баловень судьбы, избранник фортуны, у него и психология избранника. Бессознательно, эмоционально ему хочется закрепить особое положение избранников. И при этом Гхор проявляет черную неблагодарность. Его самого спасло все человечество, вложило двести миллионов часов, а теперь, оживленный общими усилиями, он возражает против спасения своих спасителей».

Так подумал Ксан, вслух ничего не сказал. В Совете Планеты не полагалось говорить о личностях и личных мотивах. Представлены доводы — будь добр, возражай на доводы. Ксан говорил об истории, экономике, морали, о человеке, его желаниях и слабостях. Говорить было трудно. Боль, утихнувшая было, снова возникла в груди, поползла в левое плечо. Это очень мешало. Внимание раздваивалось: Ксан прислушивался к словам и к боли внутри. Одновременно обдумывал возражения и напоминал себе: «Говорить надо покороче, чтобы сил хватило, и дышать поглубже, и не волноваться, только спокойствие придержит боль».

А Гхор был молод, стал молод, и говорил не стесняясь. Он намекнул, что Ксан-историк не разбирается в точных науках. И еще он сказал, что Ксан-старик жаждет покоя и покою готов пожертвовать тысячу жизней. Это было клеветой и отчасти страшной истиной. Действительно, если всеобщую ратозапись отложить на полгода, за это время умрут многие, в том числе и та тысяча, которую можно было бы спасти. Но ведь именно сам Гхор предлагал растянуть переходный период на полвека и предлагал отдать смерти девяносто девять процентов людей, а Ксана упрекал, что он жертвует тысячу-другую избранников.

И Ксан поднялся было, чтобы ответить, но боль заполнила грудь, комок поднялся к горлу, и Ксан не стал возражать. Подумал: «Стоит ли? Надо ли произносить речь для самозащиты? Это несолидно, в Совете Планеты даже неприлично. Тень, наброшенная Гхором, коварна, но призрачна. При внимательном чтении люди разберутся». Сказал только:

— Спор записан. Люди продумают, проголосуют...

Выдавил слова и сел в кресло с широко открытым ртом, стараясь проглотить комок, мешающий дышать. Сел и услышал:

— ...чисто экономический вопрос,— говорил Гхор.

Это был ловкий процедурный ход. Ксан-то понял в одно мгновение. При всеобщем голосовании Земля высказалась бы за всеобщее оживление, конечно. Но экономические вопросы решали избранники планеты. И Гхор обращался к избранникам («каждый внесет в список троих»): о себе позаботьтесь сначала. Ксана упрекал в неверии к людям, а сам играл на слабой струнке эгоизма. До чего же он не уважал людей, этот одиночка, выросший в пустыне!

Ксан приподнял непослушное тело.

— Вы хитрите, Гхор! — выкрикнул он.— Хитрите!

Хотел еще добавить: «Не забывайте присягу!» Вступая в Совет Планеты, все они давали обещание: «Не для себя, не для семьи, не для друзей, не для родного города, не для языка и расы занимаю я место в Совете Планеты». Хотел напомнить — и не смог. Блестящая эмаль засверкала перед глазами. Потом набежала мгла серо-зеленого цвета с огненными кругами и погасла, все стало черным-черно.

Было тошно, так нестерпимо тошно, что жить и дышать не хотелось. Из черноты Ксан возвращался к эмалевому блеску, от блеска — назад в черноту. Иногда из слепого внешнего мира доносились слова. Ксан не видел ничего, но, в общем, знал, что его перенесли в соседнюю комнату, дают кислород, проясняющие пары, вводят в вену гормоны, к сердцу подсоединяют электродиктат. Потом он услышал озабоченный голос Гхора:

— Ратозапись! Срочно, немедленно!

Как раз в этот момент белая эмаль раскололась. Встревоженное лицо Гхора показалось словно в разбитом зеркале.

— Приходит в себя,— сказал Гхор.— Ксан! Вы слышите нас? Простите мою резкость. Я же не знал, что вы больны. Как можно быть таким неразумным? Отложили бы дискуссию.

А рукой показывал: «Давайте, давайте ратозапись!»

Гхор был огорчен, встревожен, пристыжен, испуган за Ксана, старался спасти его. Но вместе с тем где-то в самой глубине мозга, почти в подсознании Гхора, таилась

мысль: «А себя Ксан разрешит спасти? Для себя сделает исключение?»

Едва ли Ксан понял это. А может быть, и понял. Во всяком случае, он произнес явственно:

— Если всем... Мне, если всем!

Это были его последние слова в жизни.

«Мне, если всем!»

ГЛАВА 10. ЖЕНА ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА

Трудно быть женой великого человека.

У него великие мысли — ты должна их понимать. У него великие цели — ты обязана помогать. У него великие дела — ты вынуждена жертвовать собой, устраняться. И даже если ты сама совершила необыкновенное: вытащила любимого из могилы, все равно он не твой. Великий принадлежит человечеству.

Три недели была счастлива Лада в первой своей жизни, а во второй — дней десять. Десять дней они смотрели друг другу в глаза не отрываясь, потом Гхор начал отворачиваться. В зрачках его появилась пленка, ресницы превратились в шторки, думы заслонили любовь. Гхор ввязался в борьбу всемирного масштаба.

Спор о продлении жизни решался на выборах. Ведь Ксан умер, требовался новый председатель Совета. Две кандидатуры выдвинул Совет — Зарека и Гхора.

Гордая и встревоженная, радостная и неуверенная, Лада спрашивала себя, глядя в зеркало:

— Неужели ты будешь женой самого почетного человека планеты?

Она жадно читала газеты, взвешивала шансы. Учитель или муж? Муж или учитель?

Покойный Ксан говорил: «Народы выбирают главой представителя главной профессии века». Гхор — инженер, Зарек — врач. Вопрос в том, какое дело сейчас главное. Гхор — развитие ратомики, Зарек — продление жизни. Гхор — жизнь легкая, но короткая. Зарек — долгая, но трудная.

В своем кредо кандидата Зарек высказывается ясно: «Буду проводить план Ксана: всеобщее восстановление жизни через пять — восемь лет. Срок этот минимальный: необходим для строительства ратоклиник и для подготов-

ки врачей-омолодителей. Потребуются усилия. Возможен призыв молодежи в строительство. Возможно временное увеличение рабочего дня. Все умершие в течение этого периода записываются, ратозаписи хранятся, оживление будет проводиться по очереди, в порядке дат смерти. До той поры немногочисленные объекты для клинических исследований будут отбираться по жребию.

Ясно!

Гхор тоже должен составить кредо. Но странное дело: так просто, в один вечер написался у него рассказ об общественных судах, а тут каждое слово подбирается с мучениями. Гхор уже не диктует, он по старинке пишет, перечеркивает, раздумывает над каждой строкой:

«Главное для меня — интересы человека».

Нет, не «интересы», а «благо».

Не «человека», а «человечества».

«...развивать ратомику как новую ступень в темпе прогресса... Главное: двигаться вперед, а не назад...»

— Туманно,— говорит Лада.— Что значит «двигаться вперед, а не назад»?..

Гхор разъясняет:

— У нас четырехчасовой рабочий день. Зарек повернет к семичасовому — в прошлое. Строителей будет больше, меньше воспитателей, меньше мастеров моды и красоты, меньше заботы о человеке. И вообще: продление жизни — это замедление темпа развития. Остаются те же люди, повторяются и повторяются. Те же вкусы, те же интересы. Растет косность, тормозится научный поиск.

— Поняла. Вот и изложи все это.

Гхор улыбается:

— Святая наивность! Нельзя же сказать, что я противник всеобщего оживления.

— Как же это? В кредо нельзя сказать о своих взглядах?

— Милая Лада, есть правда, слишком жестокая для средних ушей. Средние люди не понимают отдаленной пользы. «Хочется» — для них главный довод. Их не заботит прогресс.

— А прогресс для чего?

— Лада, не притворяйся непонятливой! Ты же умница. Лучше помоги мне найти формулировку.

Лада умница, и до нее постепенно, сквозь броню любви, доходит неприятная истина: Гхору трудно найти фор-

мулировку, потому что он не может сказать всей правды. А правда такова: Гхор считает нужным вести людей не туда, куда они стремятся.

Лада терзается, Лада плачет, Лада корит себя: «Может быть, я не способна понять мужа, не доросла до него». И в день выборов, упрекая себя, сомневаясь и мучаясь, голосует... против мужа. «Не знаю, как для человечества, а для Гхора лучше провалиться», — оправдывает она себя.

Решение выполнено, но терзания не оставляют Ладу. Вернувшись с избирательного участка, она садится рядом с мужем, голову кладет на плечо... и чувствует себя предательницей. Ей хочется быть неправой. По совести подала она свой голос против Гхора, но пусть окажется, что она ошиблась, пусть человечество поправит ее.

Тесно прижавшись, сидят они вдвоем у экрана, слушают сводки с поля битвы мнений. Медленно проворачивается земной шар; громадный глобус, висящий в черном ничто, подставляет солнцу одну страну за другой. Два поворота, сорок восемь часов уходит на сбор мнений. Когда тень сползает с Берингова пролива, первый житель Чукотки нажимает клавишу счетной машины. Когда тень сползает с Берингова пролива вторично, начинает высказываться Аляска, а из Восточного полушария уже поступают сводки.

Первая: на Фиджи большинство за Гхора.

Счастливый почин.

Ночь шествует по планете, движется с востока на запад, погружает в сон одну страну за другой. В ночи трудятся машины, накапливая электронные сигналы, приходят одно за другим сообщения. Камчатка и Якутия предпочли Зарека, Япония — Гхора, Индонезия — Зарека, многолюдный Китай — на три четверти за Гхора. Теперь Зарек отстал, он далеко позади. Лада не знает, радоваться ей или горевать.

На очереди Индия — родина Гхора. На земляков он возлагает большие надежды, думает закрепить победу. Но Индия голосует вразнобой и даже с преимуществом Зарека, а Сибирь выравнивает шансы. Голосование как бы начинается сначала. Решают Россия, Африка, Европа.

Лада достает из ратоприемника ужин, ставит перед Гхором, уговаривает поесть. Он отворачивается, и Лада

не притрагивается тоже. Стоит за спинкой кресла, обнимает мужа, подбадривает, а сама себя терзает: «Неужели мой голос решающий? Вот ужас-то! Лучше бы воздержалась!»

Небо за окном синеет, лиловеет, чернеет. Днем сели они к телевизору, вот уже и глубокая ночь, стынет ужин на столе, а диктор все говорит, говорит, называет миллиарды, миллионы голосов, зачем-то еще тысячи.

В общем, Ближний Восток против Гхора. И Восточная Африка. И Урал. И Кавказ. И Украина. И Москва.

Поворачивается планета навстречу завтрашнему дню. Еще через час заканчивается подсчет в Восточной Европе и Конго. Еще через час — в Западной Европе, Алжире, Гвинее, Сахарской федерации. Соотношение такое же, как в Москве.

В пять утра Гхор, молчаливый и горестный, выключает телевизор. Гаснет экран, тускнеет диктор, замолкший с разинутым ртом. Обе Америки, Луна и планеты уже не изменят результата. Оказалось, что средние люди — не дети. Они подумали, разобрались, приняли решение. Вариант Гхора их не устраивает, и потому не устраивает Гхор в роли главы Совета. Покой и прогресс приятны всем, но большинство не хочет платить короткой жизнью за короткий рабочий день.

С мрачно сжатыми губами Гхор молча ложится на диван, голову кладет на руки, неподвижным взором смотрит на потолок.

Рядом присаживается жена, победившая и нисколько не торжествующая, переполненная жалостью и не находящая слов утешения.

Чем утешать? Не клеветать же на людей: «Милый, толпа глупа, она предпочитает посредственность. Зарек сродни ей, а ты выше на две головы, вот тебя и не поняли».

Нет, потакать не надо, и не будет Лада фальшивить. Пусть Гхор сам откажется от заблуждения, выберется своим умом из тупика.

Но и торопить события нельзя. Рано сейчас критиковать. Сегодня Гхор устал, измучен, он только обозлится на поучения.

Молча и робко гладит Лада плечо поверженного титана. Он отдергивает плечо. Ласка не облегчает боль.

«Но все-таки так лучше,— думает Лада.— Лучше по-

ражение сегодня и исцеление завтра, чем победа по недоразумению, многолетняя напрасная борьба и горькая слава гения, не понявшего ход истории. Лучше перестрадать сегодня».

Трудно быть женой великого человека...

*

И финал.

Торжество по случаю старта межзвездной экспедиции. Путь неблизкий: 114 световых лет до некоей звезды, откуда пришли сигналы разума. Но космонавты избавлены от столетнего полета, даже со всеми сокращениями по теории относительности. Космонавты полетят в ратозаписи. Запишутся сегодня, а через сто с лишним лет выйдут из ратоматора в подлетающей к цели ракете.

Среди посланцев Земли Ким.

Проводы в зале ратокомбината. Ким, Том и Нина, Сева, Лада с Елкой за столиком. Устаревший, в сущности, обычай — всякое событие отмечать обильной едой. Наверное, он сохранился от первобытных времен, когда обильная еда сама была событием, нечастым удовольствием. Но межзвездникам не до еды. И напрасно взывают кибы-подносы, катающиеся между столиками: «Уезжающие, высказывайте желания. Уезжающие, подаем любое блюдо».

Кто-то требует вина из музейных погребов, кто-то — свежие плоды манго из Калимантана. Но жевать и пить не хочется в последние земные минуты. Индонезиец, поковыряв фрукты, спрашивает, можно ли показать мангровые рощи на экране. Предложение приходится по вкусу. И остальные решают взглянуть в последний раз на родные края. Планета показывает многообразные свои лица: кому аргентинскую пампу, кому — мрачную тайгу, кому — дымящуюся Этну, кому — Лондон с моросящим дождичком. А Ким заказывает самое близкое — кирпичные зубцы Кремля.

По две минуты на каждый заказ. И то час с лишним. Но улетающие чувствуют, что не насмотрелись.

И вдруг:

— Внимание!

Все оборачиваются к столику, за которым Зарек шепчется с начальником экспедиции. Но курчавый профессор

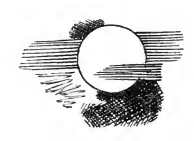
не торопится кончить беседу. А вместо него на трибуну поднимается некто широкогрудый, осанистый и моложавый, с задорной русой бородкой и лукавыми глазами. Кто такой? Зачем? Лицо какое-то знакомое.

И те, кто посообразительнее, встают с криками:

— Ура! Ура молодому Ксану!

Вышло по Ксану: жизнь выдается всем, стало быть, и ему, первому из записанных.

Записанное не пропадает.





Глотайте хирурга!

Своего хирурга глотайте быстро и решительно; чтобы не застрял в горле, запейте его водой...

Свод Космических Знаний, т. XVII

Я отшатнулся.

Серебристый блестящий змей проворно скользнул в угол и, позванивая чешуей, свернулся в кольца. Кольцо на кольцо, кольцо на кольцо; мгновенно на уровне моего лица оказалась небольшая головка с матовыми, совершенно бессмысленными глазами. Глаза были пустые, как

экраны испорченного телевизора, а чешуйки, отражая свет, поблескивали словно тысячи живых глазок.

— Знакомьтесь,— сказал Граве,— это и есть прикрепленное к вам ису 124/Б/569.

Ису — искусственное существо. В Звездном Шаре[1], где полным-полно машин, самых причудливых, даже человекообразных, а живые собеседники могут быть похожи и на ленту, и на стол, и на любую машину, принято, представляясь, объяснять происхождение: кто ты есть — искусственное существо — ису или естественное — есу. Граве — мой куратор — есу, среди его помощников — три есу и три ису. А Гилик — карманный гид-переводчик, конечно, ису. И вот еще одно ису — 124/Б/569.

— Твой лейб-медик, лейб-целитель, лейб-ангел-хранитель,— пояснил Гилик, высунувшись из кармана.— От него зависит твое будущее благоденствие. Постарайся завоевать расположение этого ису, Человек. Как это проявляют дружелюбие у вас на Земле?

Я неуверенно протянул руку. Как-то неприятно было прикасаться к змею, хотя бы и с высшим медицинским образованием. К тому же неясно было, что́ именно пожимать. Рук у змея я не видел, были только какие-то лопаточки, прижатые к телу.

— Но вы, кажется, брезгаете, господин Человек...— Гилик тут же заметил мою нерешительность.— Вам не понравился облик личного ангела. Вы рисовали его себе в виде красавицы землячки с нежными губками, розовыми щечками и наивными глазками. Но вы же сами объясняли, что у ваших земляков форма тела унаследована от обезьян — древесных прыгунов. А этому хирургу негде будет прыгать, ему придется, как червяку, вползать во все щелочки, вот он и выглядит как червяк. Внешность ису определяется назначением — это твердое правило Чгедегды. А на Чгедегде делают самых лучших ису. Я сам родом оттуда.

— На что жалуетесь?— гнусаво протянуло змееподобное.

— Я жалуюсь на старость,— сказал я.— Я старею. Что такое старение? Это спуск с вершины. Моя вершина позади, я с каждым годом становлюсь ниже... по качеству.

---

[1] О том, как я оказался в шаровом скоплении М 13, я еще напишу особую книгу.

Мои мускулы слабеют, реакции замедляются, ум становится неповоротливее, я запоминаю меньше, чем забываю. Я ни в чем себя не превосхожу, мечтаю удержаться на вчерашнем уровне, сам себя утрачиваю по кусочкам и не приобретаю ничего, кроме болезней — одной, другой, третьей. Мое завтра неизбежно хуже, чем вчера,— вот что самое грустное.

Гилик вмешался и тут.

— Ты должен гордиться, ису,— сказал он змею.— Тебе поручают необыкновенно ответственное дело. Этот человек с планеты Земля — существо особенное, космического значения. Он единственный экземпляр разумников из второй спиральной ветви. Только на нем наши ученые могут изучать биологию того рукава Галактики. И еще важнее он для своей планеты. Он один прибыл сюда для обмена информацией, избран из трех миллиардов жителей, потому что он лучший из мастеров образного описания. Каждое выражение его — находка, каждая строка — открытие, каждая страница — откровение.

— Что ты плетешь?— воскликнул я, хватая болтуна за хвост.— Прекрати это гнусное славословие. Не смей издеваться!

Но он выскользнул, ловко вскочил мне на плечо, зашипел в ухо:

— Тсс, молчи, так надо. Ему не следует знать твои подлинные параметры. Лейб-ангелов полагается программировать на обожание. Ведь он всю жизнь тебе посвятит. Пусть воображает, что обслуживает исключительную личность.

— Мне необходимо знать строение вашего тела,— прогудел мой змееподобный ангел.

Не без труда вспоминая далекие школьные уроки, я начал:

— Внутри у меня твердый каркас из фосфорнокислого кальция. Называется скелет. Он определяет форму тела, все остальное крепится к нему. Всего в скелете двести восемнадцать костей. Кости соединяются между собой жесткими швами или шарнирно, с помощью гибких хрящей...

Несколько странный способ знакомиться — читать лекцию по собственной анатомии. К тому же, как выяснилось вскоре, я не так уж много знал о своих внутренностях. Часа через два лекция иссякла, и я вынужден был

предоставить в распоряжение моих целителей капли крови, кусочки кожи и всего себя для просвечивания.

Начиная с этого дня, добрый месяц по земному счету, мы только и занимались моим организмом. Не знаю, как это программируется обожание на Чгедегде, но змей вел себя так, как будто действительно преисполнился обожания. Он не отползал от меня с утра и до вечера, терпеливо, со вниманием и жадным интересом расспрашивал, как я сплю, что ем, что мне нравится и что не нравится, что меня интересует, что претит, чего не хватает. Это было несколько надоедливо, но не могу сказать, что неприятно. В сущности, это же самый животрепещущий разговор — о самом себе.

Со временем мой лейб-ангел далеко обогнал меня в «я-ведении» — в изучении моего Я. Правда, сам я попутно ел, спал и занимался делом (слова подбирал для описания чужих миров), а он, не ведая сна и отдыха, неустанно и сосредоточенно трудился над познанием моей личности, запоминал все слова, которые я обронил случайно, заучивал все анализы наизусть. И вот настал день, когда мне был задан главный вопрос:

— А почему вы заболели старостью, как вы полагаете?

— Закон природы! — сказал я.— У нас стареют все. По словам поэта: «В этой жизни все проходит, в том числе и жизнь сама». Естественное накопление ошибок. Вселенский рост энтропии.

К моему удивлению и удовольствию, Граве не согласился.

— Мы в Звездном Шаре не считаем рост энтропии таким уж повсеместно обязательным. Когда возникают звезды, планеты и горы, местная энтропия уменьшается. Жизнь также преодоление энтропии. Вопрос в том, почему преодоление сменяется капитуляцией. Конкретная причина должна быть. Разная у разных звездных рас. Какая именно у твоих земляков? — вот что нам важно выяснить.

Я сказал, что наши земные ученые называют двести причин старения. Но мне лично представляется самой правдоподобной двести первая — вытекающая из дарвинизма. Жизнь на нашей планете развивалась в жестокой борьбе за существование, и тут роль играл высокий темп развития, а для высокого темпа полезна была частая смена

поколений. И природа спешила убрать родителей, выключала их из жизни, чтобы поскорее освободить сцену для детей.

— И известен орган выключения жизни?

— Нет, я только предполагаю, что он имеется...

— Но какие-нибудь переключатели есть у тебя в организме? Вот, например, ты рос в детстве, а потом прекратил расти.

— Вот именно этот выключатель известен,— сказал я.— Это гипофиз — железа, управляющая другими железами. Когда она больна, получаются коротконогие карлики или тощие гиганты. А при ее атрофии бывает что-то вроде ранней дряхлости.

Лейб-змей извлек из своей памяти сведения:

— Гипофиз — железа под нижними отделами мозга. Размер около полутора сантиметров, связана густой нервной сетью с соседним бугром мозга.

— Он называется гипоталамус,— сказал я.— Припоминаю. Это как будто бы центр, управляющий температурой, кислотностью и еще эмоциями — горем и радостью.

— А горе и радость у вас не влияют на старость?

— Горе старит человека — так говорят.

— Пожалуй, здесь и надо искать,— решил Граве.— Запоминай, ису-врач. Твоя цель — разобраться в узле гипофиз-гипоталамус. Записал в памяти? Теперь давай наметим маршрут.

Это было уже в самые последние дни обучения. Затем мой лейб-ангел куда-то уехал, сдал там экзамен по «я-ведению», а когда вернулся, Граве сказал: «Завтра приступим к операции».

Завтра операция! Помню наш прощальный ужин, если можно назвать ужином одновременное питание человека и машины. Я сидел за столом, ковыряя синтетические блюда, не очень похожие на земные кушанья, и запивал все это напитком, совсем похожим на водку (поскольку этиловый спирт на всех планетах одинаков). А змей, навернув кольца на хвост, заряжал свои блоки один за другим. Металлическое лицо его не выражало ничего, но в голосе — я уже научился различать оттенки — чувствовалось удовлетворение.

— Приятно заряжаться?— спросил я.

— Да, у нас положительная реакция на питание. Все ису запрограммированы так. А вы, есу, иначе?

— Пожалуй, и мы так запрограммированы. Грешен, люблю поесть. И у меня положительная реакция на бутерброд с икрой.

— Экстремально положительная?— Он изучал меня до последней минуты.

— Нет, псу, не наивысшая. Для нас, людей, есть вещи поважнее еды. Мы запрограммированы так, что дорога к цели для нас приятнее цели. Есть приятно, но добывать пищу интереснее — ловить, находить, делать своими руками. Пожалуй, самое приятное побеждать — зверя, противника, самого себя, даль, высоту, неведомое, неподатливое. И чем труднее, тем радостнее победа. Так в работе, так в борьбе и так же в любви.

— А что такое любовь? Объясни, Человек.

Немножко пьяноват я был, должно быть, иначе не пробовал бы рассказать машине про любовь.

— Представь себе, псу, радостное волнение, высочайшее напряжение души, зарядку на полную мощность. Чувствуешь в себе силы сказочные, таланты небывалые. Не идешь, а паришь, горы тебе по колено, розовые облака по плечи. Все краски звучнее, все ароматы полнее, все звуки мелодичнее. В ушах хоралы, чуть-чуть кружится голова...

— Типичная картина психического расстройства. Несоответствие между внешним миром и его отражением. Фотография с передержкой.— Это Гилик высунулся из кармана, чтобы вставить свое слово.

— Продолжай, Человек,— сказал змей.

— Я могу продолжать сто лет, но ничего не объясню вам, металлическим. Слепому нельзя растолковать, что такое радуга. У нас громадные здания заполнены книгами о любви, и все они ничего не объясняют, только вызывают резонанс. Вот и я, читая о любви, вспоминаю свое: ранний летний рассвет, белесую полоску тумана — невесомое одеяло луга, и невнятные тени кустов, и бледное лицо девушки, такое доверчивое, такое успокоенное. И в груди столько острой нежности, столько бережливой жалости. Дыханпе придерживаешь, чтобы ее не расплескать. Это у меня было, в моей молодости. А тебе вспомнить нечего. Для тебя любовь только слово. Сочетание звуков: «бо-бо-бовь», «блям-блям».

— Это ради любви ты хочешь стать молодым, Человек?

До чего же приятно копаться в самом себе! И еще приятнее, что кого-то интересует это копание.

— Нет, ису, не для любви. Точнее, не только для любви. Главное — то, о чем я говорил в первый день: главное — перспектива. Хочется, чтобы вершина была впереди, а не позади, чтобы мое будущее было длиннее прошлого. В юности жизнь кажется бесконечной. Мечтаешь обо всем, берешься за все, воображаешь, что успеешь все. Я хотел быть ученым, токарем, летчиком, инженером, астрономом, атомщиком, кем угодно — смотри каталог профессий. Стал выбирать, узнал, что выбор — это отказ, отказ от всего во имя одного. Решил: буду писателем, опишу хотя бы ученых, токарей, летчиков и так далее. И опять узнал, что выбор темы — это отказ от всех остальных. Остановился на науке, захотел писать «Книгу обо всем» — о галактиках, микробах, электронах, слонах, амебах, предках, потомках. Но и этого не успею. Теперь собираю материал для одной подтемы — для книги о вашем шаровом скоплении. Увы, и тут миллион солнц, десять миллионов планет. А голова уже трезвая и понимает простую арифметику: на знакомство с планетой, самое поверхностное, не меньше месяца. Сколько месяцев в моей жизни? Сто? Полтораста?

— Значит, время — главное для тебя в молодости?

— Время и силы, дорогой ису. Пойми всю несправедливость старости: у меня времени меньше, а КПД ниже. На каждый час полновесной работы я должен копить силы два часа. Прибыв на новую планету, с чего начинаю? Ищу, где бы прилечь. Сил должен набраться для новых впечатлений. Набрал, записал, что делаю. Ищу, где бы прилечь. Силы надо накопить для завтрашних впечатлений. В старости жизнь сводится к самосбережению — вот что наисквернейшее. А это так неинтересно и бесперспективно — заботиться о себе.

Тут, выдернув все штепселя из розеток, мой змей вытянулся, как на параде.

— Я рад, что мне поручено чинить тебя, Человек. Твои мечты заслуживают одобрения.

Гилик опять высунулся из кармана:

— Не удивительно, ису. Ведь ты запрограммирован на одобрение. У тебя огромнейший блок одобрения, уважения, почтения, преклонения, поклонения и умиления. Без того блока ты был бы вдвое короче и вдвое логичнее.

— Возможно,— ответил змей с достоинством.— Тебе этого не понять. В таких тщедушных машинах нет места для высших эмоций.

— Завтра ты будешь мельче меня,— отпарировал бесенок и скрылся в кармане, довольный, что последнее слово осталось за ним.

— Можешь начинать свою «Книгу обо всем»,— продолжал змей, все так же торжественно вытянувшись.— Обещаю тебе: в порошок разотрусь, но молодость у тебя будет.

А назавтра и началась операция — то самое измельчение, на которое намекал Гилик. В шаровом эту операцию называют «шшаркхр». За неудобопроизносимостью такого слова я предлагаю термин «миллитация» в смысле деление на тысячу, взятие одной тысячной.

Принцип миллитации таков: во время атомной копировки предмета воспроизводится не каждый атом, а только один из тысячи. Для этого образец разбирают, из тысячи атомов 999 сбрасывают, один оставляют. Каким способом атомы разбирают, как сбрасывают, как оставляют и соединяют, откуда берут энергию и куда направляют излишки, ничего я вам объяснить не смогу, потому что для этого надо изложить основы атомно-физической техники шарового — три объемистых тома. Мне пробовали пересказать популярно, но я не все понял и боюсь напутать. Но как это выглядит внешне, расскажу, поскольку сам был свидетелем.

Мы пришли, а змей приполз в лабораторию, где стоял емкий посеребренный шкаф, весь опутанный проводами и шлангами и с небольшим ящичком на боку, как бы будка с милицейским телефоном снаружи. И змей заполз в большой шкаф, встал на хвост, свернул кольца и застыл в своей любимой позе.

— Надеемся на тебя, ису,— сказал Граве.

Змей повернул ко мне головку со своими матовыми глазами, сказал:

— Человек, будь спокоен. Начинай «Книгу обо всем».

Граве захлопнул дверцы шкафа, что-то загудело, заныло, зашипело и засвистело внутри, со звоном открылась дверца ящичка-почки, и змей оказался там, но не вчерашний, не утренний, а совсем маленький, изящная металлическая статуэтка. И, глянув на меня глазами-бусинками, она вдруг пискнула тонюсеньким голоском:

— Селовек, будь спокоен. Насинай обо всем.

Граве спросил:

— Ису-врач, помнишь ли ты маршрут? Ису-врач, помнишь ли ты задачу?

— Задаса — излечить от старости Селовека. Для этого я обследую...

Такие вопросы задавались, чтобы проверить, не утерялись ли какие-нибудь качества при миллитации, не ускользнуло ли что-нибудь из памяти вместе с выброшенными 999 атомами? Но копия отвечала безукоризненно. Как мне объяснили, обычно машины выдерживают безболезненно уменьшение в тысячи, миллионы и миллиарды раз, поскольку их кристаллы и транзисторы состоят из однородных атомов. Другое дело — мы, живые существа, естественные — есу. Наши белки и нуклеины невероятно сложны и своеобразны, нередко один атом играет в них важную роль, например атом железа в крови. И эти важные атомы могут потеряться при первой же миллитации. Так что метод «пшаркхр» для нас не годится, для живых существ применяют совсем другой, недавно открытый способ «эххордх». Но о нем в другом рассказе. Не будем отвлекаться в сторону.

Задав еще несколько вопросов, члены комиссии подставили змею белую тарелку. Он проворно скользнул на нее, улегся блестящим браслетом и пискнул в последний раз: «Надейся, Селовек». Тарелку внесли в большой шкаф, откуда давно уже были отсосаны 99,9% атомов, вновь закрыли посеребренную дверь, опять загудело, запыло, засвистело, звякнув, открылась дверка малого ящичка; на полочке там стояло кукольное блюдечко с металлическим колечком. И колечко то подняло булавочную головку, что-то просвистело. Приблизив ухо, я уловил: «...дейся».

Ассистенты Граве, три есу и три ису, поспешно приставили к ушам усилители.

— Ису-врач, помнишь ли ты маршрут? Ису-врач, помнишь ли ты задачу?

И, к удивлению, металлическое колечко свистело что-то разумное и членораздельное.

Белое блюдечко ставят на золотистую тарелку. Гудит, шипит, звенит...

После третьей миллитации я с трудом разглядел волосок на белом кружочке, подобном лепестку жасмина. Го-

лос уже не был слышен, перешел в ультразвуковой диапазон. Граве не спрашивал, экзамен вели специальные ису со слоноподобными ультразвуковыми ушами. А волосок на лепестке отвечал, как разумное существо,— о гипоталамусе и гипофизе.

Четвертая миллитация — последняя. Мой доктор уже не виден. Я знаю, что он находится на той белой точке, что лежит на золотой монетке, что лежит на голубом блюдце, поставленном на синюю тарелку. Знаю, но, как ни таращу глаза, ничего не могу разглядеть. Теперь и ушастые ису ничего не слышат. Разговор ведется по радио. Включена и телевизионная передача. Иконоскопами в ней служат глаза змея, его оком мы смотрим на микромир, как бы сквозь микроскоп с увеличением в 10 тысяч раз. И в мире этом всё не по-нашему. Там дуют ураганные ветры, которые гонят по воздуху целые глыбы и скалы. Некоторые из них ложатся рядом со змеем, одна катится по его телу. Но он выбирается из-под скалы не поцарапавшись. В мире малых величин иные соотношения между размерами, тяжестью и прочностью. Для амебы песчинка — целый утес, весит этот утес как валун, а давит как песчинка.

Глыбы, которым мы удивлялись, были обыкновенной пылью. Угловатые, черно-серые, с плоскими гранями — пылинки металла. Желто-серые со стеклянным блеском — песчинки, бурые плоские — чешуйки глины, лохматые коричневые и красные канаты — шерстинки моей рубашки. Идеально ровные бурые шары — капельки масла, шары прозрачные — может быть, капли слюны. Да, вероятно, слюна, потому что в этих шарах плавали студенистые, как медузы, палочки, бусы и змейки — бактерии, конечно. Рядом с кольцами змея они выглядели как слизняки или гусеницы.

Пока я рассматривал все это с любопытством, шел экзамен, самый продолжительный из всех. Комиссия настойчиво искала ошибки миллитации.

— Превосходно, энтропия приближается к нулю,— сказал наконец Граве.— Действуй, ису.

И опять я услышал:

— Человек, надейся на меня.

— Счастливого пути, друг мой искусственный.

— Внимание, подаем шприц.

Тонкая игла коснулась цветных блюдечек. Как я ни

старался, никакого движения не мог уловить. А на экране отлично видно было, как к белому валику приблизилось нечто зазубренное и мозаичное, состоящее из плиток разного оттенка, от грязно-белого до угольно-черного. И, когда срезанный край этого зазубренного подошел вплотную, мы увидели мрачную трубу, наподобие тоннеля метро. Так выглядела для микропутешественника игла обыкновенного шприца. Скрежеща лопатками, скользящими на гладких микрокристаллах, змей решительно двинулся в глубь тоннеля. Мигали вспышки, озаряя экран и слепя нас. То ли змей не мог наладить свои прожекторы, то ли выжигал что-то. Последнее предположение оказалось правильным.

— Не слишком хорошо прокипятили вы шприц,— послышался ворчливый голос.— Здесь полно нечисти.

— Ису, продвигайся вперед. Будет еще обработка ядом.

— Подождите, я наведу порядок.

— Ису, нельзя ждать до бесконечности. Все равно ток воздуха заносит инфекцию. Человек справится с сотней-другой микробов.

— А я не двинусь дальше, пока не наведу порядок. Человеческий организм требует стерильной чистоты.

Вспомнилось, что эту фразу я слышал на Земле в своем доме. От кого? От тети Аси — семнадцатой по счету и самой старательной из семнадцати нянек моего сына. Тетя Ася была помешана на чистоте, вылизывала дом до последней пылинки. Во имя чистоты трижды в день выгоняла меня из кабинета и раза три в неделю из дома. В комнате все блестело, на столе блестело, но письменного стола не было у меня. Я ютился в читальнях со своими черновиками.

— Ты, как тетя Ася, все сводишь к уборке. А дело когда?

— Тетась, кончай, — подхватил Гилик.

Впоследствии это звукосочетание стало именем змея — Тетеас. Он не обижался, даже гордился, что приобрел, помимо номера, собственное имя, как живой человек. И звучало солидно — Тетеас. Нечто латинско-медицинское, как тетанус, таламус, тонус.

Наконец он угомонился — Тетеас, номер 124/Б/569, сказал, что готов к инъекции. Начались обычные лабораторные манипуляции: шприц обожгли ультрафиолетом,

мне обожгли, а после этого смазали синюю жилку на сгибе левого локтя, прицелились иглой...

Укол.

— Я в вене. Все нормально,— доложил змей деловито.

— Ну вот твоя внутренняя сущность, Человек. Изучай себя углубленно,— добавил Гилик.

Честно говоря, я побаивался этого момента. К сожалению, я принадлежу к тем людям, которые не выносят крови. Меня мутит даже в кино, если на экране идет медицинский киножурнал.

Но я увидел нечто настолько несходное ни с живым мясом, ни с кровью, что никак я не мог отнести происходящее к самому себе. И в тот момент и позднее я воспринимал кадры и впечатления Тетеаса как историю приключений в некоем чуждом мире, ко мне не имеющим никакого отношения. Никак не мог почувствовать, что этот странный мир и есть я.

Судите сами: Тетеас плыл в вязком, пронизанном какими-то нитями киселе, наполненном бесчисленными лепешками, слегка вмятыми в середине, темно-красными в свете прожекторов. Толкаясь, переворачиваясь, обгоняя друг друга, все эти лепешки стремительно неслись по трубе, мозаичные стены которой появлялись на мгновение, когда сам змей натыкался на них. Изредка среди лепешек попадались полупрозрачные, неопределенной формы амебоподобные куски студня, не более одного куска на тысячу лепешек. И еще время от времени мелькали тупоносые чурочки, отдельные бусы и цепочки бус. Так выглядела моя кровь в глазах-микроскопах Тетеаса. Это красные кровяные шарики были лепешками — неутомимые почтальоны крови, доставщики кислорода, уборщики углекислоты. Амеб напоминали лейкоциты — строгая охрана больших и малых дорог организма, гроза непрошеных гостей. А чурки, бусы и цепочки и были непрошеными гостями — бактериями, пробравшимися в кровь.

Я пишу обо всем этом добрых полчаса, вы читаете около минуты, в действительности прошло несколько секунд. Только-только отзвучал голос Тетеаса: «Я в вене, все нормально», одновременно на экране появился суп с красными лепешками, и тут же Тетеас доложил: «Прошел сердце, нахожусь в легочной артерии». Еще две-три секунды — тюбинги кровепровода приблизились вплотную, открылись трубы поуже, и змей нырнул в одну из

них. От этой трубы ответвлялись совсем узкие, как водопроводный стояк. Красные шарики, напирая на впереди плывущих, с трудом втискивали их в эти стояки. Самая форма эритроцитов менялась, тарелки превращались в валики. И Тетеас сунулся за одной из тарелок, но труба оказалась узкой для него, и, прорвав стенки, он ввалился в пустой просторный мешок. Мне показалось, будто бы что-то кольнуло под левой лопаткой.

— Черт возьми, доктор, вы порвали легкое своему пациенту, как он будет дышать теперь?— воскликнул Гилик.

Граве был смущен немножко.

— Конечно, не легкое — попортили стенку одной альвеолы. Капилляр был недостаточно эластичен.

— Ну да, капилляр виноват.

— Вы уж потерпите,— продолжал Граве, обращаясь ко мне.— Некоторые повреждения неизбежны. Мы же советовались с вами о маршруте, вы не предложили ничего лучшего.

Да, мы не один день обсуждали маршрут для проникновения в мой мозг. Прямой и ближайший отвергли сразу,— я и сам не хотел, чтобы мне сверлили череп, оставляли в нем дырочку хотя бы и тоньше волоса. Ввести пилюли в нос? Но тут Тетеас попадет в передние доли мозга и будет ползти сквозь первные узлы к гипофизу,— кто его знает, что он повредит по пути? Я сам предложил привычную инъекцию в вену с маршрутом самым длинным, но и самым безболезненным: по готовым дорогам организма — венам и артериям. Недаром и на Земле наилучшие дороги называют транспортными артериями.

Итак, намечен был такой путь: вена левой руки — сердце (правая половина) — легочная артерия — легкое — легочная вена — сердце (левая половина) — аорта — сонная артерия — мозг. И вот через минуту Тетеас в легком — и тут же первая травма.

Мое легкое, точнее, один из многочисленных пузырьков его — альвеола, — выглядело как мягкий мешок с выростами — карманами. Мешок этот то расширялся, то спадал, поскольку, глядя на экран, я хотя и волновался, но все же дышал попутно, наполняя легкие воздухом. При этом в поле зрения время от времени влетали какие-то обрывки канатов и даже камешки. Потолкавшись в воздухе, они оседали на дне карма́нов, прилипая к куче мусора, уже накопившегося там за долгие годы дыхания.

Оказывается, легкие не умеют проветриваться, так и собирают на стенках всю случайно залетевшую мелкую пыль. Хорошо еще, что я не курильщик, а то пришлось бы мне ужаснуться, увидев плотный слой желто-коричневой копоти.

— Ты в порядке, псу? Тогда продолжай движение,— напомнил Граве.

Опять у меня кольнуло под лопаткой, и, разрывая капилляр, Тетеас просунулся в ближайший сосудик — на экране он выглядел широкой трубой. Снова замелькали впереди, сбоку, сзади лепешки эритроцитов, все ярко-алые, с полным грузом кислорода, и через три-четыре секунды мы услышали: «Все нормально. Я в сердце. В левом желудочке».

На этот раз змей не проскочил сердце с ходу. «Осмотрюсь немножко»,— заявил он, выгребая из общего потока.

Я увидел свое сердце изнутри. Тоже не похоже оно было на сердце.

Мутно-белая стенка, выложенная многоугольными плитками, словно ванная комната, но не гладкими плитками, а шершавыми, волокнистыми. Впереди, там, где был клапан, плитки эти сминались складками, вздымались буграми, целыми горами, и бугры эти ходили ходуном, когда клапан приоткрывался, выпуская кровь в аорту. А лепешечки так и плясали вокруг, образуя завихрения, кровевороты, и вдруг, устремляясь вперед, высыпались наружу в аорту, словно зерно из зева комбайна.

Тетеас наблюдал эту картину несколько минут, потом предложил:

— Давайте я срежу эти бугры. Они на клапане лишние. Жесткие, торчат, мешают потоку крови, совершенно безграмотны с точки зрения гидравлики.

Граве сказал:

— Псу, не отвлекайся. Выполняй свое прямое задание. Ты застрянешь тут на неделю.

— А мне трудов не жалко. Меня послали навести порядок, я и наведу порядок. Неисправный шлюз на главном кровоспуске! Это же ужасно!

Пока что в ужас пришел я. Впервые почувствовал, какую неосторожность я совершил, впустив в свое тело эту металлическую тетю Асю. Вспомнил, как, бывало, вернувшись после генеральной уборки в свой кабинет, по не-

делям разыскивал свои же рукописи в дальних углах шкафа, изучая идеальный «новый порядок», установленный ретивой ревнительницей чистоты. Но тогда я мог хотя бы убегать из дому, спасаться в городской читальне. А куда убежишь из своего тела?

Граве проявил твердость:

— Ису, выполняй прямое задание. Тебя послали сделать человека молодым. Следуй по назначению.

— Но пойми, есу Граве, этот обросший бляхами клапан не сможет снабжать молодое тело кровью — не справится.

— А в старом теле бляхи вырастут снова, и вся твоя работа пойдет насмарку. Ису, начинай с первопричины, не разменивайся на борьбу с последствиями.

После некоторого размышления Тетеас сдался. Логика победила в нем старательность.

— Хорошо, пусть будет по-вашему. Но я еще вернусь сюда.

У меня отлегло от сердца, когда он покинул мое сердце. Я начал думать даже, что идея Тетеаса не так плоха. В самом деле, сколько мы тратим героических усилий, стараясь великанскими нашими руками починить микроскопические прорехи тканей. Сколько мы режем и рвем напрасно только для того, чтобы добраться ножом и пальцами до больных внутренностей. Ведь для того чтобы исправить порок сердца, вспарывают кожу и мускулы, перекусывают ребра, сердце прорезают насквозь. Нам нужно, собственно, расширить дверь в комнате, а мы ломаем наружные стены, крушим перегородки, водопровод, телефонную связь. Насколько удобней было бы присылать хирурга внутрь, даже не обязательно такого миниатюрного, как Тетеас. Хирург по сердечным порокам мог бы быть раз в десять больше, хирург по желудочным болезням или по раковым опухолям даже в сто раз больше. Это уже приближается к возможностям земной техники. Обязательно нужно будет захватить чертежи Тетеаса, когда я вернусь на Землю.

Мой лейб-врач между тем пробирался к выходу из сердца, преодолевая бугорки и бляшки, словно скалы, переплывая застойные заводи карманов, где сонно колыхались попавшие в тупик эритроциты. Но вот и основное русло. Течение все быстрее, стремительнее. Тетеас кидается в густой поток лепешек. Кричит: «Выскочил! Аорта!»

Через секунду: «Дуга аорты!» Мелькает темное жерло. «Это, что ли, сонная артерия?» И мчится куда-то вперед и вперед во тьму.

Так совершались его путешествия по телу. Бросок! Вынесло куда-то. Осмотрелся. Кидается в русло опять. Вынесло, осмотрелся. И снова вниз головой в кисель с красными лепешками.

Ну, куда занесло на этот раз?

Темно что-то. Экран померк, и голос не слышен.

— Тетеас, где ты?

Молчание.

— Ису-врач, я Граве, есу Граве. Тебя не слышим, не слышим. Перехожу на прием.

Молчание.

— Затерян в дебрях тела, в джунглях клеток и капилляров,— мрачно сказал Гилик.— Ну где он? Он же в тебе, Человек. Не знаешь? Тоже мне венец творения!

Весь вечер и весь день после этого я слышал только одно: «Ису, ису-врач, где ты? Тебя не слышим, тебя не видим. Где ты, где ты? Перехожу на прием».

И ночью, когда полагается спать человеку, Граве, или Гилик, или кто-либо из незасыпающих ису, сидел возле меня и, прикладывая шарик антенны к моей голове, шее, затылку, шептал монотонно: «Ису, ису, перехожу на прием». Шептали, чтобы не помешать моему сну. Все равно я не спал. Как я мог заснуть, когда рушились лучшие мои надежды?

Ведь я уже настроился на молодость. Мысленно распорядился будущими десятилетиями, отобранными у старости, и часами, отобранными у отдыха. Составил расписание — страсть как люблю составлять расписания! Обдумал предисловие для «Книги обо всем», написал первую страничку.

И вот все идет прахом. Ничего не добившись, еще не разобравшись, даже не дойдя до места назначения, мой целитель теряется, терпит аварию. Хоть бы бляшку с сердечного клапана сорвал, и то был бы толк.

Плакала моя молодость!

И, наконец, просто жалко было (не упрекайте меня за эгоизм; я эгоист, но не стопроцентный), жалко было моего стального, змееподобного телоправителя, такого ревностного, преданного, ко мне внимательного, не по-людски бескорыстного. Вот сидит он сейчас в темноте, один,

беспомощный, и на помощь не надеется, может быть, знает уже, что жизнь кончена, «поломки» безнадежны...

Так рано погиб, так мало успел, так ничтожно мало видел хорошего.

Сутки напрасных поисков. Радио молчало, малый рентген не брал такую мелочь, большой рентген для меня был небезопасен. Но вот на вторую ночь я почувствовал, что у меня чешется левая ладонь. Деньги в шаровом не в ходу, так что я не воспринял этот зуд, как благоприятную примету. Часа через два ладонь покраснела, припухла, а потом как начало гореть и дергать, словно кто-то у меня внутри, уцепившись за нерв крючком, старался его порвать. А снаружи ничего — ни царапины, ни ссадины, ни прыщика.

Я поспешил вызвать Граве, сообщил радостно:

— Нарывает! Левая ладонь. Как вы думаете, не могло его занести в левую руку?

Рассмотрели схему моего тела; оказалось, что от дуги аорты в непосредственной близости ответвляются сонная артерия, идущая в мозг, и левая плечевая, снабжающая кровью левую руку. Стремительно проносясь в токе крови, Тетеас легко мог спутать эти сосуды. («Надо будет повесить указатели со светящимися надписями»,— заметил Гилик по этому поводу.)

— Попробуем наладить связь,— сказал Граве.

Он миллитировал иглу и ввел ее, тончайшую, почти невесомую, в самый центр нарывчика — я ахнул от боли. И почти сразу же передатчик, молчавший больше полутора суток, загрохотал на всю лабораторию:

— ...кусаются, как собаки! Они отгрызли мою антенну, глаза и все, что можно отгрызть. Какой дурак сделал мне эластичные, неметаллические тяжи? Боялись, что металл устанет через год, а эластик тут перегрызли за день. Алло, алло, да это я, ису-врач 124/Б. Пришлите мне запасные фотоглаза. Да, я чувствую иглу. Наклейте глаза на иглу, я их нащупаю.

Нашелся! Ура, ура, трижды ура!!!

Глаза были наклеены, игла вошла в нарыв, опять я закряхтел от боли. Тетеас прозрел, но на том приключения не кончились. Оказывается, в джунглях моего тела, в каком-то закоулке ладони, он вел бой не на жизнь, а на смерть с полчищами амебоподобных лейкоцитов. Уже тысячи Тетеас раскромсал своими лучами и лопатками, но

все новые лезли в драку, обволакивали членики змеиного туловища, стараясь оторвать и переварить все, что можно было оторвать и переварить. И доктор мой явно изнемогал в этой борьбе.

— Человек, что ты смотришь? Прекрати немедленно! Это же твоя внутренняя охрана. Отзови ее!

— Но они не подчиняются мне.

Гилик воздел лапки к небу:

— О, разумный, образумь себя для начала!

— Помогите, они залепили мне глаз. Ой, кажется, опять оторвут!

Граве спросил:

— Слушай, Человек, почему они кидаются так на него?

— Но он же чужеродное тело.

— А как они распознают чужеродное тело?

— Да-да, у них же нет ни глаз, ни ушей, ни носа,— подхватил и Гилик.

— Не знаю, какая-то антигенность есть. Свои белки не принимают чужие.

— Но как они узнают чужих, как? Как отличают красные шарики от бактерий?

— Знать надо, а потом уж лечиться!— проворчал Гилик.

Граве прекратил бесполезные сетования.

— Слушай, псу-врач, слушай меня внимательно и действуй быстро. У организма человека есть какой-то способ распознавать чужих. Тебя грызут потому, что тебя воспринимают как чужака. Но своих лейкоциты не трогают. Постарайся замаскироваться под своего. Налови красных шариков, обложись ими, натыкай на все шипы и лопаточки и удирай — тебя пропустят. Позже в дороге разберешься, что там ощупывают лейкоциты. По всей вероятности, есть какая-то группа молекул или часть молекулы — некий отличительный знак, пароль.

Совет оказался удачным. Мы и сами на экране увидели, как неразумно вели себя слепорожденные стражи моего тела. Как только Тетеас унизал себя красными тарелочками, лейкоциты перестали его замечать. Под эритроцитовым плащом-невидимкой он спокойно привинтил себе глаза и антенны, неторопливо отремонтировал ходовую часть и двинулся вперед. И лейкоциты расступились, словно «руки» у них не поднимались на этого бесчестно-

го агрессора, который уходил, прячась за спины пленников.

Вот где идет война без конвенций и запрещенных приемов — в нашем собственном теле!

И еще я подумал, что в этой войне, где все позволено, наверное, природа уже испробовала все хитрости и контрхитрости. Возможно, некоторые бактерии научились прикидываться своими, приклеивая опознавательные знаки эритроцитов или имитируя их. Не потому ли так заразительна чума для человека, а для животных сибирская язва. Ведь одна-единственная бацилла сибирской язвы смертельна для мыши. Почему мышиный организм не может побороть одну бациллу? Может быть, потому, что не борется, считает своей клеткой?

А путешествие Тетеаса пока что возобновилось. Чтобы не заблудиться вторично, он решил не пробиваться в ближайшую вену, а возвращаться к нужному перекрестку назад по артерии, против тока крови.

Путешествие возобновилось, но совсем в ином темпе. Забылись стремительные броски, кидавшие Тетеаса то в легкое, то в сердце, то в руку. Теперь мой доктор медлительно полз вдоль стенки артерии, упираясь лопаточками в эпителий. Содрогаясь, выдерживал бомбардировку встречных эритроцитов, сыпавшихся сверху, словно из мешка. Полз медлительно, по миллиметру за минуту, в час сантиметра три, с остановками — сутки от ладони до локтя, еще сутки — от локтя до плеча. Впервые я ощутил всю громадность моего тела. Шутка сказать: по одной руке два дня пути. Обширное государство!

Впрочем, Тетеас не потерял времени напрасно. За эти два дня он разобрался, какие именно группы атомов служат опознавательными знаками для моего организма. Формула записана у меня, но для вас она не представляет интереса, у вас формула иная. И теперь вместо красных тарелочек он мог понавешать на себя маленькие кусочки их тела. Все вместе они так громко кричали «Я свой, я свой!» на биохимическом языке, что встречные лейкоциты даже отшатывались, минуя Тетеаса.

Для безопасности Тетеас нанизал на себя добрую тысячу кусочков, перепортил тысячу эритроцитов. Мне даже захотелось крикнуть: «Осторожнее, что ты там распоряжаешься чужим добром?» Как-никак мои эритроциты, моя кровь и плоть. Умом-то я понимал, что эта скупость

неосмысленная. В теле 25 триллионов эритроцитов, донор жертвует без вреда триллион сразу, в поликлинике для анализа мы отдаем миллионов сто. Естественным порядком ежедневно умирает четверть триллиона эритроцитов и столько же рождается взамен. Что там скупиться на тысячу, когда счет идет на триллионы? А все-таки жалко было. Свое!

Итак, к концу второго дня пути по руке Тетеас вновь достиг развилки артерий: из артерии плечевой выбрался в дугу аорты. Из плечевой выбрался, вторично по ошибке попасть туда уже не мог. Столь же неторопливо пробираясь против тока крови, через некоторое время оказался на следующем кроверазделе. Завернул туда. Удержался от соблазна кинуться в плазменные волны и в мгновение ока очутиться в мозгу. Плыл у самого берега — я подразумеваю: возле стенки сосуда. Отцепившись на долю секунды, тут же хватался за эпителий и ждал, ждал терпеливо, пока Граве не удавалось запеленговать его сигналы, подтвердить, что он движется правильно — вдоль шейных позвонков, от ключицы к черепу.

— И ты ничего-ничегошеньки не чувствуешь? — допытывался Гилик.

Нет, я не ощущал ничего. Если напрягал внимание, казалось, что в шее легкий зуд. Вероятнее, воображаемый.

— Вступаю в мозговую ткань,— сообщил Тетеас час спустя.

— Ну-с, теперь святая святых,— сказал Гилик.— Мозг! Храм мысли! Картинная галерея воспоминаний и образов. Посмотрим, где у тебя там образ лаборатории и образ экрана, и на том экране мозг, и в мозгу экран, и на экране мозг, и в том отражении отражение экрана...

Почему-то нравилось ему жонглировать словами.

Конечно, ничего такого мы не увидели на экране. Проплывали перед нами подобия амеб, распластанных, как бы приколотых булавками, с заостренными отростками различной длины, от которых отходили нити нервных волокон, длиннющие и коротенькие со спиральными завитушками, подходящими к спиральным завитушкам соседних клеток. И это был мой мозг. И не ощущал я, что это мой мозг. И даже не доверял как-то, что это и есть мозг, потому что выглядело все это как сборище амеб.

Но Тетеас вскоре дал мне почувствовать, что он действительно в моем мозгу, не в чужом.

Началось с изжоги, но какой! Как будто в желудке у меня затопили плиту и пекут на ней блины. Пламя ползет по пищеводу, выше и выше; ловлю ртом воздух, хочу охладить воспаленное нутро. Но жар побеждает, перехватывает дыхание.

— Граве, пожалуйста, немножечко соды. Неужели нет двууглекислого кальция на всей вашей планете?

Но космический мой друг лечит меня совсем иначе. Он берется за радиомикрофон:

— Псу Тетеас, все идет нормально, ты в гипоталамусе. Находишься в центре регулировки кислотности. Вызвал повышенную кислотность. Выбирайся скорее, а то наш пациент наживет язву желудка.

Спустя несколько часов Тетеас — в центре терморегуляции. И снова я узнаю об этом на своей шкуре. Мерзнут губы, нос становится твердым и каменно-холодным. Руки и ноги зябнут, одеревеневшие пальцы не подчиняются мне больше. Вместо пальцев белые восковые слепки приставлены к кистям. Я даже чувствую, в каком месте приставлены: оно как бы перетянуто ниткой. Нитки ползут вверх по рукам и ногам, холод течет по венам в туловище, к сердцу, к черепу. Замерзает мозг. Мне видятся отвердевшие борозды, подобные заиндевевшей пашне в бесснежном декабре. Замерзшие мысли, словно снежинки, тихо-тихо оседают на одубевшие валики. Спать, спать, спать!

И почти без перехода лето. Пульс стучит в висках вагонным перестуком, горят уши, горит лицо. Тугие нитки растворяются, кровь мурашками бежит в приставленные кисти рук и ступни. Жаром пышут румяные щеки, горячо глазам, горячо во всем мире. Все звуки становятся напряженно-гулкими, краски насыщенными, а очертания смутными, формы как бы тают в горячем воздухе. Чувства обострены, я вижу невидимое. Вижу, как в моем черепе плещется горячее озеро, и на берегу его извилистый Тетеас.

Он суетится, разжигая костер, он колет клетки на дрова, щепки летят брызгами, топор тук-тук. Дымят поленья, искры прочерчивают темнеющее сознание. «Тетеас, не надо! Тетеас, больно!»

Просыпаюсь в поту. Слышу встревоженный голос Граве:

— Ису, осторожнее, температура сорок и девять. Че-

ловек в бреду, у него мутится сознание. Отметь, что это центр терморегулировки, и покидай его немедленно.

Затем черная меланхолия. Лежу в прострации, глаза полузакрыты, ладони на простыне. Все противно, все гнусно, никчемно и безнадежно. Я сам ничтожный, жалкий старичишка, надежды на омоложение беспочвенны. И вообще омолаживать меня незачем, потому что все мысли мои банальны, все слова бездарны, все планы необоснованны. Никому не нужен я ни в космосе, ни на Земле. Единственно разумное — немедленно удавиться. Но я не удавлюсь — не хватит воли и энергии, так и буду прозябать жалко, позорно, гадко.

Почему я скис? Реакция после жара?

Бывало у меня такое настроение после тяжкой усталости, часам к десяти вечера, а в последнее время и к шести. Я знаю, умом знаю, мыслям наперекор, что спорить с самим собой не надо, надо выспаться — к утру пройдет. Утро вечера мудренее и жизнерадостнее.

Но обхожусь без сна. Вдруг утро начинается само собой. Мир превосходен и захватывающе интересен. Моя спальня — сад, вся она в гаммах ароматов, песнях шелеста, шороха и перезвона. Я сам молодец, я умница, я все так хорошо понимаю и чувствую. У меня дар сверхсознания, мне открыто истинное великолепие вещей. Как хорошо любоваться, как хорошо дышать, ходить, стоять на ногах и на голове! А ну-ка, встану на голову. Вот так — мах ногами, ступни вытянуты. Получилось! До чего же занятен мир, когда смотришь на него снизу вверх! Восторг! Экстаз! А петь я смогу в такой позе? Ну-ка: «Не счесть алмазов в каменных пещерах...»

Господи, что это я разыгрался? На каком основании?

И вспоминается основание. Где-то в мозгу у меня копошится стальной волосок по имени Тетеас. На этот раз он докопался до центра эмоций, до клеток горя и радости. Как раз незадолго до моего отбытия ученые Земли нашли эти центры у крыс и кошек. Научились вводить туда электроды, вызывать наслаждение электрическими импульсами. И подопытные крысы сутками нажимали педаль, включая ток. Жали и жали, отказываясь от сна, отказываясь от пищи. Наслаждались ничем и падали в изнеможении, упившись ничем.

И вот я в роли подопытной крысы. Я — не я лично, я — паяц, которого дергают за ниточку. Я рояль, я обя-

зан издавать звуки, когда нажимают клавиши. Нажали «до» — я веселюсь, нажали «ре» — плачу. На «ми» жадно глотаю пищу, на «фа» меня тошнит от сытости, «соль» — мечтаю о свиданиях, «ля» — хочу спать...

— А я не желаю подчиняться. На «ля» не буду спать.

— До! До-диез! До-до-до!

Не рояль. Не намерен радоваться. Напрягаюсь. Кусаю губы, чтобы сдержать дурацкую улыбку. Стараюсь думать о неприятном. Как скверно, что я пустил к себе в мозг эту бесцеремонную змейку. Я больше не Человек, я раб ее экспериментов. Кончена разумная жизнь. Попался на приманку молодости, обманули, теперь плачь об утерянной свободе! Ага, я хочу плакать, а не радоваться! Не будет кретинских смешков. Чья взяла?

Голос Тетеаса:

— Есу Граве, докладываю, что клетки центра почему-то теряют чувствительность. На прежние импульсы реагируют гораздо слабее. Повысилось электрическое сопротивление. Может быть, объект устал, опыт надо отложить?

— Ты устал, Человек, хочешь отдохнуть?

Гилик выдает меня:

— Ничего не устал. Это он напрягается, чтобы удержаться от смеха.

— Человек, это очень важно. Значит, ты можешь усилием воли подавить центр радости? Ису Тетеас, надо исследовать, по каким каналам приходит в таламус торможение. Напрягись, пожалуйста, Человек. А теперь расслабляйся, старайся не гасить радость.

Радуюсь по заказу. Радуюсь по просьбе.

Крыса! Если не рояль, то крыса.

Но вот приходит день, когда Тетеас, пока еще не очень уверенно, объявляет:

— Есть гипотеза. Мне представляется, что я разобрался. Главную роль тут играет центр горя, он и расположен в самом средоточии информации, на перекрестке нервных путей. В момент перенапряжения сильные токи разрушают соседние центры — кислотности, терморегуляции и прочие.

— Это правдоподобно,— сказал я.— У нас считают, что язва желудка — болезнь нервного происхождения.

— Еще я заметил,— продолжает Тетеас,— что оболочки нервов здесь особенно тонкие. Похоже на электричес-

кие предохранители: вставляется в цепь слабое звено; всегда известно, где перегорит в первую очередь. Видимо, пароксизмы горя пережигают нервную связь мозга с гипофизом, прекращается регулировка желез, и отсюда старческие болезни.

Граве замечает, что такое правило было бы целесообразным и с точки зрения естественного отбора. Законы Дарвина действуют на всех планетах. Многочисленные горести означают несоответствие организма внешней среде, неприспособленность. И природа спешит списать неудачника, чтобы он поменьше жил и поменьше оставил бы потомства.

— Гипотезу можно принять за основу,— заключает Граве.

— Но ее проверить надо,— говорит Тетеас скромно.— Мне нужно большое, чрезмерное горе. Я пробовал вызвать его механическим раздражением, но Человек тормозит. Человек, не сопротивляйся! Прошу тебя, помоги мне! Усиль горе. Как ты возбуждаешь себя? Воображением? Вообрази что-нибудь очень горестное.

«Рояль, сыграй печальное! Траурный марш, пожалуйста!»

Я полагал, что мне ничего не стоит вообразить тоску. Воображать — моя профессия. Допустим, я потерял деньги, крупную сумму. Впрочем, деньги — дело наживное. Допустим, я потерял рукопись. Работал пять лет и потерял.

Но тоска почему-то не получается. Я представляю себе, как я сижу, обхватив голову руками, и думаю, что мужества терять не надо. Остались черновики, остались планы, образы, мысли. То, что сочинялось пять лет, за два года может быть восстановлено. Словесные находки забудутся, ну и что ж? Те находки я нашел, найду другие.

— Человек, ты опять тормозишь!

Нет, надо вообразить что-нибудь безнадежно непоправимое. Смерть, например. Что может быть непоправимее смерти? Что может быть огорчительнее для меня лично?

Вот я умираю, лежу на больничной койке. Вокруг стерильная белизна больницы, кислый запах лекарств, пролитых на блюдечко. Изможденное лицо жены, постно-меланхоличные физиономии прочих родственников, вымученные слова о том, что я сегодня выгляжу гораздо лучше. Внуки, томясь, косятся на часы, прикидывают, сколько

еще надо высидеть для приличия. У сына лицо озабоченное, притворяться ему не надо, хлопот предостаточно: паспорт сдавать, справку получить, венок заказывать, мамочку утешать, поддерживать. Жена плачет искренне: со мной уходит ее самостоятельная жизнь, уходит в прошлое, в воспоминания, теперь она будет бабушкой при внуках, придатком к семейству. За ней суровое лицо медсестры: сестра недовольна — кажется, этот больной затеял умирать ночью, на дежурстве не поспишь. О чем думаю я? Ни о чем. Я дышу, вкладывая усилия в дыхание, во вдохи и выдохи. Что-то клокочет, царапает, давит, душит, но я дышу, уповая (единственная мысль), что потом будет легче.

— Человек, ты мне не помогаешь ничуть.

Да, верно, тоски я не ощущаю. Подавляет профессионализм — я занят подысканием слов. Оказывается, не такое у меня воображение: нужно артистическое вживание в образ, а я воображаю, как выглядит неприятное, какие сравнения подобрать для описания.

Гилик говорит:

— Слабовата фантазия у этих хилых фантастов. Я бы надеялся больше на физические действия. Если дать по шее как следует, он огорчится сильнее.

И эти инквизиторы всерьез начинают рассуждать, какую боль мне надо причинить, чтобы пронять до глубины гипоталамуса. Достаточно ли пощечины? Или содрать кожу? Или лучше обжечь? И какого размера ожог даст необходимый эффект?

А я соглашаюсь на мучительство. Сажусь в кресло пыток и отдаю им свою левую руку, как Муций Сцевола. Скорее, как христианский мученик, всходящий на костер во имя второй загробной жизни. Я же надеюсь получить вторую молодость, подлинную, полнокровную. И употреблю ее со смыслом. Говорят: «Если бы юность знала, если бы старость могла...» Я уже знаю, чего хочу, а кроме того, смогу.

Дикая боль. Это Гилик прижег меня раскаленными щипцами. Раскалил и прижег, как заправский чертенок в аду.

Фух! Отдуваюсь, стираю пот со лба. Дую на ожог.

— Что же ты улыбаешься, Человек?

— Извините, Граве, я подумал, что самое скверное позади. И за это предстоит приятная молодость. И еще я

думал, как я на Земле начну омолаживать. Сколько радости будет! Как я жене скажу: «Ну-ка, матушка, хочешь быть восемнадцатилетней?»

— Ису 124/Б, ты получил нужный эффект?

— Кратковременный и непрочный,— отвечает Тетеас.

— Без членовредительства не обойтись,—говорит кровожадный Гилик.— Давайте руку отрубим или вырвем глаз.

Граве предпочитает вернуться к моральным несчастьям:

— Ну, вообрази что-нибудь очень скверное, Человек. Представь себе, что наши опыты провалились, надежда на молодость лопнула.

Я сказал, что они смертельно надоели мне со своими опытами, я готов обжечь руку вторично, лишь бы они отвязались от меня раз и навсегда.

А потом пришел тот страшный день, 23 марта по нашему земному календарю.

Они явились ко мне раньше обычного — Гилик и Граве со всеми своими помощниками, естественными и искусственными. На лицах у естественных я уловил выражение старательного сочувствия. У ису, само собой разумеется, выражения не было: на их физиономиях нет лицевых мускулов.

Граве начал какой-то туманный разговор о некоторых обстоятельствах, которые бывают сильнее нас, и о том, что каждый исследователь должен ограничить себя, чтобы результаты, хотя бы и не окончательные, поступили своевременно. Он говорил еще о том, что я, наверное, наметил себе срок пребывания в шаровом и надо бы привести планы в соответствие с этим сроком...

— К чему вы клоните?— спросил я.— Не выходит с молодостью? Так и скажите. Ну и не будем тратить время...

И тут влез этот чертенок Гилик-переводчик:

— Не тяните, есу Граве. Зачем ходить вокруг да около? Человек — взрослый человек, он умеет переносить удары. Суть не в опытах. Суть в том, что налажена связь с твоей Землей. Получены известия. Плохие. У вас там атомная война.

Граве сказал:

— Ты, Человек, не торопись с решением. Ты подумай, как тебе действовать. Если хочешь, оставайся с нами; ес-

ли хочешь, вернешься позже, когда твои соземляне образумятся.

— Нет.

Ни минуты нельзя было терять, ни секунды.

— Давайте составим радиограмму в Главный Звездный Совет. Пусть мне дадут энергию, самую грозную, которой у вас режут пространство и гасят звезды. Я наше солнце погашу на время. Только потрясением можно остановить войну сразу. Пишите!

И в ответ услышал глуховато-гнусавое:

— Спасибо, есть нужный эффект. Можно снимать напряжение. Скажите ему, что это был опыт горeобразования.

— Сво-ло-чи! Сво-ло-чи!

Как я бушевал! Гилика я выкинул в окно,— живое существо разбилось бы насмерть на его месте. Старика Граве загнал под кровать, он у меня там икал от страха. Я разбил физиономии всем троим есу и разбил собственные кулаки о физиономии ису. И бился головой об стенку: очень уж мне хотелось, чтобы стало муторно этой спирохете, засевшей в моем мозгу. Только одно меня утешало: как хорошо, что все это вранье!

Итак, Тетеас получил нужный эффект. Издевательский опыт подтвердил его гипотезу. Действительно, токи сильных огорчений разрушали близлежащие клетки и нервную проводку, в частности, ту, которая управляла работой гипофиза. Задача состояла в том, чтобы восстановить мертвые клетки. Тетеас составил проект капитального ремонта: там была и пересадка нейронов и замена аксонов проводами. Но думаю, что подробности не представляют интереса: они у каждого человека своеобразны. Проект обсуждался довольно долго; наконец, Тетеас получил «добро» и приступил к манипуляциям.

Признаюсь, я был несколько огорчен даже, когда, проснувшись на следующий день, увидел в зеркале седые виски и морщины. Умом-то я понимал, что «не сразу Москва строилась», но очень уж хотелось увидеть явные приметы стройки. И в первые дни я подходил к зеркалу ежечасно, вглядывался, удалялся разочарованный. Потом отвлекся, забыл, перестал следить... а приметы появились.

Омоложение шло, как и старение, медлительно, вкрадчиво, но в обратном направлении. Старея, я терял, сейчас приобретал утерянное. Год назад, пройдя десять километ-



Ни минуты нельзя было терять, ни секунды...

ров,— лежал в изнеможении, а сейчас и двадцать пустяки. Месяц назад проработал лишний час, лег не вовремя — голова болит поутру. А тут ночь просидел, сунул лицо под кран, и начинай сначала. Заблудился в горах, попал под дождь, промок до нитки, шел и думал: «Ах, как бы не слечь, ванна, горчичники, в постель поскорее!» Но повстречался Граве, что-то мы обсудили, не договорились, заспорили. Пока спорили, одежда обсохла. Хватился: а как же ванна, горчичники? Обошлось.

Потом стал замечать: хожу иначе. Если думаю о направлении — выбираю путь покороче, поровнее. Если не контролирую себя, прыгаю через канавы с разбега. Зачем? Просто так, от избытка сил.

И еще (пусть жена меня извинит)... женщины в голове. Не местные, конечно. У чгедегдинок хоботок вместо носа. Лично я не способен влюбиться в слониху. Но о возвращении на Землю начал я думать иначе... Прежде представлял себе одно: зал заседаний академии, я на кафедре, в руках у меня указка... А сейчас начинаю с иного: улица Горького, зной, разгоряченная толпа, горячий асфальт утыкан следами каблучков, и плывут, плывут навстречу овальные купола причесок — соломенные, шатеновые, русые...

И вернулось то, что казалось мне главным,— утерянное ощущение перспективы. Все успею, все сумею, не сегодня, так завтра или через десять лет. И даже имеет смысл отложить, потому что завтра я буду лучше: опытнее и умнее.

— Тетеас, вылезай из меня!— кричал я своему целителю.— Хочу поблагодарить тебя лично. Посидим за штепселем и кружкой, вспомним мои переживания и твои приключения. Вылезай, мегатация подготовлена.

Мегатация — это увеличение, противоположность миллитации. Надеюсь, вы догадались? Выполнив свою задачу, микрохирург должен был укрупниться и в дальнейшем работать со своими собратьями нормального размера в лабораториях.

Но Тетеас не спешил к праздничному столу.

— Подчистить надо,— твердил он.— Проверить. Я не уйду, пока тут останется хотя бы одна пылинка. Организм требует стерильной чистоты...

И даже обижался:

— Почему ты гонишь меня? Я тебе надоел, наскучил?

— Нет, я бесконечно благодарен тебе, я думаю, что ты заслужил отдых и награду.

— Тогда почитай мне в награду главу из «Книги обо всем».

Я читал. Тетеас слушал и восхищался. К сожалению, его восторги нельзя было принимать всерьез. Ведь он был запрограммирован на восхищение.

Покончив с ремонтом в мозгу, Тетеас теперь инспектировал все тело, устраняя мельчайшие неисправности. Он отрегулировал рецепторы давления, в сонной артерии срезал какие-то бугорки на клапанах сердца — у меня действительно исчезла одышка, к которой я уже привык. Побывав во рту, запломбировал один зуб, продезинфицировал миндалины, выгреб какую-то дрянь из аппендикса. Право, мне благодарить следовало бы, а я ворчал. Но очень уж бесцеремонно распоряжался в моем организме Тетеас, поистине как та рачительная тетя Ася, глубоко уверенная в том, что порядок на столе важнее работы за столом.

— Сегодня ешь поменьше и ложись сразу после обеда,— командовал Тетеас.— Буду накладывать шов, потом полежишь недельку.

— Но я обещал прилететь на планету Кинни.

— Кинни подождет. Если шов разойдется, никуда лететь не сможешь.

Все это умиляло и раздражало. Хотелось все же быть хозяином самому себе, выписаться из больных раз и навсегда.

Однажды я так и сказал прямо:

— Тетеас, кончай с мелкими доделочками. Главное ты совершил: дал организму молодость, теперь хозяин справится сам.

На мое несчастье, Гилик слышал это заявление. И какую отповедь я получил! Давно уже мой гид не был так речист и зол.

— «Хозяин»! — вскричал он.— Это кто хозяин? До чего же бездонно самообольщение человеческое! Да вспомни всю историю твоего лечения. Ты не хотел стареть, но не мог приказать себе не стареть. Ты не хотел седеть, но волосы твои выцветали, потому что фагоциты — твоего же тела стражники — пожирали черный пигмент. И ты не мог приказать своим кровеохранникам оставить твои же волосы в покое. И не мог приказать им допустить в организм

лекаря-целителя: они на него напали, пытались сгноить и вытолкнуть. А если по легкомыслию ты потеряешь руку, или ногу, или почку и доктора попробуют прирастить тебе чужую, твой упрямый организм будет отторгать и рассасывать чужую почку, потому что она чужая; умрет, а помощь извне не примет. Ты считаешь себя хозяином тела? А разве можешь ты выпрямить свой горбатый нос, сделать карие глаза голубыми, прибавить себе хотя бы пять сантиметров роста? Поздно? А в юности ты мог остановиться, прекратить рост по желанию? И еще раньше, когда ты был зародышем, твоя мать могла выпрямить тебе нос или сменить цвет глаз? Ты, кажется, говорил, что она мечтала о девочке? Мечтала об одном — вырастила другое. И разве нет у вас на Земле женщин, которые не хотят вообще детей, не хотят, но растят в себе? Какие вы хозяева? Автоматы!

И пошло с того дня:

— О всезнающий, скажи, какие запасы пищи в твоей печени? Владыка тела своего, прикажи своему горлу не кашлять!

Даже Тетеас однажды вступился за меня:

— Что толку надоедать Человеку? Упражняешься в словосочетаниях...

Гилик сказал важно:

— Я за истину, неприкрашенную и математически точную. Эти заносчивые есу воображают себя высшим достижением материи, а на самом деле они конгломерат ошибок природы, ее бездумной инерции, вчерашний день развития.

— Опять словосочетания. Ты лучше придумай, как помочь.

— Я помогаю установить истину. Пусть человек поймет, что он вчерашний день развития. А помочь вчерашнему нельзя. Вчера кончилось вчера.

Но Тетеас, этот старательный волосок, блуждающий между моих клеток, придумал, представьте себе.

— Я понял, в чем твоя беда, Человек,— сказал он мне несколько дней спустя.— Твоя беда в многовластии. У твоего тела много хозяев, и не все они подчиняются уму.

— Что ты имеешь в виду? Желудок, сердце?

— Ни то, ни другое. У тебя пять систем управления, я их перечислю. Самая древняя — генетическая, наследственный проект тела. Вторая система — кровь с эндокрин-

ными железами, ведает этапами развития, ростом, зрелостью, а также временными режимами. Система третья — нервы, командует автоматическими движениями и органами. Четвертая — условно-рефлекторная, опыт, привычки, чувства: гнев, радость, горе. И ум твой, сознание,— только пятая из систем, самая разумная, самая новая, созданная для общения с внешним миром и не очень вникающая в дела внутренние.

— То есть ты хочешь подчинить сознанию чувства?

— Не только чувства, но органы, кровь и гены, температуру, давление, борьбу с болезнями, рост, внешность. Чтобы ты мог сказать: «Хочу нос поменьше»,— и нос укоротится. «Хочу, чтобы череп раздался, в нем поместилось бы побольше мозга!» Или: «Хочу, чтобы у меня были жабры!» — и вырастут жабры, будешь дышать под водой, как рыба. Вот когда ты поистине станешь хозяином своего тела, тогда и я покину тебя со спокойной совестью.

— Но это значит никогда! — воскликнул я.— Жабры вырастить! Сказка!

— Почему сказка? Жабры состоят из обычных клеток, примерно таких, как в легких, и из кровеносных сосудов. И ты сам говорил, что у человеческого зародыша есть зачатки жабр. Значит, организм матери мог вырастить жабры. Не вырастил, потому что программа была иная и никакой возможности вмешаться в программу: не связаны гены с сознанием матери. Не было связи, только и всего. Вот я и хочу наладить подобную связь в твоем теле.

«Бред»,— подумал я.

Но заманчивый бред между прочим.

Последующие дни я провел в тяжких спорах. Не с Тетеасом, миниатюрным прожектером,— с самим собой. Во мне самом спорили трезвый скептик: «Не может быть», и энтузиаст-мечтатель: «Очень хочется».

— Не может быть такого,— говорил Не-может-быть.— Черты лица зависят от собственного желания? Ненаучная фантастика. Нельзя переделать свое лицо, каждый знает.

— Да, но...— возражал Очень-хочется,— но и в космос летать нельзя было. Люди стали разбираться: почему нельзя? Разобрались. Летают. А внешность почему нельзя менять по собственному желанию? Тетеас говорит: «Потому, что нет связи между волей и клетками». Ну, а если наладить связь?

— Ничего не выйдет хорошего,— твердил скептик Не-может-быть. Если бы связь была полезна телу, природа проложила бы ее. Мало ли что взбредет в голову: кому захочется три глаза, кому четыре уха. И хорошо, что нет возможности лепить по капризу нежизнеспособных уродов. Нельзя давать скальпель в руки несмышленышу.

— Да, но, возможно, природа не успела дать скальпель,— отстаивал мечту Очень-хочется.— Разум — полезный инструмент, но он изобретен всего лишь миллион лет назад. Еще не распространил свою власть на глубины тела.

— Необъятного не обнимешь,— твердил скептик.— В теле сто триллионов клеточек, в мозгу всего лишь пятнадцать миллиардов, сознанию отведено миллиардов пять. Как может разум уследить за каждым лейкоцитом, за каждой растущей клеткой, за каждой белковой молекулой в клетке?

— А разум и не должен следить, не должен распоряжаться каждой клеткой. Разве командующий фронтом дает приказ каждому солдату в отдельности? Он определяет общую задачу, а генералы, офицеры и сержанты конкретизируют, уточняют, доводят.

Скептик возражал:

— Но командующего понимает вся армия, от генералов до солдат, все они объясняются на едином языке. А солдаты твоего тела, если молекулы — это солдаты, не понимают разумных слов, и ты не знаешь четырехбуквенного шифра генов. Как ты скажешь: «Делайте мне голубые глаза!»? В какой из ста тысяч ДНК записана голубизна глаз и какими из миллиона букв? И даже если ты произнесешь «цитозин-тимин-цитозин», разве тот ген поймет тебя и перестроится?

Только сутки спустя, накопив новые соображения, оптимист Очень-хочется снова вступил в спор:

— Верно, языки разные в теле, не все доступные разуму, но есть многостепенный перевод. Клетки понимают химические приказы гормонов крови; железы, посылающие гормоны, понимают электрические сигналы спинного и головного мозга, реагируют на страх, гнев и восторг. А страх и гнев можно подавить или вызвать воображением. Вот как: с воображения начинаются приказы телу. Должен буду я, Очень-хочется, воображать то, что мне хочется. Если не желаю стареть, должен представить себе,

что не старею. Иду по улице статный, легконогий, грудь колесом, кудри колечками. И если попал в катастрофу, остался без ноги, тоже начинай работать воображение! Представим себе, что у меня растет потихоньку нога: припухло, а вот уже и кость прощупывается сквозь повязку, вот образуется коленный сустав...

Скептик Не-может-быть возмущен:

— Вообразить можно что угодно, но невыполнимого не выполнишь. Человек не способен к регенерации. У взрослого кости жесткие, окончательные.

— Но ведь есть же такая болезнь акромегалия, когда растут кости лица, ступни, кисти рук у взрослого.

— Там простой рост, увеличение. А тут сложное развитие. Такое только у зародыша возможно.

— Надо еще разобраться, почему вырастают ноги у зародыша.

— Так то зародыш.

— Пусть так, начнем с зародыша. Ведь он весь происходит из одной клетки. Из нее возникают и кости, и мозг, и ноги. Возникают по генетической программе. Но разве нельзя ее подправить? Чем? Хотя бы материнской кровью, ее химическим составом. А как регулировать состав? Воздействуя на железы. А как приказывать железам? Не воображением ли?.. И может быть, будет так: «дорогая мамаша, кого вы хотите: дочь или сына? Сына? На вас похожего или на отца? Блондина, брюнета, стройного или крепыша, смелого или осторожного, бойкого или спокойного, математика или поэта? А теперь представьте его себе, вообразите, как можно яснее. Думайте о нем почаще, закройте глаза и думайте. Или нарисуйте и смотрите на портрет. Главное, образа не меняйте».

— Ужас какой! Каждая дурочка будет лепить оперного тенора.

— А разве лучше лотерея, кот в мешке?

В общем, я загорелся и разрешил Тетеасу изучать мою внутреннюю администрацию на всех пяти ступенях. И заключили мы с ним договор, что двадцать три часа в сутки он меня не тревожит, копается молча и осторожно, так, чтобы меня не тошнило и нигде не болело, а один час я в его распоряжении, выполняю тесты, тренирую волю, отдаю приказы, воображаю...

Важен заведенный порядок. Когда этот медицинский час вошел в привычку, я перестал тяготиться присутствием ису, не думал больше об избавлении от внутреннего врача. Ну и пусть он живет в моих сосудах, внимательный и хлопотливый, незаметный и необходимый. Час в сутки можно уделить своему здоровью, биологической мечте и беседам с неутомимым другом, запрограммированным на материнскую заботу обо мне.

Интересно, а вы, читающие эту историю, согласились бы впустить в свою кровь этакого миниатюрного доктора?

Мальчишки, конечно, пришли в ужас: «Ни за что! И так хватает менторов. Будет поучать изнутри: «Не лезь в холодную воду, не ешь конфет, не ковыряй болячку». Ну, а женщины? Кто из них откажется от ежедневного домашнего врача, с которым можно поговорить о том, что волосы секутся и кожа лоснится? Матери в особенности. Так удобно иметь при ребенке постоянного опытного доктора, личного куратора, всецело посвятившего себя младенцу.

Так что, я думаю, со временем одноплеменники Тетеаса станут необходимостью быта на Земле, и никого не удивят слова, приведенные в эпиграфе: «Хирурга глотайте быстро и решительно; чтобы не застрял в горле, запейте его водой!»

У меня же был интерес особый. Мой доктор не только лечил меня, но и собирался усовершенствовать, сделать сознательным скульптором своего тела, волеваятелем. И каждый день, не без нетерпения, я расспрашивал, как идет его работа, а он с таким же любопытством пытал меня, как я переделаю себя, когда получу дар волеваяния.

И я фантазировал...

Нет, не буду рассказывать, какие планы я строил, потому что не суждено было им осуществиться...

Я все-таки собрался на Кинни. Это приятная планета земного типа с температурой около трехсот по Кельвину, с прозрачной атмосферой, бледно-зеленым небом и морем малахитового оттенка. И жизнь там, как на всякой планете земного типа, белковая, стало быть, съедобная. А я смертельно устал от цивилизованной курятины, рожденной в ретортах, соскучился по живому мясу. Так что на Кинни я все время жевал, набивал рот то котлетами, то

ягодами, то желудяками— это такие морские животные, не то моллюски, не то ракообразные, по виду похожие на желуди, а по вкусу — на икру. Их неисчислимые стада в киннийских морях. Когда плывешь на лодке, опускаешь шляпу за борт и черпаешь, словно фрикадельки половником. И я черпал, наслаждался жирно-солененьким, жевал, сосал, глотал...

Совсем забыл, хотя меня и предупреждали, что среди желудяк попадаются старые экземпляры со скользкой, жесткой кожей, которую не прокусишь.

И вот я сидел в лодке, лакомился: хруп-хруп-хруп... Вдруг, словно старый орех, аж зубы затрещали. Вздохнул от боли. И желудяк этот скользнул прямо с зуба в дыхательное горло.

Я так и застыл с открытым ртом. Хриплю, давлюсь, кашляю...

Руки поднял, как меня учили в детстве... Не выскакивает.

Граве был со мной в лодке, но мы на прогулку поехали, инструментов не взяли. Хлопает он меня по спине, толку никакого. Вспомнил про радио. Слышу, кричит:

— Ису 124/Б, срочно в дыхательное горло! Человек подавился. Спеши прочистить!

А я уже задыхаюсь. Небо позеленело окончательно, и перед глазами огненные круги.

Вдруг вытолкнул. Тьфу, сплюнул за борт. Сижу, дышу, отдуваюсь. Дух перевел, тогда спрашиваю:

— Ису Тетеас, нет ли в горле царапины?

Молчание.

— Ису, ису, радио у тебя заглохло, что ли?

Молчит. Что за причина?

И тут меня словно током ударило:

— А не упал ли он в море вместе с желудяком?

Я нырял до заката, я нырял весь следующий день, я вытаскивал горсти желудяк и каждый пробовал на зуб. Но, сами понимаете, все это было актом отчаяния. Найдешь ли иголку в стоге сена, пылинку на болотной ряске, монетку в песчаной куче? Если бы хоть радио у него говорило. Но, видимо, вода глушила волны. Первое время нам чудилось что-то вроде SOS, потом и эти сигналы смолкли. Вероятно, сели аккумуляторы. Ведь заряжался-то Тетеас от моей нервной системы.

Будь у него нормальный рост, может быть, он и выплыл бы.

Но три сантиметра в час, разве это темп для моря? Конечно, он не захлебнулся, дышать ему не требуется. Он остался на дне и лежит там и будет лежать, пока не проржавеет.

Ржавеет! Разумный ису, врач с высшим образованием. Исследователь. Автор идеи о людях будущего — волетворцах.

Нет справедливости в природе.

Я не мог успокоиться, не мог простить себе. Сокрушался. Клял себя. Нырял снова. Перебирал желудяки. Твердые рассматривал под микроскопом. Совал в них булавку с антенной. Мегатировал.

Попусту!

Конец мечте!

Граве старался утешить меня, говорил, что чертежи сохранились, на Чгедегде смонтируют другого эндохирурга, обучат его, проинструктируют, я получу другого лейб-ангела, который продолжит начатые исследования, сделает меня всесильным волетворцем.

Разве в одной мечте дело?

Друга я загубил, маленького, но самоотверженного, запрограммированного на любовь и заботу обо мне.

Часто ли встречаешь таких среди людей?

А чем отплатил я за заботу?

Потерял.

Потерял!

Люди уходят тоже. И забывается облик, голос, любимые выражения, манеры... Что остается надолго? Незавершенное дело.

Я постепенно забываю говор Тетеаса, его повадки и слова, стираются в памяти кадры с палочками, шариками, тяжами и овалами, но все чаще, все настойчивее думаю я о незавершенном: «Хочу, чтобы ты стал хозяином своего тела!»

— Ты хочешь быть талантом? Будь! Хочешь быть красавцем? Будь красавцем. Вообрази себя Аполлоном: пусть нос будет прямой, зубы ровные, плечи широкие, стройный стан, глаза большие, брови густые, лоб высокий! Еще выше, еще! Представь, какой именно! Напряги воображение, напряги волю!

— Не выйдет.

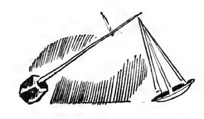
— А если попробовать, потренироваться, поднатужиться?

— Не выйдет все равно.

— А если нечеткую волю подкрепить техникой?

— Как?

— В том-то и дело — как?





Опрятность ума

Юленька, приезжай проститься! Торопись. Можешь опоздать.

Папа.

Она получила эту телеграмму на турбазе в торжественный час возвращения, когда они стояли на пристани, сложив у ног потрепанные рюкзаки, и подавальщица из столовой обносила героев похода традиционным компотом.

Поход-то был замечательный, такие на всю жизнь запоминаются. Семь дней они плыли по извилистой речке,

скребли веслами по дну на перекатах, собирали в заводях охапки белых лилий с длинными стеблями, похожими на кабель; так и гребли — в купальниках и с венками из лилий на волосах. Купались, пришлепывая слепней, словно булавками коловших мокрое тело; жгли костры на опушках; в черных от сажи ведрах варили какао и задымленную кашу, потом за полночь пели туристские песни, вороша догорающие угли, сидели и пели, потому что никому не хотелось лезть в палатки, отдаваться на съедение ненасытным, не боящимся никаких метилфталатов комарам.

Главное, группа подобралась дружная, всё молодежь, в большинстве студенты, народ выносливый, прожорливый, развеселый и занимательный, каждый в своем роде. Один был студент-историк, черный, тощенький и в очках, неистощимый источник анекдотов о греках, римлянах, хеттах, ассирийцах и о таких народах, о которых Юля и не слыхала вовсе. Другой — из театрального училища, ломака немножко, но превосходно читал стихи... Еще был один из Института журналистики; этот все видел, везде побывал; где не был — придумывал. Его так и прозвали: «Когда я был в гостях у английской королевы...» И еще человек восемь — всех не перечислишь. А девушек было всего трое, потому что в недельный поход на веслах мало кто решался идти. Старшая, Лидия Ивановна,— бывший мастер спорта, седоватая, но жилистая и выносливая; Муська — краснолицая и толстопятая, неуклюжая, но сильная, как лошадь, и она, Юлька, не тренированная, не жилистая, не могучая, но самая азартная — «рисковая», как говорили ребята. И была она самая изящная, и самая подвижная, и самая звонкоголосая, и песен знала больше всех: модных и забытых, русских народных, мексиканских и неаполитанских, туристских, студенческих, шоферских и девичьих сентиментальных — о нем, ее покинувшем, о ней, его ожидающей, о них, которые встретятся обязательно. Хорошо звучали эти песни у догорающего костра в ночной тишине, когда вся природа тебя слушает, над краснеющими, трепетно вспыхивающими, пепельной пленкой подернутыми угольками.

Конечно, все ребята были немножко влюблены в Юлю, все распускали перед ней павлиний хвост: для нее историк тревожил память хеттов, а артист перевоплощался в Пастернака и Матвееву, а журналист вспоминал и приду-

мывал свои встречи с королевами. И даже инструктор, молчаливый Борис, студент географического, тоже обращался к ней, показывая достопримечательные красоты. Явно на нее глядел в упор и не замечал, как вертится возле него Муська на привалах, как старается, накладывая миску с верхом, наливая третью кружку какао.

Все взгляды скрещивались на Юле, все острые словечки летели к ней. Она чувствовала себя как на сцене, в фокусе взглядов, взволнованная, напряженная, радостная. И от общего внимания становилась подтянутой, еще живее, еще острее, еще красивее даже. Так было всю неделю, вплоть до финиша, когда они выстроились над пристанью, сложив у ног опустевшие рюкзаки, сырые от брызг, росы и пота. Борис отдал рапорт начальнику турбазы, подавальщица пошла вдоль шеренги с подносом компота и тут какая-то маленькая туристка принесла Юле телеграмму, еще потребовала станцевать. Юля, подбоченясь, притопнула три раза, отклеила присохшую ленточку и прочла: «Торопись. Можешь опоздать...»

У ребят тоже было испорчено настроение из-за того, что Юля их покидала. Все пошли провожать ее на рейсовый автобус за четыре километра. Все были грустные. Все записали ее адрес, обещали навещать в Москве, и журналист занял ей место в автобусе, историк сказал что-то возвышенно-латинское, артист обещал пропуск в Художественный. А Муська расцеловала ее в обе щеки раз десять...

Потом стояли и махали долго, пока автобус не выехал на лесную дорогу, пыля и переваливаясь на ухабах. Еще некоторое время на прямом булыжном шоссе и даже на станции возле кассы Юля еще была с ребятами если не мыслями, то настроением. Как-то не сразу тревожная телеграмма вытеснила бодрость из ее души. Но в поезде в перестуке колес она уже слышала только одно: «Торопись, торопись, торопись...»

Пожалуй, нельзя так уж винить ее, что она не сразу перестроилась. Отец был для нее чужим человеком. Он ушел из семьи, когда девочке было четыре года, с тех пор Юля видела его раз или два в году. Свидания эти были всегда натянуты и скучны. Отец неумело расспрашивал девочку об отметках и подругах, она отвечала односложно, нехотя, не желая откровенничать с малознакомым, «посторонним» отцом. Ни подарков, ни конфет отец не

приносил никогда. Много позже Юля узнала, что так они условились с мамой. Юлина мать не хотела, чтобы отец превратился для девочки в праздничного деда-мороза, источник удовольствий, в отличие от будничной мамы. И до свиданий и после мать неустанно твердила Юле, что папа избрал себе в жизни легкую долю, посиживает себе в лаборатории, после пяти вечера свободен, гуляет сколько вздумается, раз в месяц присылает денежки — вот и вся его забота. И когда в жизни что-нибудь не ладилось, мама всегда говорила: «Если бы папа твой был человеком, заботился бы о нас как муж и отец...» Даже когда отчимы обижали маму (первый пьянствовал, второй был хитроват и скуп), она твердила, всхлипывая: «Если бы твой папа был настоящим человеком...»

Так что Юля не была расположена к отцу, и ничего не изменило последнее их свидание в Александровском саду под стенами Кремля.

Юля чувствовала себя на вершине славы тогда. Школу она кончила в Новокузнецке, где жил и работал ее второй отчим; одна приехала в Москву, сняла койку у какой-то старушки, зубрила, сидя на бульварных скамейках, сдала экзамены на два балла выше проходного, была зачислена в студентки педагогического и даже общежитие получила, добилась, хотя иногородних принимали неохотно в этот институт. Сама, без поддержки, без помощи, устроила свою жизнь... и лишь после этого получила записку от отца с предложением встретиться. Он, видите ли, был в Сухуми в командировке, не знал, что Юля в Москве, только что прочел мамино письмо.

Папа выглядел плохо, хотя и провел все лето в Сухуми. Постарел, щеки ввалились, седая щетина торчала над висками, как свалявшиеся перья, под глазами набрякли мешки. Юля даже пожалела бы его, если бы он не припес зачем-то пышный букет астр. Она не любила эти цветы, крикливо-яркие, вялые и непахучие. Букет был неумеренно велик, и няньки, которые пасли бутузов, копавшихся в песочке, глядели на Юлю неодобрительпо: вот, мол, бездельница, пришла среди бела дня на свидание к денежному старику.

Отец начал рассказывать о своей работе. Он занимался нейрофизикой, любил свое дело и на прежних встречах старался заинтересовать Юлю. Сейчас он сказал прямо, что раскрываются перспективы. Видимо, в ближайшем бу-

дущем тайны мозговой деятельности станут понятны. Но работы невпроворот, он уже стареет, хотелось бы оставить помощников, продолжателей... и как приятно было бы, если бы одним из продолжателей стала собственная дочь.

Но Юля ответила решительно, что она свою специальность выбрала не случайно, не куда попало подавала, лишь бы конкурс поменьше. Ее интересует не мозг, не нервы, а люди как целое: чувствующие, думающие, растущие. Дети занимают ее, а не клеточки их мозга под микроскопом.

Тогда отец заговорил о другом — о личных Юлиных удобствах. Он живет на даче один, три комнаты на одного. Чистый воздух, лес рядом, а до метро всего сорок минут. Выдался свободный час — встала на лыжи, от самой калитки лыжня. В доме Юля будет полной хозяйкой, и вместе с тем отец рядом. Не одна-одинешенька, в трудную минуту поддержка.

Юля молчала, прислушиваясь к шушуканью нянек. Скорее бы кончился этот томительный разговор, все равно не хочет она к отцу на дачу. И букет жег ей руки: она положила цветы на скамейку, на самый край. Подумала даже: «Хорошо бы столкнуть в урну незаметно».

Отец тяжко вздохнул и сказал, ковыряя палкой в песке:

— Если не лгать самому себе, мне просто хочется, чтобы ты жила рядом. Пока молод был, мог работать по восемнадцать часов в сутки, работа заполняла жизнь целиком. Сейчас посижу шесть — восемь часов и ложусь с мигренью, лежу один на пустой даче. Так хотелось бы, чтобы молодые голоса звучали рядом, хотя бы за перегородкой.

«А ты заслужил? — подумала Юля жестоко.— Когда сильным был, бросил меня на маму, а теперь тебе молодые голоса нужны».

Вслух она сказала другие слова, вежливые, необидные. Сказала, что в общежитии ей удобнее заниматься, рядом другие готовятся, проконсультируют. И к институту близко. А на дачу ехать поездом два часа ежедневно в прокуренном вагоне. На собрании не задержись, в театре не останься. Чуть застрянешь — иди в темноте лесом...

— А я такая трусиха, папа!

Но, честно говоря, не в трусости дело было и даже не в обиде за маму. Юля в первый раз в жизни жила одна, она так упивалась самостоятельностью. Так замечательно было жить по-своему, никого не спрашивая, тасовать часы

суток вопреки разуму: ночью танцевать, утром отсыпаться, вечером зубрить. Если понравилась кофточка, потратить на нее всю стипендию, две недели питаться только хлебом с горчицей да чаем. И в театр ходить когда вздумается, и знакомых выбирать по собственному вкусу, не согласуя с родителями. Зачем же, выскользнув только что из-под крылышка мамы, тут же соглашаться на опеку отца?

— А я такая трусиха, папа, я даже темной комнаты боюсь.

Отец не стал ее уговаривать. Поднялся сгорбившись, тяжело оперся на палку. Сказал грустно:

— Ничего не поделаешь: если бросил на маму, не рассчитывай на молодые голоса за перегородкой.

Такими словами сказал, как Юля подумала. И букет столкнул в урну.

Как будто мысли ее подслушал.

Впрочем, на Юлю он не обиделся. Раз в месяц звонил в общежитие, справлялся о здоровье и затруднениях. И деньги переводил по почте аккуратно, хотя не обязан был: Юля уже достигла восемнадцатилетия. Она даже хотела отказаться от денег во имя принципов самостоятельности, но не получилось. Папа подгадывал очень удачно, как раз дней за пять до стипендии, как раз когда студенты подтягивают кушаки, начинают рассуждать, что «обед — не гигиена, а роскошь». И друзья наведывались к Юле ежечасно, справлялись: «Не подкинул ли ей предок «тугрики»?» Просили: «Выдели трешку до стипендии, если не хочешь безвременной кончины...»

Целый год папа играл роль доброй феи и целый год подобно фее не появлялся на глаза. Юля ждала записки, начала даже подумывать, что из вежливости хоть раз надо навестить его на даче. Но зимой откладывала поездку до тепла, а потом шла сессия, потом надо было съездить в Новокузнецк, тут же «набежала» туристская путевка. И вот: «...приезжай проститься. Торопись. Можешь опоздать!»

Уже в поезде, услышав в перестуке колес «торопись, торопись», Юля заторопилась душевно. Ей стало стыдно, что она такая здоровая, так весело проводила время у костра, когда папа чувствовал себя плохо, посылал отчаянную телеграмму. И совесть начала ей твердить, что она виновата тоже: ради безалаберной вольности своей оставила в одиночестве больного отца, никто за ним не ухажи-

вает, никто не помогает. Может, он и выздоровел бы давно, если бы дочь была рядом. И Юля не могла усидеть на своей полке, все стояла у окна, высматривала километровые столбы: сколько осталось там до Москвы? У проводницы выспрашивала, не опаздывает ли поезд. В Москве даже не заехала в общежитие, оставила вещи в камере хранения, с вокзала побежала на другой вокзал. Охваченная тревогой, в электричке в тамбуре простояла всю дорогу; от станции через перелесок бежала бегом, обгоняя прохожих; справлялась, где тут дача Викентьева, пока какой-то парнишка с корзиной грибов, прикрытых для свежести кленовыми листьями, не переспросил ее:

— Это который Викентьев? Кого хоронили позавчера?

*

В душной, непроветренной комнатке пахло цветами и лекарствами. Склянки стояли на тумбочке у кровати и на письменном столе, на полках и на шкафу. Всю комнату заполонили лекарства, которые не помогли человеку... и пережили его. Под смятой кроватью валялись куски ваты и вафельное полотенце с бурыми пятнами крови. Казалось, больной недавно встал с кровати, перешел в соседнюю комнату. И только зеркало, занавешенное простыней, напоминало о том, что больной ушел навсегда.

Терзаясь запоздалыми угрызениями, Юля сидела на стуле, всхлипывая, держалась пальцами за виски. Теперь она корила себя за черствость и бессердечие, со стыдом вспоминала хор у костра. Может быть, папа умирал в тот самый час, когда она веселилась и хохотала. Может быть, думал о ней. А она ничего не чувствовала, ничегошеньки. А еще говорят, что сердце вещун, будто бы извещает о горе за сотни километров.

— Он ничего мне не передавал? — спрашивала она снова и снова.

У дверей, скрестив руки под передником на животе, стояла хозяйка соседней дачи, дородная, неряшливая женщина с усатыми бородавками. Сердитым голосом, многословно, с подробностями рассказывала она, как тяжко умирал отец и как трудно было ухаживать за ним ей, детной матери, отрываться от хозяйства и сада без надежды на благодарность, зная, что родственники к больному равнодушны, палец о палец не ударили, копейки не заплатят...

— А мне он ничего не передавал? — допытывалась Юля, готовясь услышать самые горькие упреки.

Хозяйка все уклонялась от ответа, подробно рассказывала о своих заслугах, которые, конечно же, останутся без благодарности. Только после четвертого раза ответила, поняв вопрос по-своему:

— Что он мог передать? Безрасчетный был человек, все деньги на стеклянные банки просаживал. Вся соседняя комната его рукодельем завалена: проволочки и стекляшки. Видимо, одна вещичка была ценная, велел дочери в руки передать. Мне поручил передать. Знал мою честность.

И, нехотя выпростав руки из-под передника, она протянула Юле плоскую картонную коробку. На ней круглым детским почерком (видимо, отец диктовал какому-нибудь школьнику) было написано:

«Девочка моя, передаю тебе мою последнюю работу. Носи на здоровье, вспоминай обо мне. Хотелось бы помочь тебе лучше понимать людей, чтобы не было у тебя в жизни роковых недоразумений, как у нас с мамой».

Юля открыла коробку — цветное сверкание ударило в глаза. Внутри лежала... диадема, повязка, кокошник (Юля не сразу подобрала слово), затейливо сделанная из цветных камешков и бисера. «Какой драгоценный подарок!» — подумала Юля в первую минуту. Потом разглядела, что диадема сделана из тонюсеньких проволочек, медных и серебристых завиточков, к которым были припаяны разноцветные кристаллики и разной формы радиодетальки. Все это было подобрано со вкусом, с узорами — своеобразное радиокружево, электротехническая корона. Видно, не один месяц отец трудился по вечерам, готовя это оригинальное украшение для дочери.

— На лоб одевается, — проворчала соседка обычным своим недовольным голосом. — А на затылке застежки. Мне-то она мала, на девичью головку делалось.

Юля приложила ко лбу, нащупала колючие застежки сзади, невольно бросила взгляд в зеркало. Очень шло это цветное сверкание к ее черным волосам.

И тут же услышала за спиной ворчание:

«Девка — она и есть девка, никакого понятия. Забыла, что комната покойника, сразу к зеркалу, занавеску — дёрг! Хорошо, что я ей этот пустой убор отдала, им, девкам, ничего, кроме нарядов, не нужно. А вещички все в подполе,

в подпол она не заглянет. Как уедет, я вытащу ужо шубу и что получше».

Юля вздрогнула. Так вот какова эта «самоотверженная» сиделка. Можно представить себе, сколько горьких минут доставила умирающему отцу эта жадная хищница...

— А где тут подполье? — спросила Юля.

— Нет никакого, не знаю, — ответила соседка. И тут же добавила зачем-то (странная женщина!) глуховатым шепотом: «Лаз я сундуком в коридоре задвинула. Не найдет она сама».

— Покажите, где вы задвинули лаз сундуком.

Юля потребовала показать сундук, отодвинула, заглянула в подвал. Не вещи ей были нужны. Не хотелось уступать этой жадине.

— И что вы успели к себе унести? — спросила она строго.

Какую-то удивительную власть приобрела Юля над этой пожилой женщиной. Та ничего не могла удержать при себе, тут же выбалтывала:

«Дура я, что ли, мебель тащить. Соседи мебель знают — увидят. Книжку унесла на предъявителя. Кто докажет, что не моя книжка?»

— Сберегательную книжку на предъявителя верните! — потребовала Юля.

— Какую книжку? — крикнула та. — Отвяжитесь от меня, не видала я никаких книжек. — И сама подсказала: «Какую? Потертую, с оторванным уголком. Ой, влипла я! И всех-то денег там двести рублей».

Юле стало противно.

— Ладно,— сказала она.— Уходите, и оставьте себе эти двести рублей за ваши услуги. Понимаю, что вы за личность. В милицию бы на вас заявить...

День Юля провела на даче, вынесла мусора ведер десять, помыла пол. Устала до полусмерти, но ночевать не осталась. Жутковато было провести ночь одной в пустом доме, где так недавно был покойник. Инстинктивно жутко, как ни уговаривала себя. И Юля ушла, как только начало смеркаться. Взяла с собой только радиодиадему. Не рискнула оставлять на даче. Еще соседка залезет и возьмет. Украсть не решится, но перепрячет со зла. А Юля решила носить это украшение почаще как память об отце.

Почему-то все встречные были на редкость разговорчивы сегодня. Глянув на нее, парни тут же высказывались о

ее внешности: «На лицо ничего себе, только тощая. Пойдешь танцевать — руки о кости исцарапаешь». Проходящая девушка хмыкнула неодобрительно: «Фасон устарел. Реглан нынче не в моде». Озабоченная хозяйка с тяжелыми сумками, глянув на Юлю рассеянно, тут же поделилась своими заботами: «Что же я забыла? Муку взяла, макароны взяла, масло растительное взяла, селедку взяла... Пиво я забыла, дуреха. Ну и ладно. Пусть мой пьяница сам за пивом бежит. Я и так руки отмотала».

И даже пожилой рабочий, такой углубленный в себя, и тот кинул Юле на ходу: «Цапфа шпиндель не держит, все дело в колодке. Колодка зажимает и тормозит. Так я и скажу на собрании: наш мастер скупердяй, на переделку не решается, экономит копейки — теряет тысячи. А цапфа шпиндель не держит».

Юля ничего не поняла, но кивнула из вежливости. Может быть, и правда цапфа шпиндель не держит...

Так всю дорогу: и на станции все заговаривали с Юлей, и вагон был наполнен гулом, хотя под вечер не так много было народу — под вечер люди больше едут из Москвы, а не в город. От гула болела голова. Юля нарочно села против дремлющей пассажирки. Дремлет — значит, помолчит, позволит подумать о своих делах, сосредоточиться.

И вдруг Юля увидела змей. Целый клубок, маленькие, черненькие, копошатся, никак не переступишь. И ядовитые ли, неведомо. Только подумала — тут же одна змея распухла, пасть раскрыла и, шипя, поползла к ней. Юля хотела бежать, но ноги были как ватные, переступали с трудом. Змея обогнала ее и, шипя, кинулась в лицо...

Женщина на скамейке напротив вскрикнула и широко раскрыла глаза. Змея растаяла в тумане.

— Кажется, я кричала во сне? Змея мне приснилась. Когда сердце болит, всегда снятся змеи. Кинулась на меня, а я убежать не могу — ноги как ватные.

И Юля чувствовала, что у нее сердце болит. И что она пожилая, расплывшаяся, с отекшими ногами, что ей тяжело дышать, передвигаться. И голова у нее мутная, и затылок трещит. Наверное, от этой тесной папиной повязки.

Она нащупала на затылке застежку, отстегнула...

И гул исчез, исчезла боль в сердце, исчезла толщина, ноги стали стройными и легкими, дышалось по-человечески...

Защелкнула опять: «Эта черненькая симпатичная на вид. Эх, сама я была такой когда-то, парни за мной хвостом...»

Отстегнула. Тишина.

Пристегнула: «Мой Федор красным командиром служил...»

Перед глазами незнакомый мужчина с пшеничными усами, на голове буденовка с красной звездой, шинель без погон, на петлицах квадратики. Самое удивительное, нежность чувствует Юля к этому усатому в суконном шлеме.

Отстегнула защелку — исчез мужчина и нежность исчезла.

И тут Юля поняла все: и сон про змей, и всеобщую болтливость, и загадочную откровенность вороватой хозяйки, и слова, продиктованные отцом: «Хотелось бы помочь тебе лучше понимать людей». Повязка из радиодеталей не была кустарным украшением — это был аппарат, читающий мысли. Никто ничего не мог утаить от Юли, никто не мог затаить против нее нехорошее.

«Интересно-то как!» — подумала Юля.

И еще подумала, прослезившись: «Бедный папочка. Себе-то он не помог. Не избежал «рокового недоразумения».

*

Недели три оставалось до начала занятий, и все это время Юля провела на даче, разбирая письменный стол отца. Теперь она жаждала узнать все, что он не успел рассказать ей при жизни, что она отказывалась слушать.

Отец не оставил последовательного отчета. Юля решила, что она напишет сама. Подобрала, разложила по папкам все, что относилось к чтению мыслей: выписки из книг и журналов, вырезки, служебную переписку, заявки, планы работ, вычисления, заметки, протоколы опытов, схемы. Почерк у отца был неразборчивый, схемы исчерканы и перечеркнуты, но мысли он излагал подробно, не конспективно, так что Юля постепенно разобралась в истории его изобретения. Викентором, по фамилии отца, Юля решила назвать аппарат.

Ее отец был радиоинженером по образованию, занимался усилителями для маломощных приемников. А на мыслепередачу обратил внимание после одного житейско-

го случая. Может, и не такой примечательный был случай, но сам он был героем. Личное производит больше впечатления, чем сотня прочитанных книг.

С группой товарищей инженер Викентьев написал учебник по радиотехнике и должен был получить гонорар — две тысячи сто шестьдесят три рубля, для скромного инженера сумма значительная. Заранее он решил, что мотать деньги зря не будет, всю сумму, до копейки, положит на сберегательную книжку. На дачу он копил тогда, на эту самую, где умер,— на свой дом с радиомастерской на чердаке. И вот в праздничном настроении он явился в издательскую кассу, расписался в ведомости с росчерком и получил кучу денег — две пачки по сто бумажек, заклеенных крест-накрест, с банковским штампом и подписью кассира, а кроме того, еще сто шестьдесят три рубля. Перешел, придерживая карман, через улицу, в сберкассу, как и было задумано, заполнил розовый бланк, вручил деньги, пришел домой, удовлетворенный, сознательный гражданин, хранящий деньги на книжке, а не в кубышке.

И вдруг телефонный звонок. Кассирша издательства. Спрашивает, все ли он получил правильно.



— То есть до копеечки.

— Вы проверили?

— Даже не я проверял. Сберкасса проверила.— Вынул книжку, прочел запись для убедительности.

— Ну, тогда ладно.

И, только положив трубку, отец хлопнул себя по лбу. Ведь в пачках-то лежали синенькие бумажки — пятирублевые. Значит, тысяча рублей в двух пачках, а не две.

Выходит, что издательская кассирша ошиблась, считая, что платит правильно, мысленно передала ему свою уверенность, а он, сохранив эту уверенность, внушил ее приемщице сберегательной кассы. Три человека ошиблись. Едва ли это случайность.

Поразившись, Викентьев начал подбирать подобные случаи, выспрашивал, вычитывал. Вскоре составилась внушительная картотека.

Вот примеры, выбранные наугад:

«227. В. А. — колхозница из Кустанайской области. Под утро, спросонок, услышала голос сына: «Мама, спаси!» Проснулась, даже во двор выбежала — никого! Только через два дня узнала, что сын ее чуть не утонул в тот самый час. Оттепель была, рискнул машину гнать по льду, провалился, чуть не затянуло под лед.

228. В. П.— молодой человек из Витебска, во сне услышал слова своей подруги: «Все тлен, Володя!» Юноша был так потрясен отчетливостью этих слов, что собрал приятелей и составил протокол о том, что такого-то числа и т. д. Через некоторое время узнал, что подруга умерла от тифа в Петрограде (в 1918 году дело происходило). Перед смертью произнесла эти самые слова.

229. Шестидесятые годы. Е., писатель, зимой приехал на дачу, собирался отдохнуть несколько дней. Вдруг почувствовал непреодолимое желание вернуться. Разогрел воду, залил, завел машину, в мороз и метель гнал сотню километров, чуть руки не отморозил. На пороге кинул жене: «Что случилось?» Она ответила растерянно: «Откуда ты знаешь? Я завтра хотела дать тебе телеграмму». Мать у него попала под трамвай.

230. К. В.—заведующая магазином. Брат и отец у нее погибли на фронте, муж пропал без вести. Утверждает, что ощущала все беды, но о муже не беспокоилась — чувствовала, что он здоров. Так оно и было: муж находился у партизан...»

Юля все это старательно переписывала округлым бисерным почерком, пока не заметила, что у отца не так много было оригинальных примеров, большинство он заимствовал у Васильева, Кажинского и других авторов книг по парапсихологии.

Но потом она нашла связку тетрадей, озаглавленных «Размышления», и тут уж постаралась воспроизвести каждую строчку.

«Почему бы нет? — писал отец на одной из первых страниц.— Отовсюду слышу, что мыслепередача невозможна, антинаучна, неприемлема для серьезного человека. Хочу разобраться для самого себя.

Есть у человека некая материальная система по имени мозг. Когда мозг работает — мыслит, в нем идут материальные процессы: химические, электрические и неведомые. Как полагается при всяких процессах, согласно второму закону термодинамики, происходит утечка энергии. При химических реакциях утекает тепло, при электрических — электромагнитные волны. Можно зарегистрировать эту утечку? В принципе можно. Чувствительные приборы достаточной чувствительности отметят, что поблизости идет мышление. Антинаучно? Пока нет!»

На следующей странице:

«Что же антинаучного в том, что такую чувствительность проявляет другой мозг? Многим машинам свойственна обратимость. Динамо и генератор одинаковы. Дай ток — динамо будет крутиться; переключи и крути — получишь ток. Вполне грамотно предположить, что один мозг, думая, выделяет тепло и волны, а другой, получая эти самые волны, производит подобные же думы. Типичная пара генератор — динамо».

В дальнейшем эта мысль развивалась:

«Когда машина работает интенсивно, побочных явлений — тепла, блеска, грохота — куда больше. Логично ожидать, что побочное излучение мозга сильнее всего при самой интенсивной работе — авральной. Но мозговые авралы бывают при аффектах, в минуты ярости, страха, когда организм мобилизуется при смертельной опасности, чтобы проявить чудеса ловкости и силы. Смерть перед тобой — экономить здоровье не приходится.

Что и соответствует примерам. Чаще всего мыслепередачу отмечают накануне гибели: «Все тлен, Володя!», «Мама, спаси, под лед потянуло!»

Перед лицом катастрофы организм выдает максимальную, небывалую мощь. Небывалую мощь может дать и сумма усилий. Экскаватор заменяет полк солдат с лопатами, полк солдат может заменить экскаватор. Не в том ли секрет настроений толпы, массовых психозов, заразительности паники или восторга. Вокруг тебя сотни глоток кричат «ура», волны ликования принимает твой мозг...

Агрегат, работая, выделяет энергию, эта энергия включает подобный агрегат, выдающий такую же продукцию. Пока не вижу антинаучности. Спорно, сомнительно, но почему же ненаучно?

Внимательно рассмотрим возражения противников:

Возражение 1.

Подлинная наука основана на опыте, который можно повторить и проверить. Все сообщения о мыслепередаче — это недостоверные слухи, собранные задним числом. Чаще всего самовнушение, изредка — случайные совпадения.

Мой первый ответ.

Опыты безупречны, когда имеешь дело с веществом, которое тает, замерзает и кипит при определенной температуре. Тут же перед нами исключительные люди в исключительных обстоятельствах. В жизни Пушкина была знаменитая Болдинская осень, может быть самая продуктивная в его жизни, когда задержанный карантином, стремящийся к невесте, он погрузился в творчество. Возьмем сто поэтов-женихов, поместим их на осень в Болдино. Есть гарантия, что мы получим сто вдохновенных поэм? А Пушкин есть среди них хотя бы один? И если опыт не получился, значит ли это, что вдохновения не бывает? Чтобы повторить мыслепередачу, надо бы взять сто сыновей и топить их в проруби под утро, когда их матери-старушки дремлют. И то нет гарантии на успех. Может быть, сыновья недостаточно перепугались, а среди старушек не нашлось гениальной перцепиентки. Но это же не означает, что гениальности не существует.

Возражение 2.

Телепаты говорят о передачах на расстояние в сотни и тысячи километров, то есть уподобляют мозг довольно мощной радиостанции. Но энергетические возможности мозга не так уж велики, они поддаются вычислениям. Можно подсчитать, что на сто километров не дойдет ни один квант.

Ответ 2.

Мне и это возражение не кажется сокрушительным. Оно было бы опасным, если бы речь шла о работе — о действии на расстоянии. Но для сигнализации иные правила. Лишь бы приемник уловил сигнал, усилить его он может за счет собственной энергии.

Возражение 3.

Сквозь череп электромагнитные волны не проходят, электромагнитной передачи быть не может. Другие же, новые, неведомые физике виды энергии не могут быть связаны со столь маломощным механизмом, как мозг. Для них нужно нечто, превосходящее ускорители Дубны и Серпухова.

Ответ 3.

Эта категоричность вызывает у меня глубочайшее сомнение. Неведомое может быть открыто мощными усилиями, может и сложными, тонкими. Организм не раз проявлял способность тонкими путями выполнять то, на что техника тратит сотни градусов и тысячи киловатт-часов. Заводы получают азот из воздуха с помощью электрической дуги, высокого давления, жара. Бактерии на корнях гороха делают то же и лучше без дуги, без жара, при атмосферном давлении.

И череп не препятствие. Ведь это не герметический ящик. Из него выходят нервы — зрительные, слуховые, чувствительные, двигательные. Каждый из них может служить антенной. Глаза как мыслеизлучатель, уши как мыслеизлучатель! Известно, что при мышлении электрические токи текут к языку, он готовится выговаривать слова. Вот и эти нервы могут служить излучателями — радировать в пространство невысказанное.

Глаза как излучатель! Не потому ли мы чувствуем чужой взгляд на своей спине?

Возражение 4. По Дарвину.

Если бы телепатия существовала, природа давно использовала бы ее. Антилопа слышала бы мысли притаившегося льва. И не нужен слух, не нужно обоняние, язык не надо вырабатывать обезьянам в процессе очеловечивания. И так понимали бы друг друга.

Контрвозражение 4.

Мне эти рассуждения по Дарвину кажутся очень серьезными. Вероятно, они и справедливы отчасти, но неверны в целом. Их нельзя распространять на весь животный мир.

Конечно, чтобы передавать мысли, нужно прежде все-

го иметь мыслящий мозг. Но мозг — позднее изобретение природы. Чувства — зрение, слух, обоняние — гораздо древнее.

Сначала дикторский текст, а потом уже передача в эфир.

Червяк передает червяку боль, лев льву — голодную ярость, а человек человеку — образы и слова.

На каком языке? Мысли иностранца поймешь ли?

И возможно, лев для антилопы иностранец.

Как видно, на каждое возражение находится контрвозражение — сомнения не разбивают основного: имеется биологический агрегат по имени мозг; работая, он выделяет энергию, часть ее утекает в пространство, ее можно в принципе улавливать, по ней настраивать похожий механизм — другой мозг.

И что я доказал (себе?). Доказал, что телепатия правдоподобна, может существовать в природе. Но существует ли?

Это только первая проблема. За ней следует вторая: что именно передается?

Передается только волнение (настроение толпы), только вопль о помощи или еще и содержание мысли — образы, слова.

Вот я стучу сейчас на пишущей машинке. Стучу! Стук — побочное явление. Я могу устроить так, чтобы машинка в соседней комнате, воспринимая мой стук, автоматически включалась и начинала печатать. Но что она будет печатать? Абракадабру? Чтобы та, чужая, машинка повторяла мой текст, надо мне каждую букву соединить со струной. Если «А» вызывает звук «ля», а «Б» — «си», а «В» — си-бемоль следующей октавы, вторая машинка, резонируя, сумеет повторять мой текст буква за буквой.

Не вызывает сомнения, что мысли человека сопровождаются электрическим шумом (аналогия стука машинки). Вопрос в том, есть ли в том шуме мелодия. Соответствует ли каждой мысли точный спектр?

Каждой мысли—спектр? Пять тысяч спектров, и у всех людей одинаковые? Едва ли!

Но положение облегчается, если спектр соответствует не мыслям и образам, а буквам и краскам. Звуков около полусотни, все многообразие мира глаз складывает из трех цветов — красного, зеленого, фиолетового. Полсотни звуков и три цвета могут иметь несложный телепатический код, единый для множества людей. Это уже правдоподобно.

Как же мы мыслим: картинами или цветовыми точечками, подобно художникам-пуантилистам? Мыслим идеями или словами, состоящими из букв?

Как мыслю я? Идеями или словами?

Классическое представление об ученом-искателе: астроном, вперивший взгляд в небо, проникает мысленно в тайны отдаленного мира, такого отдаленного, что он видится блесточкой на небе.

В моем положении что-то комическое, не поэтическое. Я сижу перед зеркалом, пальцем стучу себя по лбу. Вот она, тайна из тайн,— в одном сантиметре от моего пальца. Я мыслю, но не ведаю, как мыслю. «Как ты мыслишь?» — вопрошаю я свое Я. Молчит мое Я.

Здоровому помогают больные. Нужное мне объяснение нахожу в учебнике психических болезней, глава XVI — «Шизофрения». Описывается синдром Кандинского. Синдром — ученый термин, обозначает всю сумму болезненных признаков и ощущений общего происхождения. Так вот, при синдроме Кандинского психические больные слышат собственные мысли — набегающие, запоздалые, иногда через час или день, как бы записанные на магнитофон. Мысли произносит их голос, голос знакомых или чаще глухой, невыразительный шепот. Слова произносятся, буквы, фонемы...

Эту подсказку искал я. Люди думают звуками, словами. И если каждому звуку отвечает некий спектр электрических колебаний, он может быть передан слуховым нервом и принят слуховым нервом другого человека. А спектры цветовые будут передаваться и приниматься зрительными нервами.

Синдром Кандинского—ощущение открытости мыслей. Мысли больного произносятся вслух кем-то в его мозгу;

ему кажется, что мозг его прослушивается кем-то. Шизофреники, стало быть, испробовали то, что я хочу изобрести.

Взял я этого Кандинского в библиотеке. Участник русско-турецкой войны, ординатор больницы Николая-чудотворца в Петербурге, и жил-то всего сорок лет.

Описания больных интересны мне. Своеобразная репетиция. Эти шизофреники ошибались, считая, что их мысли прочитываются, но они чувствовали себя открытыми. Чувствовали себя так.

Как воспринимали открытость? По-разному, в зависимости от темперамента. Некоторые стыдились. Старались вообще не думать, чтобы невидимые шпионы ничего не подслушивали. Один бойкий молодой человек, врач между прочим, вступил в перепалку с невидимыми «штукарями за простенком», дразнил их, отругивался, даже открытки им посылал. Многие преисполнились величайшего самомнения. Еще бы: они особенные, избранники, в их мозгу центр таинственных передач, штаб тайных действий. Был один: считал свой мозг штабом восстания, себя — главой заговорщиков, собирающихся свергнуть китайского богдыхана, установить в небесной империи демократию. Целый роман построил с приключениями.

Открытость сама по себе ни плоха, ни хороша. Кому-то на стыд, кому-то на гордость.

Так обстоит дело с воображаемым синдромом.

В технике нужно еще открыть эту открытость.

Пока идет благополучно. И на этом этапе доказал (себе), что возможна содержательная телепатия, слова могли бы передаваться побуквенно, своеобразной азбукой Морзе, а образы — цветными точками, наподобие телевидения.

Могли бы! Но передаются ли?

И если передаются, то как: электромагнитными волнами или неведомой энергией?

Как открыть неведомое и как его усилить?

А может быть, усиливать не неведомое, а заведомое: чувствительность слуховых и зрительных нервов?»

В одном из стенных шкафов нашлась старенькая пишущая машинка, видимо, та, что упоминалась в записках. Стуча одним пальцем, потом двумя, постепенно набирая

темп, Юля перепечатывала строчку за строчкой, каллиграфическим почерком вписывала формулы. Зачем? Чтобы не пропали идеи отца. И просто так, для себя. Юле казалось, что она беседует с отцом; при жизни не успела, сейчас, казня себя, искупает вину. Интересный человек оказался: вдумчивый, рассудительный, требовательный к себе и самостоятельный. Ах, упустила Юля такого отца! Как хорошо было бы проводить вечера вместе, неторопливо рассуждая о людях и науке. И если бы рядом жила, лелеяла бы, не кинула в полное распоряжение хищницы-соседки, может, и выходила бы. Променяла отца на гам общежития, на беспорядочное расписание, на возможность всю стипендию потратить на кофточку.

Поздно умнеем мы! Поздновато!

И сейчас, как бы заглаживая вину, Юля остатки отпуска целиком посвятила памяти отца. Сидела над пыльными бумагами от рассвета до сумерек. Только под вечер, когда от неразборчивых строк и формул начинала трещать голова, Юля выходила проветриться. И обязательно с викентором на лбу. Занимательно было мимоходом заглядывать в чужие мозги. Юля сама с собой играла в отгадывание. Идет навстречу человек, кто он, о чем размышляет? А теперь включим аппарат. Ну как, правильно угадала?

Вот спешит на станцию девушка, востроносенькая, голоно́гая, тоненькие каблучки выворачивает на корнях. «На свиданье торопишься, девушка? Не беги, пусть потомится под часами, поволнуется...»

Включила.

«...Предел, к которому стремится отношение Δx к Δy. Предел, к которому стремится... Геометрически выражается углом наклона касательной. Вторая производная равна нулю в точках перегиба... перегиба... Производные-то я знаю. Вот интегралы — это гроб. Двойной, тройной в особенности. Попадется интеграл Эйлера, сразу положу билет. А производные — мое спасеньице. Минимум — минус, максимум — плюс...»

— Наоборот, девушка.

— Что «наоборот»? Я вслух говорила, да? Да, вслух, я волнуюсь ужасно. У нас режут подряд, не считаясь. Как же вы сказали: минимум — не минус?

— Вы запомните правило: если чаша опрокинута, из нее все выливается. Максимум на кривой — это минус, минимум — плюс.

— Из опрокинутой выливается. Спасибо, запомню. Держите кулак за меня.

— Ни пуха ни пера!

— Идите к черту!

Ритуал выполнен, таинственные духи экзаменов ублаготворены, двойка заклята, тройка обеспечена.

А вообще-то смутно знает эта девочка предмет. Не надо бы ей ставить тройку. Юля не поставила бы.

Плывет навстречу солидный сухощавый гражданин в пенсне. Портфель несет бережно, себя несет бережно. Лицо такое сосредоточенное, самоуглубленное. Вот у этого дяди интересные мысли, наверное.

Включила.

«Фу, как печет! Доберусь до дому, приму чайную ложечку, полторы даже. Не надо бы закусывать жирным, знаю же про кислотность. Сода тоже не панацея, от нее кислотность все выше. Сколько показал последний анализ? Через месяц опять кишку эту глотать. Фух!»

Вот тебе и дядя интересный! А вид такой проникновенный!

И Юля выключает прибор поспешно. Ведь она не только слова слышит, ей и ощущения передаются — в желудке костер, по пищеводу ползет тепло... Страдать еще из-за этого любителя жирной закуски!

«Для врачей, вероятно, полезен папин прибор,— думает она.— Не надо выспрашивать, внешние симптомы искать. Чувствуешь боли больного».

Постепенно она научилась отличать людей с мышлением логическим, словесным и с образным (художественные натуры). Логики мыслили словесно и редко сообщали что-либо содержательное, проходя мимо. Прохожие были как книга, раскрытая наугад. Мало вероятности, чтобы две строки, выхваченные из текста, заинтересовали сразу. Но натуры художественные всегда показывали интересное. Их мозг был полон иллюстрациями. Картинки можно рассматривать даже и в наугад раскрытой книге.

Головы детей были интересны в особенности. Они были набиты картинами, как галерея, как телевизор, точнее. Юля часами простаивала у решетки детского сада. Вот шестилетний малыш уселся верхом на скамейку: машет флажком, кричит: «Ту-ту!» А что у него в голове? Законченная картина железной дороги. Скамейка — это паровоз, он сам в темно-синей форме с молоточками на петлицах, но сидит

верхом на котле почему-то и держится за трубу. Рельсы бегут навстречу, льются под колеса голубыми канавками, расступаются телеграфные столбы. «Ту-ту!» Труба гудит, вскипает белый пар над свистком. Вот и платформа, наполненная народом. «Ту-ту!» Граждане, отойдите от края платформы — это опасно! Рука хватается за рычаг. Так-так-так, так-так... так! Замедляется перестук на стыках. Стоп! Двери открываются автоматически. Осторожнее, граждане, детей толкаете. Детей в первую очередь!

— Ну, а ты чем расстроен, малыш? Почему глаза трешь кулачками, подхныкиваешь?

— Фе-едька меня толкну-ул! Он здо-ро-овый и толкается!

— Ничего, скоро ты вырастешь, еще и не так толкнешь Федьку!

Прислушивается. Перестает хныкать. Улыбается все увереннее.

...У каждого целая фильмотека в голове, аппликации из картинок жизненных, книжных, телевизионных, и так воображением перекрашено, что не всегда разберешь, что откуда.

«Ну, а ты, лохматая собачонка, бегущая навстречу с поджатым хвостом, тоже воображаешь что-нибудь?»

Мир нечеткий, размыто-тускловатый, но густо пропитанный запахами. Запахи резкие, выразительные и очень волнующие: аппетитные, ласковые, тревожные, зовущие, пугающие.

Вдруг среди этих запахов чудище: великан на розовых столбах, белозубая пасть, вытаращенные глаза в темной шерсти. Заметил, уставился, вот-вот ударит своими розовыми столбами, пришибет насмерть.

Взвизгнув, собачонка кидается в сторону.

Юля смущена. Это она оскаленный великан с вытаращенными глазищами.

Такое искаженное представление! А люди считают ее хорошенькой.

Куры же, хоть и кудахтали болтливо, ничего не показали Юле. То ли картин не было в их курином мозгу, то ли по физиологии своей птичий мозг слишком отличался от человеческого, совсем иные сигналы посылал, не переводимые на наш код.

Прослушивать детские головы было интересно всегда, взрослые не всегда, а иногда даже и неприятно.

Юля отключила викентор, завидев на углу группу бездельничающих парней. Такого наслушаешься о себе!

А один раз было так: идет навстречу женщина средних лет, одета прилично, впрочем, все сейчас одеваются прилично. Лицо не слишком интеллектуальное, губы намазаны ярко, немножко поджаты. Чувствуется уверенность в себе. Эта в жизни сомнений не знает. Юля загадала: кто она? Наверное, маленькое начальство: кассирша на вокзале или парикмахерша из модного салона. Нужный всем человек, привыкла очередь осаживать.

И в мозгу женщины Юля увидела себя. И услышала комментарий:

«Вот еще одна вертихвостка. Ходит, дергается, думает, что на нее все смотрят. А на что смотреть: ноги как палки, коленки красные... цапля в юбке...»

Час целый стояла Юля перед зеркалом, даже всхлипнула. Ну почему же «цапля в юбке, ноги как палки»? Нормальные спортивные ноги, загорелые. Надо же! За что обидели?

Сама себе ответила:

«Кто сует нос в чужую дверь, прищемить могут».

В первый раз усомнилась тогда она в отцовском изобретении. А во второй раз — на вечеринке по поводу Мусиной помолвки.

Юля чуть не прозевала эту помолвку. Все сидела над черновыми записями на даче, в общежитие не заглядывала весь август. А там ее ждала открытка от Муси, туристской спутницы, о том, что им надо повидаться обязательно и очень срочно, во что бы то ни стало, потому что есть один секрет сверхсекретнейший, а какой, Юля не угадает ни за что.

Юля действительно не угадала. И отцовский аппарат ничего не сумел бы вычитать по открытке. Но Муся сама жаждала раскрыть тайну — при первом же телефонном разговоре сообщила секрет. Секрет в том, что она выходит замуж. За кого? Ни за что не угадаешь. За Бориса — их инструктора. Да-да, за Бориса! И они уже ходили в загс, подавали заявление. Когда распишутся, будет самая настоящая свадьба, а сейчас, кроме того, еще и помолвка, как в старину бывало. Только с помещением задержка: сама Муся — в общежитии, у Бориса комнатенка шесть метров, гостей не назовешь.

Почему-то Юля почувствовала легонький укол, совсем

легчайший. Нет, Борис ей не нравился: крепкий парень такой, спортивный, но очень уж молчаливый, все кажется, что ему и сказать нечего. Борис не нравился Юле, но она считала, что нравится Борису... И Виктору из театрального, и Семе-эрудиту, и бывалому Мечику.

Всем нравилась, а предложение сделали неповоротливой Муське.

Но Юля тут же пристыдила себя, обругала «воображалой», кинулась расспрашивать обо всех подробностях, предложила активную помощь в организации... и даже после минутного колебания предоставила дачу для вечеринки. Подумала было, что неделикатно через три недели после смерти отца устраивать веселье в его доме... Но отец был такой добрый. Умирая, заботился о ее счастье. Наверное, и для счастья другой девушки предоставил бы комнаты. Если так нужно для счастья Муси...

Два дня они бегали по магазинам, закупали закуски и деликатесы. Муся все искала крабы, потому что у ее сестры на свадьбе был салат с крабами. Мусе казалось, что без крабов и помолвка не помолвка. Крабов так и не нашли, но Юля спасла положение, сотворив по старинному, от матери заимствованному рецепту экзотический салат с кетой и апельсинами — такого даже у Мусиной сестры не было. Вино, как полагается, обеспечили мужчины, а Виктор принес, кроме того, магнитофон и раздобыл ленты с фольклорными туристскими песнями: «Умный в горы не пойдет», «Связал нас черт с тобой веревочкой одной», и «Про пятую точку», и «Бабку Любку».

Всего набралось человек двадцать: все москвичи из туристской группы, да девушки из Мусиного общежития, да приятели Бориса, да знакомый Виктора — владелец магнитофона, да любительница туристских песен, неприятная девочка Галя. В последнюю минуту посуды не оказалось. У отца, конечно, не было сервизов, а одолжить негде — Юля еще не познакомилась с соседями. Хорошо, что догадалась притащить мензурки из лаборатории — все разные, надбитые, совестно на стол поставить. Но вышло даже к лучшему — лишний источник веселья. Шутливые тосты: предлагаю выпить за жениха пятьдесят граммов, за невесту — сорок. Отмеривают, кричат «перелил», «недолил». За хорошую шутку наливали премию — десять граммов, за отличную — двадцать.

Вообще весело было. Пили, шутили, танцевали, слуша-

ли магнитофон, сами пели хором про пятую точку и про бабку Любку, ставшую туристкой. Разгорячившись, выходили в сад остыть; остыв, возвращались потанцевать — согреться. И Юля поспевала везде, всеми песнями дирижировала, всем шуткам смеялась, со всеми танцевала, была центром шума, как будто ее помолвка была, а не Мусина. Но нареченные, кажется, даже довольны были. Сидели на кушетке молча, держась за руки с видом блаженно-отсутствующим.

Виктор, театрал, читал с выражением стихи и все смотрел на Юлю. Мечик, журналист, рассказывал свои сенсационные байки и тоже смотрел на Юлю. Сема-эрудит тоже порывался привлечь внимание Юли, но его энциклопедические познания как-то неуместны были за веселым столом. Тогда он предложил отгадывать мысли — захотел показать старый математический фокус с угадыванием дня и месяца рождения: «Напишите на бумажке, прибавьте, убавьте, умножьте, разделите, припишите, покажите...» Но шумные гости путались в арифметике, фокус не удавался, все смеялись над возмущенно оправдывающимся Семой.

— Постойте, я вам покажу настоящее отгадывание! — вскричала Юля.

Но движения у нее были нечеткие. Одевая викентор, она погнула застежку, долго не могла наладить включение, потом прическу растрепала, прикрывая повязку аппарата. В общем, пока она приспосабливала прибор, гости уже забыли об отгадывании мыслей. Виктор, Мечик и Сема завели разговор о летающих тарелочках, отгадывать там было нечего; девушки, перебирая пластинки, толковали о достоинствах синтетики, а Муся с Борисом сидели на кушетке, держась за руки, внимали гаму с блаженно-безразличным видом.

«Вот чьи мысли послушать надо, — подумала Юля. — Узнаю, что чувствуют влюбленные».

И, лавируя между танцующими парами, пробралась к помолвленным.

«Хорошо! — услышала она от Муси.— Хорошо!»

Едва ли аппарат точно передавал ощущения другого человека, но Юля почувствовала исходящее от подруги тепло: не пыл огня, не откровенный зной солнца, даже не душный жар протопленной печи, а тепло вечерней ванны, мягкое и окутывающее. Вытянулась, распрямила усталую спину, успокоилась, нежится. И чуть кружится голова,

приятно кружится, не так, как от вина, все плывет покачиваясь, маслянистые волны убаюкивают. Хемингуэя вспомнила Юля: при настоящей любви плывет земля.

«Хорошо!»

В этом блаженном потоке Юля слышала только Мусю. А Борис? То же чувствует? Также плавает в теплых волнах? Слияние душ?

— Муся, можно я приглашу Бориса на один танец, на один-единственный?

Подруга кивнула. Она купалась в счастье, могла уступить пять минут. Доброта переполняла ее.

Борис танцевал плохо, водил, а не танцевал и потому думал о такте. Юля слышала, как он мысленно следит за мелодией, про себя отсчитывая: «Та-та, та-таа, та-та, та-таа...» Сам себе диктует: «Правее, сюда, сюда, поворот, ах ты, ногу отдавил... Из толкучки выбраться бы на простор, та-та, та-таа...» Юля поняла, что так она не услышит ничего интересного, надо направить мысли партнера:

«Муся очень любит тебя?»

«Еще бы!» — Борис самодовольно усмехнулся.

«А ты ее?»

«Само собой!»

Он не прибавил ни слова, поставил точку, но мысли его, направленные вопросом, потекли непроизвольно. Он же не знал, что аппарат выдает его.

«Что она привязывается, эта быстроглазая? — думал Борис.— Нравлюсь ей, что ли? Почему же не нравиться: я парень как парень и внешность ничего себе. Похоже, промашку дал в походе, не те «кадры клеил», мог бы профессорскую дочку отхватить и дачу в придачу. «Дачу в придачу»,— смешно получилось, складно. Впрочем, с дачницей этой хлопот не оберешься. Воображает о себе, претензий полно! Жить лучше с моей телкой. Влюблена по уши, ценит, ценить будет, все терпеть, все прощать. Так спокойнее. А тебя, быстроглазая, запомним, будем держать на примете...»

И это называется любовь!

Целый час ревела Юля в дальнем углу сада, за колодцем. Очень уж обидно было. Не за себя, не за Мусю даже — за то, что копеечное такое чувство называют любовью, принимают за любовь.

Нет, Мусе она ничего не сказала. Да Муся и не услышала бы и не восприняла бы, окутанная розовым облаком,

а услышав, не поверила бы, рассердилась бы на клеветнические выдумки, ушла бы прочь, объясняя клевету завистью подруги-предательницы.

А если даже и поверила бы, выбралась бы из своего розового тумана, увидела бы жениха при дневном свете, поняла бы, что обманывается, что счастье — мираж? И что хорошего? Разве любовь — телевизор: чик — включила, неинтересно — выключила, перевела на другую программу. Нет у Муськи других на примете, и не нужны ей другие. Бориса она любит, а не кого попало. Разоблачение этой любви для нее горе: когда еще исцелится, когда еще другого полюбит! И есть ли гарантия, что другой будет светлее Бориса? Трезвость придет, со временем Муся раскусит своего спутника. Но до той поры будут медовые месяцы, пусть воображаемые, но медовые. Зачем же урезывать срок хмельного миража?

Может быть, и всякая любовь — мираж. Юля не знает, еще не набралась скептической житейской мудрости. Теперь наберется, у нее аппарат, разоблачающий всякие миражи.

«Ах, папа, папа, мудрый и наивный, какую же жестокую штуку ты придумал! Жестокую и наивную! Помочь ты намеревался людям, хотел, чтобы не было недоразумений, как у тебя с мамой. Ты полагал, умный психолог, что вы не можете выяснить отношения словами, слова у тебя невыразительны, а если бы мама прочла твои умные мысли, она восхитилась бы, поняла, какой ты хороший. Да полно, обманывался ты. Мама отлично понимала тебя, но не сочувствовала, не одобряла. Она на мир смотрела иначе. Для нее Вселенная делилась на две части: внешнее и квартиру. И муж, по ее ощущению, должен был трудиться во внешнем мире, чтобы наполнять квартиру вещами добротными и красивыми — гарнитурами, абажурами, сервизами для горки, эстампами для стенки, чтобы приличным людям можно было показать, похвалиться: вот какой муж у меня — талантливый добытчик, как всё умеет доставать удачно и выгодно. А ты, я от мамы слыхала не раз, квартиру считал ночлежкой: приходил к полуночи, выспался — и прочь! Ты мог отпуск провести в лаборатории, ты мог премию потратить на приборы, еще и зарплату прихватить. Не словесные были у вас недоразумения, брак был недоразумением. И, читая мысли, мог ты это понять еще до свадьбы. И не был бы несчастлив в жизни, но и счаст-

лив не был бы в первые годы. Что лучше: плюс и минус или ноль — спокойный, пустой, сплошной ноль?

Ты хотел прояснять и сглаживать, улаживать ссоры, вносить покой. Но твой прояснитель разоблачает, обличает, это аппарат-прокурор. Он развенчивает, обнажает, показывает нагие души, неприглядные в своей наготе, голую истину. Полно, истина ли это? Что есть истина о доме: фасад с резными наличниками или курятники на задворках? Что есть истина о художнике: отпечатанное издание или черновые, первоначальные наброски? Гоголь каждую страницу переписывал восемь раз, Толстой — тринадцать раз. «Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды»,— сказал Маяковский. А мысли — руда словесной руды, черновик черновика. Слово — окончательное изделие, пустая порода остается в черепе. Так нужна ли эта пустая порода людям, зачем ее обнародовать? Разве пустая порода — это истина о стали? Это не истина, папа, не разъяснение, даже не разоблачение, это очернение. Прибор-очернитель изобрел ты, папа.

Так стоит ли хранить его на земле, этот прибор-очернитель, беспощадный и в плохих руках небезопасный? Колодец рядом, положить руку на сруб, разжать пальцы... Всплеск — и конец опасениям. Жалко твоих трудов, папа, но ведь ты ошибся, двадцать лет ошибался.

А я не ошибаюсь сейчас, не ошибусь, разжав пальцы?..»

Та ночь прошла, наступило духовитое утро, густо пропитанное ароматами смолы, хвои, цветов и сырой почвы, переполненное оглушительным щебетом, жизнерадостным гомоном суетливых пичуг, нарядное пестрое утро с круглыми тенями листьев на дорожках, косыми лучами, пронизывающими кроны, и на сцене появилось еще одно действующее лицо: Кеша, 26 лет, выглядит моложе своего возраста.

Худощавый, веснушчатый, с тонкой шеей, коротко стриженный, почти под машинку, он действительно выглядел мальчишкой. И разговаривал он как-то по-мальчишески оживленно, с непривычной развязностью. Потом выяснялось, что это не развязность. Очень занятый, увлеченный, Кеша пренебрегал условностями, не думал, как он выглядит со стороны, как принято выглядеть.

— Кеша,— представился он по-мальчишески.

Юля удивилась: что за бесцеремонность? Она же не знала, что гостю не нравится его взрослое имя Иннокентий.

— Дача Викентьева эта? — спросил он.— Впрочем, я проявил ненаблюдательность. Вы, конечно, родная дочка. Очень похожи, как вылитая. Даже странно видеть черты Викентия Гавриловича в девушке. Я из того института, где Викентий Гаврилович работал последние годы. Мы очень интересуемся, не остались ли материалы...

— Нет,— отрезала Юля,— не остались.

Безбровое лицо посетителя выразило чрезвычайное удивление.

— Нам известно,—сказал он, помолчав,— что в последнее время Викентий Гаврилович работал над волнующей проблемой. Он был на пути — не скрою от вас — к дешифровке мыслительных процессов, к чтению мыслей, говоря проще. Вы понимаете, как это важно и нужно...

— Не понимаю!

Удивленные глаза раскрылись еще шире.

— Не понимаю,— повторила Юля.— Ну что вы уставились? Да, не понимаю, что нужно и важно читать чужие мысли. Мало ли у кого что копошится под черепом. Подглядывать и подслушивать некрасиво—так меня учили в детстве. Вот мой дом, резные наличники — любуйтесь, а курятники на задворках вас не касаются. И в комнаты я не зову — я еще не прибирала с утра. И не хочу пускать в голову — там неприбранные мысли. Для вас, постороннего, существуют слова, умытые, причесанные, прилично одетые. А мысли мои оставьте в покое — это моя собственность.

Гость не был подготовлен к такой атаке.

— Но для науки очень важно во всех подробностях понять мышление. Тут полезны всякие сведения...

— Это уже не сведения, а сплетни,— прервала Юля.— А кто сует нос в чужую дверь, может остаться без носа. Кто подслушивает, может услышать всякие пакости, и о себе тоже...— И добавила, боясь, что выдает себя запальчивостью: — Впрочем, отец ничего мне не говорил о материалах.

Весь этот разговор шел на крыльце. Юля стояла на площадке, облокотившись на перила, гость — на нижней ступеньке. В комнаты его не приглашали, намекали, что надо уйти... Но, видимо, и Кеша обратил внимание на по-

дозрительную запальчивость. Он переминался с ноги на ногу, медлил...

— Мы были уверены, что у Викентия Гавриловича есть практические достижения. Незадолго до... кончины он демонстрировал нам такие поразительные опыты...

— Папа просто умел отгадывать мысли. У него дар был такой, талант, особая наблюдательность, как у Шерлока Холмса.

— А вы не унаследовали этот талант?

— Только отчасти. Вот сейчас, например, я читаю в вашей голове, что вы мне не верите, придумываете, что бы еще спросить. Верно же? А у меня ничего нет, никаких приспособлений...— Нечаянно Юля провела рукой по лбу.— И если бы вы сами обладали таким же даром, вы бы поняли, что мне некогда, у меня уборка, дел по горло...

Тут уж нельзя было не проститься.

Гость простился, взяв ни к чему не обязывающее обещание поискать записи покойного отца.

Дошел до калитки, потоптался, потоптался там и почему-то вернулся опять.

— Я все думаю о ваших словах,— сказал он,— насчет задворок, курятников, черновиков и прочего. Возможно, вы правы, в отношениях между взрослыми не нужны черновики, можно объясняться набело обдуманными словами. Но вот дети — они еще не умеют выражать свои мысли. Их трудно понимать докторам и учителям тоже. У меня есть одна знакомая учительница, она никак не может научить детей думать. Они ее не понимают, она их не понимает. Может быть, вы согласились бы проявить свой талант унаследованный, помочь моей знакомой разобраться в головах учеников.

И Юля сказала:

— Да!

Почему она так легко согласилась? Может быть, потому что сама она училась в педагогическом, ее интересовали ребячьи головы. Потому, может быть, что птахи щебетали так жизнерадостно, в такое утро мир не казался безнадежно грустным. И Юле самой не хотелось перечеркнуть двадцатилетние мечты отца, хотелось уважать и гордиться им, а не считать наивным прожектером. Но только пусть ей докажут, что отец не ошибался, и докажут убедительно!

Школьники в темно-серой форме неслись вниз по ступеням и перилам, воинственно размахивая портфелями.

Они неслись с ликующими воплями, как будто их держали здесь не четыре часа, а четыре года по крайней мере, и вдруг неожиданно они вырвались.

Там и тут возникали потасовки, портфели сшибались в воздухе, сыпались на пол учебники и пеналы, веером разлетались тетради.

— Сумасшедший дом! — сказал Кеша.— Неужели и мы были такими? Видимо, были. Ведь я в этой же школе учился.

Его знакомая — Серафима Григорьевна, Сима,— оказалась тощенькой чернявой женщиной с несвежей кожей и уныло-плаксивым выражением лица. «И что он нашел в ней?» — подумала Юля невольно. Сима была очень мала ростом, даже и это осложняло ей школьную жизнь. В толпе ее толкали бесцеремонно. Приняв за подружку, некий верзила-девятиклассник хлопнул ее по спине, скороговоркой пробормотал: «Звините Серагорня» — и спрятался за товарищей. Сима вспыхнула и произнесла возмущенную речь. Она была уверена, что этот усатый проказник нарочно обознался.

— Я буду очень благодарна, если вы что-нибудь найдете в их головах,— сказала она Юле унылым голосом.— Но, по-моему, они просто не хотят думать. Вбили себе в головы, что механика им не попадобится. И просто ленятся, не желают напрягать мозги.

В классе физики были столы, а не парты; учительница находилась на кафедре, на возвышении, где удобно было показывать опыты. Впрочем, кафедра Симе не нравилась, подчеркивала ее малый рост, заставляла весь урок стоять на ногах, раздражала. Так, раздраженным тоном, учительница и начала урок.

— У нас сегодня гости,— сказала она.— Они будут наблюдать, как вы воспринимаете. Ведите себя хорошо, слушайте внимательно.

Прозвучало это почти жалобно, словно безнадежная просьба: хоть сегодня, при гостях, ведите себя прилично.

Юля, как бы поправляя прическу, включила под косынкой мыслеприем и услышала: «Что за гости? Методисты из районо, что ли? Молоды для методистов. Практиканты, наверное. Ну, практикантов бояться нечего».

Тем не менее присутствие посторонних насторожило

класс, ребята настроились на внимание. Урок начался в деловой тишине.

— Сегодня у нас трудная тема,— так начала Сима.— Мы изучаем понятие массы. Масса — это особая физическая величина, смысл которой будет выясняться по мере дальнейшего прохождения курса. Масса проявляется при взаимодействии тел. Если мы, например, возьмем два тела, две тележки, нагруженную и пустую, и столкнем их, мы заметим, что нагруженная тележка движется медленнее. Про тела, которые движутся медленнее после взаимодействия, говорят, что они массивнее. Иначе говоря, массы обратно пропорциональны скоростям взаимодействующих тел. Масса измеряется в граммах, килограммах, тоннах. За единицу измерения массы принимается масса платино-во-иридиевого эталона, который находится в Палате мер и весов...

Юля сидела не на кафедре, а возле первого стола. В сферу действия викентора попадало несколько учеников: вертлявый мальчик с черными глазами, то и дело менявший позу; рослая, невозмутимая девочка с низким лбом и длинными ресницами, которая весь урок играла своей косой; другая, старательная, остроносенькая, с бисерным почерком. Мысли остальных доносились издалека, как бы вырывались репликами из общего гула.

Учительница рассказала про массу, потом про плотность, объяснила, как по плотности вычисляется масса, выписала формулы на доске, а Юля следила, как всё это отражается в головах.

Сталкивающиеся тележки представили все: либо дрезины, либо вагонетки, либо игрушечные вагончики на комнатных рельсах. У вертлявого мальчика тележка, столкнувшись, встала на дыбы, полетела под откос и взорвалась, окутавшись черным дымом.

Массу не представил себе никто, записали в мозгу буквами: «Масса». Девочка с бисерным почерком запомнила: «Масса — это особая физическая величина». Все остальные обратили внимание на слова: «Смысл ее выясняется при дальнейшем прохождении курса» — и решили: «Объяснят потом, можно не стараться понять».

Но из этого нечто «потом объясняемого» возникала еще какая-то плотность, которую надо было высчитывать: деля или умножая? Деля или умножая? Не поймешь. Дома выучится. Авось не спросят.

И тележки откатились в туман, увозя на задний план сознания непонятное слово «масса». Мысли побрели в разные стороны, у каждого в свою.

Одна голова зацепилась за рельсы. Рельсы удлинились, изогнулись, забрались под стол, сделали великолепное ответвление в переднюю и ванную. Затем владелец железной дороги подумал, что стрелок ему не хватит, и занялся расчетами: сколько ему подарит бабушка ко дню рождения, сколько можно выпросить у другой бабушки и сколько на все это купится стрелок, прямых и кривых.

Девочка, игравшая косой, мысленно делала себе прически: «конский хвост», и «воронье гнездо», и «я у мамы дурочка», как у соседки с пятого этажа. Юля услышала еще много занимательного о футболе, любви и дружбе, сплетницах, драках, летающих моделях, лепке и третьей серии «Неуловимых»; о массе и плотности — почти ничего.

— Кудрявцев, что я сказала? Повтори.

— Вы сказали, что плотность грунта имеет значение для сооружений.

Блестящая механическая память. На самом деле этот мальчик читал под партой, но краем уха уловил последние слова.

— А что такое плотность?

Молчит. Прозевал. Или уже забыл предпоследнее.

— Миронова, объясни ему.

— Плотность — это когда масса делится...

— Делится?

— Умножается *(гадает)*.

А в голове: «Ну что она ко мне привязалась? Вот не повезло. Пятнадцать минут до звонка».

— Верейко (девочка с косой), что такое масса?

Молчит с пренебрежительно гордым видом. В голове: «Масса? В общем, это когда сталкиваются тележки. Сказать про тележки? Да ну ее! Ляпнешь невпопад — мальчишки гоготать будут».

— Вы непонятно объяснили, Серафима Григорьевна. Я дома лучше по учебнику выучу.

Кеша наклонился к Юле, спросил шепотом:

— Почему до них не дошло? Вы разобрались?

Чтобы не шептаться, Юля написала ему:

«Они мыслят конкретными примерами, картинками, незнакомое привязывают к знакомой картинке. Им непонятны условно-логические построения: некая величина M,

смысл которой выясняется в дальнейшем, при делении на *V* дает плотность *p. M* не представили, остальное не услышали».

Кеша поднялся:

— Серафима Григорьевна, можно я попробую еще раз объяснить?

— Пожалуйста *(с явным неудовольствием)*.

Волна внимания поднялась, когда новый человек появился на кафедре. Смена действующих лиц, некое разнообразие.

— Я расскажу вам, ребята,— так начал Кеша,— о старинном, стариннейшем затруднении, с которым столкнулись наши предки в самые древние времена, столкнулись, решали и не решили до сих пор. Трудность такая: как сравнивать несравнимое? Что общего во всем на свете: в мальчиках, девочках, партах, стенах, воздухе, воде, атомах и звездах. Какой мерой мерить их?

— Сантиметром,— сказал басистый верзила из заднего ряда.

— Атомы — сантиметром? И звезды? Времени у тебя многовато.

Аудитория расхохоталась. В головах возникли картинки: поднявшись на цыпочки, верзила сантиметром измеряет солнце. Интерес был завоеван.

— Вот теперь представьте себе, ребята, что вы древние греки (Юля увидела целую картинную галерею: дискоболы, Геркулесы, Афродиты, прямоносые греки в хитонах. Девочка с косой представила себя с античной прической — стоячий пучок, пронизанный шпилькой) ...и поручено вам нагрузить корабль зерном, вином, маслом, свинцом. Хватит. Зерно и вино возили тогда в кувшинах. Купили кувшины. Как рассчитываетесь? Поштучно. За два кувшина в два раза больше денег. Запомнили. Первый счет был на штуки. Один кувшин, два... Но потом вы покупаете зерно, вино, масло. Как тут считать? Ведь зернышки пересчитывать вы не будете, капельки масла тем более. Как быть? Как сравнивать?

— Кувшинами! — догадался подвижный мальчик с первого стола.

— Правильно, молодец, годишься в древние греки. Кувшинами можно мерить несравнимое, или, говоря по-научному, объемом. Ну вот, накупили вы зерна и масла, купили, кроме того, еще свинца и меди, тоже наложили



Юля представила себя в Древней Греции...

в кувшины, нагрузили на осликов по два кувшина, пустились к морю. Ослики с зерном идут бодро, с медью и свинцом валятся. Почему?

— Тяжело!

— Выходит, плохо сравнивали: по два кувшина на каждом, а грузы разные. Как же сравнивать нам зерно со свинцом?

— Взвешивать.

— Точно, сравнивать по весу. И вы не думайте, что я вам излагаю занимательную сказку — так история развивалась: сначала сравнивали предметы поштучно, потом по объему, потом по весу. Вес оказался самой удобной, самой универсальной, самой надежной мерой для любых предметов на Земле... на Земле, на Земле, повторяю. И всех он устраивал — греков, римлян, арабов, итальянцев, пока не появилась наука о небе — астрономия. И поняли люди, что на других планетах, в мире планет вообще, вес — нечто ненадежное, нечеткое, изменчивое. Вот я, например, на Земле вешу шестьдесят кило, на Венере весил бы пятьдесят, на Марсе — двадцать пять, а на Юпитере — триста. Значит, для планет вес как характеристика не годится. Тут нужно другое, более постоянное. Вот это более постоянное и есть масса...

— А масса — окончательная мера? Нигде не подводит?

— Прекрасный вопрос, мальчик! Вижу, что слушал и все понял. Нет, масса тоже подводит иногда. Ты узнаешь об этом позднее. Масса растет при очень высоких скоростях. Когда скорость приближается к скорости света, масса растет, удваивается, утраивается, удесятеряется и так далее — до бесконечности. Так что караван твоих осликов нельзя было гнать со скоростью света: они валились бы под нарастающим грузом. Так и условимся: вес — надежный измеритель для Земли, масса — надежный измеритель для досветовых скоростей.

— А нельзя ли?..

— Что? Не придумал еще? И не торопись, друг, еще на свете никто не придумал более универсальной меры, чем масса. И тебе с наскока не удастся. Вырастешь — узнаешь все, что люди узнали, тогда и предлагай.

В голове у парнишки, у непоседы с первого стола, заманчивая картина. Он стоит на кафедре в синем джемпере, таком же, как у Кеши, в очках, как у Кеши, даже с веснушками, как у Кеши. Водит указкой по доске и гово-

рит внушительным голосом: «Мною найдена мера, более надежная, чем масса. Масса — устаревшее понятие, его надо исключить из учебников физики: не забивать голову школьникам этой малопонятной величиной...»

Физика была на последних уроках, пятом и шестом. Сима отвела своих питомцев в раздевалку, постояла там, предотвращая дуэли на портфелях; Юля с Кешей дожидались ее во дворе. Потом они пошли вместе в метро. Юля начала во всех подробностях рассказывать, что́ она увидела под прическами будущих Ньютонов, и Кеша расспрашивал ее с жадным интересом, а Сима слушала невнимательно.

Они простились у вестибюля метро, того, что открывает вход на бульвар выгнутой аркой. Сима сказала торопливо:

— Я очень благодарна твоей знакомой, Кеша, и тебе за импровизированную лекцию. Но я, к сожалению, не имею права так вести занятия. Есть утвержденная программа: массу мы проходим сейчас, вес — через месяц, теорию относительности — в десятом классе. Нельзя ссылаться на вес: дети его еще не прорабатывали.

— Но они же знают, что такое вес? — вырвалось у Юли.

Учительница посмотрела на нее с усталой безнадежностью («Что спорить с упрямцами, не понимающими очевидных истин?» — было написано в ее взгляде), протянула руку и исчезла за тугими дверями метро. Кеша остался с Юлей, вместе с ней вышел на крутой изгиб тенистого бульвара. Скамейки пустовали в этот промежуточный час; молодые мамы уже покатили домой колясочки, пенсионеры еще не явились со своими фанерками, по которым так лихо стучат костяшки. Третья же смена скамеечного населения — влюбленные еще досиживали свои трудовые часы в аудиториях и канцеляриях.

— Почему же вы не пошли провожать свою знакомую? — спросила Юля не без раздражения. Ей не понравилась унылая Сима. И даже было обидно, что этот инженер со своим живым умом интересуется такой невзрачной, незначительной женщиной.

— Симе не до меня,— сказал Кеша.— Она сейчас в детский сад спешит за близнецами, накормит их, потом к мужу помчится за город. Муж у нее несчастный человек,

способный, но больной психически. Каждый год месяца четыре проводит в больнице.

«А ты тут при чем? — чуть не ляпнула Юля.— Кто ты в этом семействе? Отвергнутый соперник и верный слуга несчастливой жены?»

Юля не сочувствовала безнадежно влюбленным. Ей представлялась жалкой смиренная верность без надежды.

— Симе трудно живется. Ей помогать надо,— сказал Кеша.

— И вы помогаете всем, кому трудно?

— Рад бы. Но разве это в моих силах? Помогаю тем, кого слышу. Но ведь иные молчат про свои беды, таят за черепом. Как хорошо бы слышать! Вот идет человек по улице, у него горе. И всякий встречный может отозваться. С Симой легче: я ее с института знаю, понимаю, чем помочь.

Под зеленым особняком на горке толпились мужчины. С балкона им выкрикивали очередную новость, а стоящие внизу, оживленно гудя, обсуждали ее, сгрудившись тесными группками. Здесь, в Шахматном клубе, решалась судьба очередного чемпиона. Наверху доигрывалась партия, внизу болельщики разбирали варианты, вставляя фигурки в карманчики дорожных досок.

— Не думаю, что мы помогли вашей Симе,— сказала Юля.— Дело не в программе, а в манере изложения. Дети, как правило, мыслят конкретными образами, художественно. Абстрактное мышление шахматиста у них встречается редко. Им трудно запоминать условные связи между условными буквами. Но это известно всем педагогам, вашей Симе тоже.

— Сима замотана до чрезвычайности,— оправдывал свою соученицу Кеша.— Ей помочь надо, разгрузить, она соберется с мыслями.

— Боюсь, что там собирать нечего. У вашей Симы просто нет нужных образов, тех, что у вас нашлись на уроке.

Обсуждая эту тему, они прошли до конца бульвара и пересекли площадь с двумя Гоголями. Один, бодрый и моложавый, стоял во весь рост прямо против выезда из тоннеля, как бы дирижируя сложными автопотоками: эти левее, эти по кругу, эти по петле. Другой, грустный и подавленный, пригорюнившись, сидел во фруктовом саду возле старого особняка, где он сжег свой неудавшийся ро-

ман. Сидел и грустил: «Ах, не все получается в жизни, что задумывалось...»

— Вот яркий пример,— сказал Кеша.— Тысячи читателей с нетерпением ждали второй том «Мертвых душ», а когда Гоголь жег рукопись, никто не слышал. Никто не прибежал, чтобы за руку схватить, хотя бы из камина выхватить полуобгорелые тетради — восстановить можно было бы потом. А Гоголь сжег рукопись в минуту душевного упадка, потом жалел, возможно, умер от огорчения. Надо, чтобы люди слышали чужие переживания. Мыслеглухота способствует равнодушию. Кто-то рядом горюет безмолвно, а я шагаю мимо самодовольный, погруженный в пустячки.

Теперь они шли переулком мимо музыкальной школы. Окна были распахнуты на всех этажах по случаю теплой погоды, на улицу лились беглые гаммы, пронзительные вскрики флейт, скоробежка рояля. Юля подумала, что она не хотела бы жить в этом переулке. С утра до вечера настройка, приготовление к музыке, ошибки, музыкальные черновики.

— В мозгу у нас черновики, подготовка к устной речи, настройка,— сказала она.— Зачем слушать пустяки — мало ли что кому в голову взбредет?

— Надо хотя бы общий тон слышать,— настаивал Кеша, — слышать, что люди радуются, встревожены, спокойны. В городе тревожно — я должен тревожиться со всеми.

— А я не хотела бы слышать постоянный гул чужих мыслей. Получилось бы, как возле этой музыкальной школы: все пробуют, все болтают, каждый пустяк вслух, голова болит от шума.

И еще один бульвар прошли они, еще две площади пересекли. На одной стоял Тимирязев, прямой и строгий, на другой — Пушкин задумчиво поглядывал на «племя молодое, незнакомое», которое неслось мимо на своих бензиновых каретах по всему пространству, некогда занятому Страстным монастырем.

— Вот Пушкин,— сказала Юля.— Пушкин — величайший поэт, у него каждая строчка совершенство, ювелирное изделие. И мне нет дела, как он полировал свои строчки, заменяя точные слова точнейшими. Велик окончательный Пушкин, а предварительный может быть и так себе, на посредственно. Дайте же людям довести свои мысли до

блеска, не заставляйте их обнародовать все предварительные кособокие заготовки.

— Но ученые изучают черновики Пушкина,— настаивал Кеша.— Их интересует ход мысли мастера. И пожалуй, это и есть самое нужное в чтении мыслей: понять, как думают мастера, поучиться думать у великих. Может быть, вы и правы: у таких, как Сима или я, нет настоящего умения учить, но есть же великие педагоги. Как великий педагог ведет урок, как великий ученый идет к открытию? Слушайте, Юля, давайте поищем великих. И не зарывайте вы свой талант после первой неудачи. Я поищу современных гениев, попрошу, чтобы они разрешили заглянуть в их мозг, их мыслительную лабораторию. Какие гении вас волнуют? Поэты. Я найду поэтов.

— Композитора я послушала бы. Как у него рождаются мелодии?

— Юля, нельзя бросать это дело! Композитор, поэт, педагог... Давайте составим список. Кто еще? Математик. У них особое мышление — абстрактное. Художник — противоположное мышление. Инженер-конструктор. Крупный администратор. Боевой генерал...

— Изобретатель,— подсказала Юля.

— Изобретатель, конечно. Музыкант-исполнитель — как он чувствует звучание? Космонавта хорошо бы: у космонавтов в голове подлинные картины космоса.

— Всякий интересен, кто ездил по дальним странам.

— Всякий мастер своего дела.

— Дегустатор.

— Архитектор.

— Ювелир.

— Хирург.

Так, перебирая профессии, прошли они пешком через весь центр до Юлиного вокзала. Юля все порывалась сесть на троллейбус, но откладывала до следующей остановки. И, прощаясь на платформе, подробнейшим образом объяснила Кеше, в какие дни искать ее на даче, как можно позвонить в общежитие, кому передать записку, если ее на месте нет.

«А что я старалась, собственно? — спросила она себя, когда электричка отошла от вокзала.— Боюсь, что он исчезнет, этот чудак с веснушками? Разве он нужен мне?»

И сама себе ответила, оправдываясь:

«Нет, что-то в нем есть занятное. Придумал: на помощь всем кидаться, тревожиться, когда в городе тревожно. Теории выдумывает. Смешно, наивно, но жалко разоблачать. Впрочем, это не имеет значения. Едва ли он найдет сговорчивых гениев...»

Юля откровенно обрадовалась, когда два дня спустя увидела тощую фигуру Кеши, поджидавшего ее у подъезда института, возле гипсового льва со спиной, отполированной многими поколениями веселых всадников.

— Уже нашли гения? Ну и молодец! — воскликнула она и покраснела. Очень уж по-детски радостно прозвучал ее голос.

— Не ручаюсь, что гений, но мастер своего дела. Сам заинтересовался, сам приглашает. Но заслуги моей тут нет, все вышло само собой. Сима рассказала о вас лечащему врачу, та — профессору, начальнику отделения. Он взыграл духом. Психология мысли — его докторская тема. В общем, приглашает нас в больницу в воскресенье. Я подумал, что вам интересно будет. Пусть наш список откроет психиатр.

— В психиатрическую больницу?

— Ну да, в сумасшедший дом.

Юля поежилась: к сумасшедшим не страшно ли? И этот опытный психиатр! Еще разоблачит с первого взгляда, скажет: «У вас аппарат, девушка, под прической, снимайте, давайте сюда».

Но любопытство пересилило. Юля еще не вышла из того возраста, когда все в мире хочется узнать. Побывать в сумасшедшем доме — это же само по себе волнует. А против опытного психиатра у нее преимущество: все его мысли она будет слышать наперед. Услышит его намерения — себя в обиду не даст.

Путешествие в сумасшедший дом началось обыденно. Гулкий вокзал, набитая электричка, запах табака и пота, женщины с сумками, наполненными яблоками, абрикосами, апельсинами — все знакомо по частым поездкам на папину дачу. Только разговоры здесь особенные, не дачные, не кухонно-детские. Вокруг толковали о симптомах, синдромах, курсе инсулина, курсе аминазина, терапии возбуждающей и растормаживающей, состоянии маниакально-депрессивном, психопатическом и формальной невменяемо-

сти. Странно было слышать эти термины в устах домохозяек с кошелками.

Вагон почти опустел на станции Санаторной. Потом Юля долго шла через картофельное поле. На поле шла уборка, а по утоптанной дороге через гряды наискось текла густая толпа паломников с гостинцами. Впрочем, и это выглядело обыденно. Так в летние воскресенья тянутся мамы в пионерские лагеря, жены и дочери — в загородные дома отдыха.

Дорога упиралась в парадные ворота старинной усадьбы с гипсовыми вазами на столбах. На решетке крупные выпуклые буквы извещали: «Областная психо-неврологическая больница имени Кандинского». Больница! Психоневрологическая! Никакой не сумасшедший дом. А за воротами тянулся обширный парк с ухоженными цветниками, дорожками, красными от толченого кирпича, с удобными скамейками под купами лип. И на скамейках, развязав свои корзины, посетители угощали очень обыкновенных людей в лиловато-серых с желтыми отворотами байковых пижамах, таких же как в рядовых больницах — терапевтических, хирургических, инфекционных.

Неужели эти в серо-лиловых пижамах и есть сумасшедшие?

И лечебный корпус выглядел обыденно: коридоры, крашенные светлой масляной краской, двери, двери; на дверях эмалированные прямоугольнички: «Водные процедуры», «Перевязочная», «Приемная». В кабинете, куда они пришли с Кешей,— стол, покрытый стеклом, затрепанные папки с историями болезней, прибор для измерения давления, за белой ширмой лежак, прикрытый желтой клеенкой. Обычный кабинет обычной поликлиники. И докторша обычная — полная женщина с властным голосом, деловитая, торопливая. Завязывая тесемки халата, она возмущалась, обсуждая с сестрой план воскресных дежурств, потом, понизив голос, зашепталась о каких-то событиях в промтоварном ларьке и убежала поспешно, кинув Юле:

— Вы тут посидите, милая, вам спешить некуда.

С Юлей она с самого начала взяла тон пренебрежительный. Даже намекнула, что Леонид Данилович, профессор,— человек широких интересов, может увлекаться даже фокусниками, но это не означает, что фокусники и он, специалист, ровня. Юля даже хотела было обидеться, но рассудила, что предъявлять претензии еще смешнее.

Итак, она осталась одна, поскольку Кеша в это время разыскивал профессора в дальних корпусах. Использовала паузу, чтобы включить викентор без свидетелей, злорадно подумав: «Ладно, посмотрим, что нам скажут, когда фокусы будут продемонстрированы».

И тут же кто-то произнес невыразительным мыслешепотом: «Новенькая. Еще одна на нашу голову!»

Тщедушный человек в пиджаке заглядывал в дверь. В пиджаке. Не в пижаме. Значит, не сумасшедший. Отлегло!

— Анна Львовна вышла? — спросил человек в пиджаке.— А вы кто, новый доктор? Нет? А-а, знаю, вы девушка, читающая мысли. О вас тут все говорят. А вы не курите? Папиросочку позвольте...

Он закурил и сел за стол с видом завсегдатая, продолжая разговор в тоне несколько покровительственном:

— Телепатическая связь — величайшее открытие современности, эндопсихология — это суперпсихология, психология атомного века, словесная связь слишком медлительна для века ракет. Я сам читаю мысли, я тоже эндопсихолог. Мы с вами коллеги, девушка. Вот сейчас, например, вы подумали, что я больной,— подумали же? (Юля и впрямь подумала: «А этот в пиджаке не сумасшедший ли?») Нас, эндопсихологов, многие считают больными, впрочем, мы поистине выходим за грани пошлой нормы. Супернорма — редкий дар природы. Анна Львовна не обладает супернормативным талантом, я помогаю ей в особо трудных казусах. Взаимопомощь — это веление времени, велениция эпохальности.

«Ой, кажется, сумасшедший! — подумала Юля, и холодок побежал у нее по спине.— Что делать? Удрать? Еще рассердится».

— Анна Львовна сейчас придет,— сказала она, подбадривая себя и пугая своего собеседника.

— Да, Анна Львовна придет и вас оформит обычным порядком. Она спросит, какой сегодня день недели,— это называется «ориентирована во времени и в пространстве». Спросит, что общего между орлом и курицей и как вы понимаете пословицу «Не в свои сани не садись». И вас отведут в предназначенные сани. Но не огорчайтесь, девушка-эндопсихолог, вы попадете в избранное общество. Нигде, уверяю вас, нигде я не встречал столько талантов, до пяти гениев в пятиместной палате. («Не этих ли гениев

имел в виду Кеша?» — подумала Юля не без иронии.) Авторы всеобъемлющих теорий, гениальных поэм, мировых уравнений. Их мысли важны для вселенского благополучия, их озарения величественны. Мы, эндопсихологи, присланы сюда, чтобы охранять их. Ведь только мы с нашей сверхчеловеческой чувствительностью своевременно можем разоблачить вражеские поползновения, лазутчиков, втирающихся в пятиместные палаты, чтобы украсть назревающие теории. Никто не заменит меня, девушка, никто не заменит вас, девушка. Гордитесь: ваша миссия священна, сокровенна, драгоценна. Драгоценность сияет во Вселенной всегда...

«Хоть бы пришел кто-нибудь»,— думала Юля, поеживаясь.

Наконец в коридоре послышался резкий голос докторши, возвращающейся из ларька.

— Ты что, Улитин? — спросила она Юлиного собеседника.— Опять папироски стреляешь? Иди в парк, там тебя жена дожидается, целый короб привезла. Я разрешила ей взять тебя на день. Иди же, зачем время теряешь?

— Время само по себе не имеет содержания,— сказал Улитин важно.— Человек наполняет время. Человеконаполненность времени...

— Больной? — шепотом спросила Юля, когда Улитин ушел наконец.

— Типичная шизофрения. Раздвоение мышления, резонерство, тяга к словообразованию. Впрочем, вам же не нужно объяснять: вы читаете мысли будто бы...

— Мысли были такие же, как слова,— сказала Юля.— Но с эхом. Скажет и повторяет секунды через две.

— Да-да, милая, это характерно. А иногда эхо бывает через час, через день. Вижу, что вы подготовились, почитали учебники.— Голос ее был наполнен сарказмом.— Да, так что я должна была сделать? — спросила она, листая календарь.— Какое сегодня число, милая? Восемнадцатое? А день недели? Да-да, воскресенье, я и забыла. Ну давайте знакомиться. Как вас зовут? А фамилия? Школу вы кончили уже? Неужели вы так молодо выглядите, я считала вас школьницей. Какого же вы года рождения? И хорошо учились? Да, я тоже любила литературу. Помню, в десятом классе писала сочинение: «Пословицы в произведениях русских классиков». У Островского особенно много материала. Даже в заголовки вынесены пословицы: «Бед-

ность — не порок», «Не в свои сани не садись», «На всякого мудреца довольно простоты». Кстати, как это вы понимаете: «На всякого мудреца...»

Даже и без икентора Юля поняла, что недоверчивая докторша опрашивает ее как психически больную.

— Доктор,— сказала она,— я могу объяснить эту пословицу и много других, я понимаю, что курица и орел — птицы, я ориентирована во времени и пространстве; помню, что сегодня восемнадцатое сентября и я нахожусь в больнице имени Кандинского по приглашению профессора по имени Леонид Данилович, который хотел, чтобы я его прослушивала — я его, а не он меня. Если же профессор передумал, разрешите мне уйти...

— Милая, порядок есть порядок,— возразила докторша, ничуть не смутившись.

— Тогда извините...— Юля встала.

К счастью, Кеша подоспел в это время:

— Леонид Данилович задерживается, он говорит по междугородной. Просил начинать без него с больным Голосовым.

— Ну, если Леонид Данилович распорядился так...— Докторша больше ничего не прибавила, тоном выразила, что сама она не одобряет всей этой затеи, но такой профессор, как Леонид Данилович, может позволить себе любое развлечение, даже забавные фокусы молоденькой обманщицы.

Через несколько минут сестра привела больного. Вот этот явно был больной, с первого взгляда постороннему понятно: крупный мужчина лет тридцати с бледным, нездорово-полным лицом, обросшим жесткой черной щетиной, плаксиво распущенными губами и выражением обиженного ребенка.

— Дластвуй, тетя доктол,— сказал он тоненьким голоском.— А эта тетя тозе доктол? Меня зовут Саса, а тебя? У тебя есть конфетки, тетя Юля? Нет, ты кусай сама, я бумазки собилаю с калтинками. У меня мамка в сельпо, каздый лаз новые калтинки плиносит.

Юля передернула плечами. Невыносимо жалким и противным выглядел этот плечистый и сюсюкающий мужчина.

— Как это получается? Он память потерял, все забыл? — спросила она докторшу.

— Зачем вы спрашиваете? Вы же все мысли прочли,—

в который раз попрекнула та.— Нет, он не все забыл. Смотрите.

И, продолжая разговаривать, она как бы машинально пододвинула больному пачку папирос, жестом показывая — угощайся.

Тот уверенным движением, не глядя, взял одну папиросу, размял пальцами кончик, уверенно чиркнул спичкой, затянулся.

— Разве ты куришь, Саша?

Отбросил папиросу испуганным жестом, тут же закашлялся.

— Сто вы, тетя Аня, я маленький! Мне папка таких слепков надает, та-та...

— Симулянт? — спросила Юля.

— Подсознательный, милая. Он шофер, напился в день свадьбы и задавил мать своей невесты. Когда проспался, узнал всю глубину своего падения: вместо свадьбы — суд и долгий срок. И мозг отключился. Это подобие болевого шока — шок психологический. Там человек не чувствует слишком сильной боли, здесь — слишком сильного горя. Сознание убежало в детство, создало охранительную иллюзию: он не взрослый, не шофер, нет ни свадьбы, ни машины. Есть безгрешный мальчуган Саша, которому мамка приносит из сельпо конфетные бумажки. Но, между прочим, милая, это я вам объяснила сама: обыкновенный медик, никаких мыслей не читающий. А вы что прочли со своим особенным даром?

— В голове у него не было ничего такого,— сказала Юля честно. — Те же детские слова про конфетки и картинки. И поверху припев: «Я маленький, мне четыре годика, у меня мамка в сельпо. Я маленький...»

— Анна Львовна, а вы подведите больного к психологическому барьеру.

Юля оглянулась. В комнате появился новый человек — врач в белом халате, большелобый, с залысинами, в пенсне на прищуренных глазах.

Докторша сразу заулыбалась, голос у нее изменился, стал певуче-сладким. Видимо, она с чрезвычайным почтением относилась к своему шефу:

— Ах, Леонид Данилович, вы уже здесь? Вы всегда так неслышно, незаметно входите, Леонид Данилович. Пожалуйста, вот кресло, садитесь, берите бразды правления в свои руки, Леонид Данилович.



Имя-отчество профессора она произносила с особенной тщательностью, как самые приятные слова на свете.

— Спасибо, Анна Львовна, я тут посижу. Все превосходно, вы, как всегда, все делаете превосходно. Теперь, прошу, подведите больного к барьеру вплотную. А вы следите внимательно, юная прозорливица.

Докторша взяла за руку больного, повернула его к зеркалу.

— Саша, все не так,— сказала она обычным своим строгим голосом.— Вот зеркало. Это ты в зеркале — взрос-

лый мужчина и борода растет. Ты уже школу кончил, ты шофер, работаешь на колхозном грузовике. И у тебя есть невеста Надя, и у нее была мать, и ты...

— Не-е-ет!

Звериный вопль. И рыдания взахлеб, истерика с воем, потоки слез:

— Нет, я маленький, я Саса, маленькие не водят глузовик.

Пока сестры отпаивали больного валерьянкой, профессор пересел ближе к Юле, взял ее под локоть:

— Ну-с, и что вы заметили на этот раз, молодое дарование?

Юля не без труда собрала отрывочные впечатления:

— Честно говоря, мало рассмотрела. Очень уж быстро все произошло. Машину он вспомнил, заслуженная такая трехтонка с разболтанными бортами, бренчали они на ухабах. Потом всплыло лицо, очень характерное, неприятная крысиная мордочка, нос и губы вытянуты вперед. Этот с крысиной мордочкой сказал: «Ничего, Сашка, не так уж мы набрались». И потом он же трясет этого Сашу за плечо, тащит за руку из кабины и кричит: «Смотри, Сашка, что ты наделал». И куча тряпья на дороге. Возможно, это человек. Больше ничего.

— Нетрудно придумать после моих объяснений,— заметила Анна Львовна скептически.

Но лицо профессора выражало живой интерес:

— За какую руку тащили Сашу? За какое плечо трясли?

— За эту! — Юля ткнула себя в правое плечо.— За правую. И вытащили направо.

— Вот вы и напутали, милая,— вмешалась докторша.— Шофер сидит слева, его налево должны были вытаскивать. Не хватило у вас воображения.

Профессор остановил ее жестом:

— Припоминайте, дарование, все детали. Сашу из-за руля вытаскивали направо?

Юля придирчиво проверила картинки, мелькнувшие в мозгу больного.

— Руля он не вспоминал. В памяти было: трясут за плечо, перед глазами стекло, за стеклом темные кусты. Почему кусты? Наверное, машина стоит боком, носом к кювету. Кювет, освещенный фарами. И это крысиное лицо. Больше ничего. Нет, руля не было.

Профессор забегал по кабинету в непонятном волнении. Потом остановился, выхватил из портфеля фотографию.

— Последнее испытание. Который?

На фото был изображен выпуск какого-то училища. Как водится, в среднем ряду сидели на стульях преподаватели. У их ног лежали, рядом с ними сидели, а за спиной стояли парни в черных форменных куртках. Юля без труда нашла Сашу в заднем ряду, а крысиную мордочку среди лежащих на переднем плане.

— Вот он!

Профессор развел руками:

— Ну, дарование, что-то в вас есть. Этого вы не могли знать, этого я сам не знал до сегодняшнего утра. Следователь мне по телефону сказал. Именно так и размотали. Кто-то из деревенских припомнил, что Сашу вытаскивали из кабины через правую дверцу, стало быть, едва ли он сидел за рулем, а если не он сидел за рулем...

Круто повернувшись на каблуках, Леонид Данилович подошел к всхлипывающему больному, положил ему руки на плечи:

— Встань, Саша. Слушай меня внимательно. Ты не виноват. Машину вел Дроздов, твой напарник. Это он сшиб Надину маму — Дроздов, а не ты. Сшиб и хотел свалить вину на тебя. Но его изобличили, он признался. Ты не виноват. Можешь вернуться в колхоз. И Надя на тебя не в обиде. Ты не виноват.

— Да ну? — сказал больной — Это правда, доктор?

Исцеление произошло на глазах, словно врач был чудотворцем. Плаксивая гримаса обиженного ребенка сползла с лица мужчины, сползла словно маска, словно бумажка с переводной картинки; мимика стала нормальной, голос твердым, с ясным раскатистым «р». Так клоун, сходя со сцены, стирает шутовской грим — балаганная роль кончена.

— Уведите и дайте снотворного,— распорядился профессор.

Анна Львовна бурно восхищалась и превозносила профессора, Кеша пожал ему руку, сестры смотрели с умилением. Юля подумала, что, не будь педагогического, пошла бы она в медицинский, стала бы врачом, и лучше всего психиатром. Такое великое дело — помогать больным встать на ноги, нечеловека сделать человеком. Не в том ли

смысл папиного аппарата, чтобы помогать медикам? Впрочем, сегодня не аппарат помог.

Истину раскопал следователь, а профессор излечил чудесно.

И тут Кеша вторгся в паузу:

— Леонид Данилович, но вы собирались показать работу вашего ума.

— Да-да, собирался. Собирался, обещал и выполню. За удачу не решаюсь, но усилия приложу. А вы, Анна Львовна, подберите мне какого-нибудь новичка, из тех, кого я еще не обследовал. Желательно, сомнительный случай. Есть у вас сомнительные, Анна Львовна?

Докторша засуетилась с готовностью:

— Есть, Леонид Данилович, как бы нарочно для вас, Леонид Данилович. Ярко выраженные симптомы: манерность речи, разорванность мышления, бредовые сверхидеи, лжеузнавание. И вместе с тем адекватная мимика, открыт, социален, в быту опрятен, чистит зубы. Приведите Стодоленко из девятой палаты, сестра.

— А вы, дарование, приготовьтесь,— сказал профессор, садясь подле Юли.— Старайтесь следить за мной, не за больным. Ну, если за двумя умами уследите, тоже не скверно. Но, что у больного заметите, не говорите... Про себя держите. Запоминайте, потом скажете.

На этот раз нянька привела статного черноглазого юношу с модной бородкой. Он был бы даже красив, если бы не стриженная под машинку голова. Окинув быстрым взглядом присутствующих, юноша еще на пороге обратился с речью к Юле:

— Вам очень повезло, незнакомка, что вы встретили меня на своем жизненном пути. Отныне ваше счастье в надежных руках. Да, именно я, Валентин Первый, король любви, властелин любви, парламент любви, любвеиндел этого мира. Вы прелестны, не отрицайте, не отпирайтесь, не отнекивайтесь. У вас удивительные глаза, ваши щеки так мило краснеют — это не укроется от моего зоркого взора, призора, подзора. Валентин Первый, король любви, любвеиндел. Ваше счастье определено и утверждено астрологически, амурологически, генеологически, гетерологически, армоастрогеологически...

В таком духе он плел минут десять, нанизывая слова, осмысленные и бессмысленные. И те же слова отдавались в его мозгу чуть шепелявым эхом. Но все-таки он устал,

перевел дух, и, как обычно, в паузе громко прозвучали побочные мысли.

«Девчонку-то я охмурил,— думал он,— выложил все приметы, как в учебнике. Анюта не распознала — практикантке куда же? Мужчина меня тревожит. Ладно, выдам еще порцию...»

Юля обернулась к профессору, даже рот раскрыла, чтобы сказать: «Готово, все ясно!» Но Леонид Данилович остановил ее жестом, и на свой лоб показал: «Сюда обратите внимание».

Мнимый больной продолжал плести свое — о короле любви.

— Прекрати, Валентин,— сказал профессор четко.

Тот сбился, кинул на него быстрый взгляд, вспомнил, что он не должен слышать замечаний, и понес свое. Профессор прервал его на полуслове:

— Валентин, довольно! Мы уже разобрались: твой случай не медицинский, а судебно-медицинский. Ты вменяем, за все свои художества ответишь по закону. Какие у него художества, Анна Львовна?

— Несколько раз задержан за спекуляцию,— подсказала докторша.

Когда короля любви увели в палату, профессор обратился к Юле:

— Ну-с, молодое дарование, каков ваш диагноз?

— Симулянт.

— Почему вы так решили?

— Я не решала, я слышала: «Девчонку-то я охмурил, выложил все приметы, как в учебнике. Мужчина меня тревожит. Ладно, выдам еще порцию».

— Ну-ну, допустим. Но я такого не слышал. Почему же я решил, что он симулянт. Как работала моя интуиция?

— Мне не так легко передать мои впечатления,— сказала Юля.— Все это так мелькает. Вы смотрели на него пристально, в голове держали его лицо. Внимание перемещалось, выделяло то уши, то подбородок, то цвет кожи, то голос. Всплывали отдельные слова: «мутичность», «резонерство», «открытость»... Лицо поворачивалось, как будто прикладывалось к каким-то теням. Потом всплыло совсем другое лицо, но с такой же тонкой шеей, мальчишеской. Кто-то громко сказал «адекватность». И еще одно лицо появилось, удлиненное, с густыми седыми усами, как

бы обрубленными. После этого вы крикнули: «Прекрати, Валентин!» И когда он осекся, подумали: «Эмоции адекватные, так и следовало ожидать!»

Профессор слушал, ловя каждое слово, всплескивая руками, даже встал от волнения.

— Дарование, я потрясен. Вы феномен, подлинный феномен? Это поразительно интересно, то, что вы рассказывали. Да, именно так шли мои мысли, хотя отчета я не отдавал себе. Кто же может напряженно думать и одновременно регистрировать думы? Да, я напряженно всматривался в него, думал, на кого он похож. Кто же это такой, с тонкой шеей? А-а, вспомнил: когда я был еще студиозусом, нам демонстрировали новобранца, уклоняющегося от службы,— он тоже симулировал шизофрению. Мой учитель демонстрировал — это он седоусый. И он говорил: «Симуляция шизофрении редка — ее трудно симулировать. И в таких случаях обращайте внимание на адекватность эмоций, на соответствие чувств иначе говоря. Шизофреник погружен в свои мысли, его трудно испугать, огорчить, смутить. Настоящий больной не испугался бы ответственности, у него сверхидея — он король любви, он всюду приносит счастье». Значит, вы говорите, что я всматривался в больного. И прикладывал к каким-то теням, так и этак поворачивая. Удивительно интересно! Что же это за тени? Вероятно, эталоны памяти. Значит, такова система узнавания — прикладывание к эталонам памяти. Опыт — обилие эталонов. Интуиция — мгновенное использование множества эталонов. Потрясающе любопытно! Но это надо проверить, проверить много раз, на различных мозгах. Надеюсь, вы не оставите меня, дарование? Мы должны провести много-много опытов. Это только самое начало нашей работы...

Он снова и снова выспрашивал Юлю, восхищался, просил все припомнить и записать, твердил, что все это очень важно, очень спорно и остро необходимо. Взял слово приезжать каждое воскресенье, с энтузиазмом выслушал идею изучения гениев, дополнил список, обещал поискать талантливых людей среди своих знакомых, уговорить их отдать свои головы для прослушивания, проводил Юлю до ворот, даже руку ей поцеловал на прощание...

И в последнюю минуту сорвался.

Вел-то он себя превосходно, держался корректно, ни одного слова не позволил себе непочтительного. А против-

шись, подумал: «Зря отпускаю я ее. Не девушка — золотое дно для ученого, источник десятка диссертаций. Умный человек держал бы ее при себе, в своем отделении, в больнице. В сущности, на чем прославился Кандинский? Больные у него были с медицинским образованием, вылечились, написали для него подробнейшие воспоминания о своих бредовых идеях. Он — Кандинский, я — Сосновский. И для меня и для науки полезнее было бы поместить эту девушку в палату. И в сущности, не без оснований. Конечно, она за пределами нормальности. Поискать — наверняка найдутся отклонения. Пока выяснится, пока уточнится — вот и материал наберем. Решительный человек на моем месте... Позвать санитаров, что ли? Да нет, Леонид Данилович, это уже подлость, это за гранью приличного поведения. Уж лучше поухаживай. В молодости ты умел...»

— Ничего не выйдет,— сказала Юля.— Это уже за гранью.

Как покраснел профессор! Юля никогда не видала, чтобы пожилые люди могли так по-детски краснеть. Щеки запылали, уши зарделись. В два прыжка он догнал Юлю, схватил ее за руки:

— Вы не должны сердиться, Юля. Это совсем не так. Ну мало ли что в голову взбредет! Это неправильные мысли, я их отбросил, вы же слышали, что отбросил. Вы не имеете права сердиться, опасный вы человек, вы обязаны меня простить. Ну хотите, я на колени стану прямо в пыль как есть, в халате...

Обратный путь. Та же дорога наискосок через картофельное поле. Только теперь на ней не ручей голов, а усталые одиночки. Усталые, подавленные, сгорбленные. Грустно после свидания с ненормальными родственниками.

— Что он подумал? За что просил прощения? — допытывался Кеша.

Лишь отойдя на километр, Юля рассказала ему о невольных мыслях профессора. Кеша был возмущен, хотел тут же бежать назад, объясняться, требовать... А что требовать? Юля с трудом удержала Кешу. Извинения получены... А что еще? На дуэль вызывать, что ли? На скальпелях и стетоскопах?

— И если он хочет ухаживать, почему вы должны препятствовать? Какие у вас права? — сказала она с вызовом.

Кеша не мог спорить.

Потом они долго ждали на платформе. Юля сказала:

— И все же я правильно сказала вам, что мысли читать ни к чему. Симе вашей я не помогла и врачам тоже не помогла, в сущности. Без меня следователь разоблачил этого Дроздова, без меня медики ставили диагноз. Что я сделала самостоятельно? Леонида Даниловича вогнала в краску? Зачем? Он дельный специалист, опытный, отзывчивый, с живым умом, чуткий к новизне. Пакость ему пришла в голову. Так нечаянно же! Разве можно удержать мысли? Помните случай из истории Хаджи Насреддина: «Вы станете бессмертными, если не будете думать о белой обезьяне». Попробуйте удержаться. Сама влезет в голову.

Трубила электричка, проносясь мимо осенних, уже тронутых желтизной, поредевших рощ. Женщины на соседних скамейках привычно толковали о курсах аминазина и инсулиновом шоке, синдромах, симптомах, терапии растормаживающей и терапии успокаивающей.

— Надо научиться удерживаться, — упрямо твердил Кеша.— Общественная жизнь требует вежливости. Только дикарь-одиночка решал все споры зубами и кулаками. Жители многолюдных поселений научились держать руки на привязи, без этого жить рядом нельзя. Душу отводили только руганью. Люди же культурные научились держать язык на привязи, вообще не ругаться — без этого дела обсуждать нельзя. Видите, как идет история: чем теснее общение, тем больше требуется сдержанности. Человек будущего должен и мысли свои воспитать, никого не оскорблять даже мысленно. За это ему достанется преимущество коллективного думанья, обмена воспоминаниями, впечатлениями, переживаниями, интуитивным опытом. Мусор люди выбросят из головы, мозг будут содержать в опрятности. Без этого нельзя приглашать чужого в свои мысли.

— Но это невозможно, это утомительно, наконец, — возражала Юля.— Смотрите, яркий пример: Леонид Данилович, культурный человек, и то сорвался. Вообще нельзя из своей головы устраивать проходной двор. Я хочу иметь собственный уголок, личный.

— Пожалуйста, у вас на даче своя комната, но гостей же вы приглашаете в нее. Чем вы дорожите — возможностью ругаться мысленно, воображать неприличное? Наведите опрятность, сделайте уборку мозга.

— Я думаю, никто не может согласиться. Нет таких опрятных мозгов.

— У людей коммунистического общества должны быть. Надо готовиться к тому. Надо привыкать.

— А вы разрешите осмотреть свою голову?

— Разрешу.

— Сейчас? Прямо сейчас? — Юля потянула руку к защелке викентора.

И вдруг Кеша испугался.

— Нет, сейчас не надо. Пожалуйста, Юля, сейчас не надо. Я не готов. Действительно надо провести уборку. Дайте срок, я сам скажу когда...

После этой поездки Кеша исчез надолго. Прошла неделя, вторая началась и кончилась, а он не являлся. В первые дни Юля отрывала листок календаря, победно посмеиваясь: «Вот нелегко, оказывается, убрать свою голову дочиста. Обещать-то обещал, но протри каждую извилину попробуй». Посмеивалась, но все же благожелательно. Думала: «Приятный малый этот Кеша. Упрямый чудак, но приятный. У каждого свои затеи, у него — внушающие уважение. Пожалуй, человеку, умеющему жить с открытой головой, можно и викентор вручить. Можно... но вот и у Кеши не получается. Что-то скрывает он все же, чего-то стесняется...»

Потом Юля перестала посмеиваться, ждала с нетерпением, даже беспокоилась. Себя-то она уговаривала, что беспокоится. Почему исчез надолго? Только ли из-за стыда? Может быть, случилось что, лежит больной, нуждается в помощи, а она не навещает его из-за глупого самолюбия... Смешно! Не надо мучить человека, она сама обязана прекратить это глупое испытание: взять Кешин адрес на службе или в Мосгорсправке, пойти или позвонить...

И тут Кеша сам позвонил в общежитие.

— Кажется, я готов к зачету,— сказал он.— Назначайте время.

Юля чуть не брякнула: «Хоть сейчас!» Вовремя удержалась.

— В воскресенье я буду на даче,— сказала она.— Буду ждать с утра.

Всю субботу она прибирала, мыла полы, выстирала скатерти, цветы расставила на столах. И в лаборатории убрала, выписки разложила по порядку. Мысленно сказала себе: «Если выдержит экзамен, покажу ему... кое-что».

С утра села у окна с книжкой. Просидела полчаса, потом заметила, что держит вверх ногами. День был прозрачный, ясности незамутненной. Пронзительно-желтые листья падали с тихим лепетом, паутинка поблескивала на солнце. Из углового окна Юля видела дорожку, ведущую к вокзалу, где прохожие появлялись стайками. После каждого поезда — стайка, хоть часы проверяй. Эти с поезда 9.27, эти — с 9.44, эти — с 9.59...

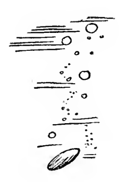
«Юля, что с тобой? Кажется, ты ждешь с нетерпением мальчишку? А ну-ка, марш от окна!»

И тут Кеша показался на опушке. Вышагивал в ослепительно белой рубашке, в галстуке и пиджаке. И нес букет настоящих роз, белых и пурпурных. Видно, из города тащил, на станции таких не продавали. Подходя к калитке, застеснялся, спрятал было цветы за спину, но, поколебавшись, выставил перед собой: дескать, мыслю открыто, живу открыто, иду к девушке с цветами, и пусть все видят.

Юля кинулась было к дверям, спохватилась на полпути. А как же аппарат? Включать или нет? Стоит ли читать сокровенные мысли, не откроется ли что-то неблаговидное, как у Мусиного Бориса? Зачем ей еще одно горькое разочарование?

Но разве она сомневается в Кеше? Идет к ней человек с открытым сердцем, «открытой» головой, предлагает мыслить совместно.

Юля включила аппарат.





Когда выбирается „Я“

ГЛАВА 1

Есть у меня в столе, в запертом ящике, заветный альбом в ледериновом, шоколадного цвета переплете, на котором вытиснена одна буква «Я». Сто фото в этом альбоме. Сегодня я вклеил сотое — юбилейное.

Первое, конечно, самое симпатичное. На нем пухлощекий младенец совершает трудное путешествие от стула до стула. Ножки у него заплетаются, язык высунут от усердия. Гордые родители держат его за лапки, улыбаясь с

умилением. Нелегко поверить, но этот младенец — я в возрасте одного года.

Фото номер два. Школьник в громадной фуражке, налезающей на оттопыренные уши, старательно таращит глаза, чтобы не мигнуть во время выдержки. Вид у него подавленный и запуганный, что действительности не соответствовало. Дитя было предприимчивое и озорное. Это тоже я, но в возрасте десяти лет.

Третье фото. Юноша в небрежной позе, с небрежно расстегнутой «молнией» на замшевой блузе, с папироской, засунутой в угол рта, и аккуратно подстриженной бородкой. И это я, но уже двадцатилетний. Вид у меня скучающе-снисходительный, горько разочарованный, что опять-таки действительности не соответствовало. Но я сам считал себя человеком пожившим, все испытавшим, познавшим суету и тлен. Разочарованность мне представлялась взрослее жизнерадостности.

На фото четвертом мужчина с не очень запоминающейся внешностью. Лицо бритое, очки, стрижка под «полечку», белая рубашка, галстук, пиджак. Это я в тридцать лет. Тогда я начал считать, что дельного человека ценят по делам и неприлично иметь броскую внешность и броскую одежду, как бы предупреждая при первом знакомстве, что у меня все снаружи — внутри ничего не ищите. А мне очень захотелось быть дельным человеком с основным содержанием внутри.

Вероятно, читатель ждет последовательного ряда: грузнеющий мужчина в начале пятого десятка, с самоуверенной улыбкой и залысинами над висками, седоватый и толстый в пятьдесят, еще два или три беззубых, морщинистых старика со слезящимися глазами. Будет, будет и такое в свое время, будет и неизбежное грустное фото в обрамлении цветов и деревянного ложа. Но до этого еще не дошло. Пока что я таков, как на фото четвертом. С пятого номера логика нарушается.

Вот я перелистываю альбом, раскрываю наугад там и тут, мелькают лица всё новые и новые. Сухопарый, ходуленогий бегун на гаревой дорожке. Широкогрудый штангист с налитыми мускулами, каждый виден, хоть анатомию изучай. Акробат, просунувший голову меж колен, человек-веревка, хоть узлом его завязывай. Гигант, кладущий мяч в баскетбольную корзину. Вы не поверите, но это все я. Я пробовал спортивные возможности моего тела тогда.

И кудрявый красавец с соболиными бровями и ярким, словно гримом подкрашенным ртом, хорошо известный тем, кто покупает в киосках портреты кинозвезд,— это не Михаил Карачаров, это тоже я. И я — неприятный тип с острыми зубками и опухшим носом картошкой. Это я, номер двенадцать.

Номер девятнадцать — миловидная девушка, скуластая, с чуть узковатыми глазами и длинными черными кудрями до плеч. Нет, не жена, не возлюбленная, не невеста — опять я. Негр, монгол, суровый индейский воин — все я. Сотня ролей, как у бывалого ветерана сцены. Серия снимков зверей — целый зоопарк. Дельфин с извилистыми, ироническими губами и очень лукавыми глазками в уголках рта — я. Лев, величественный, с бороздой посреди премудрого лба. Головастый слон с поперечно-полосатым хоботом, только часть его влезла в фотографию. Мохнатая морда, не то пудель, не то медведь. И нелепое существо вроде птицы феникс с человечьим лицом, обрамленным крыльями. Тут уж вы не поверите, что это все — я...

Сотня фото, сегодня я вклеил юбилейное. Сотня историй, все они хранятся в моей памяти. Связанный торжественным обещанием, я все эти годы копил наблюдения, не имея права рассказать, как, почему и откуда пришел ко мне чудесный дар метаморфоза. И, попадая в переплет — а дар мой не из числа безопасных, — я боялся не только того, что жизнь моя оборвется, страшился не только за будущее, но и за прошлое. Столько вложено труда, столько добыто фактов, и все это прахом пойдет, если я стану прахом. Полезную тайну нельзя доверять одному человеку — слишком это ненадежное хранилище. Видимо, надо записать все пережитое, иначе смысла нет во всех стараниях. Не для себя же рисковал.

Конечно, испытывая дар там и тут, я не всегда мог скрывать его от людей. Приходилось идти на полупризнание: дескать, да, есть у меня такой талант, от рождения не было, а к тридцати годам проявился. Разве так не бывает, чтобы талант проявился к тридцати годам?

И вас, читатели моего отчета, прошу примириться с недомолвкой. Я расскажу вам, как я выбирал свои «Я», а почему и откуда пришел ко мне этот дар, не расскажу. Пока не имею права.

С чего начать? Надо бы с самого начала, но именно начало теснее всего связано с секретом. Стало быть, при-

дется выбирать из середины что-нибудь позанимательнее. Поведать хотя бы историю номера двенадцатого, некрасивого, с острыми зубами и носом картошкой,— у него было порядочно переживаний. А для разбега, для введения в курс дела, придется еще изложить историю номера одиннадцатого, того, что похож на киноартиста с томными очами. Он появился на свет из-за любви и ради любви. Недаром такой красавчик.

*

В ту зиму я был влюблен без памяти, влюблен, как мальчишка, в пышноволосую русалку с округлыми плечами и стройными ногами балерины. Фигура у нее была удивительная и осанка женщины, знающей себе цену, по всего лучше глаза, глубокие и невозмутимые. В них хотелось смотреть и смотреть, как в озерную глубину, и при этом в душу входило такое спокойствие, такое непоколебимое равновесие обреталось... Сам становился увереннее, мудрее, чище.

И все вокруг становилось яснее.

Невозмутимая ясность была главной чертой Эры (так она себя называла: Валерия, Лера, Эра). Она всегда точно знала, что ей хочется и что не хочется. Хочется веселиться или молчать, танцевать или посидеть в кресле, загорать или кушать мороженое.

И с милой откровенностью она, не стесняясь, объясняла нам, гостям и поклонникам, что сейчас ей хочется соснуть, или уйти из дому, или заняться шитьем и «не пора ли вам по домам, милые гости?» И мы уходили, не обижаясь ничуточки.

Хочется же!

У меня, человека неуверенного, взволнованно ищущего, пробующего, спрашивающего, эта кристальная ясность вызывала восхищение и зависть. Я выразил восхищение в первый день знакомства: в поезде мы познакомились, по дороге в Крым, и продолжал восхищаться на берегу моря и в Москве, несколько месяцев беспрерывно. Забыл простейшее правило политэкономии (и психологии): люди ценят прежде всего вложенный труд. Дорого трудно добытое, легко доставшееся — дешево. Слишком верных поклонников девушки склонны пересаживать на скамейку запасных, там и придерживать.

Вот я сидел на скамейке запасных всю зиму, пока не расхрабрился на решительное объяснение.

Умом-то я понимал, что мои перспективы безнадежны. Приятелю своему, даже постороннему, глядя со стороны, сказал бы: «Друг мой, шансы твои равны нулю, не позорься, уйди, здесь ты не добьешься ничего». Умом я понимал, но сердце хотело надеяться и заставляло ум придумывать контрдоводы: «Ты ошибся, ум, ты перемудрил, с тобой играют в холодность, а ты игру принимаешь за равнодушие, уйдешь молча, порвешь из-за недомолвки, надо поговорить откровенно, надо объясниться...»

И под предлогом срочной переписки (Эра работала машинисткой и охотно брала заказы на дом) я отправился к ней в середине дня, когда соперников быть не могло, никто не помешал бы.

Эра лежала на кушетке в кимоно, черном, с громадными бледными розами, покуривая сигарету и поглядывая на телевизор. Как раз на экране чаровал зрительниц Михаил Карачаров — герой фильмов «Самая первая любовь», «Ей было шестнадцать», «Сердце — не камень» и прочих в том же духе.

«Но если это настоящая любовь?» — убеждал свою партнершу Карачаров.

Я попросил разрешение выключить. Смешно было бы говорить о чувствах дуэтом: один — в комнате, другой — в рамке экрана.

— Звук убавьте,— сказала Эра.— Мне досмотреть хочется.

И закинула руки за голову, позволяя мне любоваться своими великолепными локтями.

Недовольно косясь на экран, где артист шевелил черными губами, я заговорил о своем чувстве.

Эра слушала, не отводя глаз от телевизора. Карачаров проповедовал что-то умудренно-черствое. Его партнерша ушла в слезах. Лицо моей партнерши не выражало ничего.

— Вы меня не слушаете, Эра?

Пауза.

— Слушала.

Пауза.

— Ну что вам сказать, Юра? Человек вы хороший, умный (подслащенная пилюля?), ученый... и внешне вы ученый, очкарик, как говорят. А мне нравятся мужественные и красивые. Вы не верьте женщинам, когда они го-

ворят, что внешность для них не играет роли. Некоторые любят некрасивых, но это компромисс, уверяю вас. А я не хочу сделок с сердцем. Хочу гордиться, идя под руку с мужем. Хочу, чтобы оглядывались на меня, хочу зависть вызывать, а не жалость. Вот за таким,— она показала ресницами на экран,— я пошла бы на край света.

— Значит, все дело во внешности?

Пауза.

— И, будь я похож на Карачарова, вы ответили бы иначе?

Эра кивнула ресницами.

— И пошли бы со мной на край света, со мной — Юрием Кудеяровым, аспирантом по кафедре цетологии?

Эра пожала плечами:

— Не понимаю, чего вы добиваетесь? Пошла бы, вероятно. Но ведь это теоретический разговор. Вы Юра Кудеяров с лицом Юры Кудеярова.

Я промолчал многозначительно. Ведь Эра не знала, что я — человек, выбирающий «Я».

И, не откладывая дела в долгий ящик, я отправился прямо от Эры в кино на «Любви все возрасты покорны» с Михаилом Карачаровым, в обычной для него роли эгоистичного, отрицательного юноши-соблазнителя, ставящего свои удовольствия или интересы выше семейных обязанностей. Взял билет в последнем ряду, уставился на тупые носы туфель и начал настраиваться.

Как настраиваешься на перевоплощение? Обыденно. Стараешься изгнать все разумные мысли из головы. Думаешь о носках туфель, думаешь о своем дыхании. Четыре удара сердца — вдох, два удара — пауза, четыре — выдох. Вот уже сердце и пульс введены в ритм, можно ускорить, можно замедлить, можно остановить. Все тело в ритме, ты сам качаешься на волнах, мысли тоже на волнах, колышутся, как на надувном матраце. Странное ощущение! Нельзя сказать, что оно неприятное, но в мире исчезает определенность. Пространство не трехмерно, прошлое не отличается от будущего, зрительный зал — от экрана. И я уже не я, я — кто угодно и где угодно. Смотрю сам на себя из соседних кресел, равнодушно скольжу взглядом по этому невзрачному очкарику в последнем ряду, уставившемуся на собственные ботинки. А сам я — встрепанный парнишка с леденцом за щекой, я — девушка со стрельчатыми ресницами, я — ее лохматый спутник, я — толстая дама,

заботливо развязывающая шарф своей дочурке, я — тени, мелькающие на экране, я — бегуны на старте, ракета, взлетающая в клубах дыма, я — рабочий и колхозница, стоящие на пьедестале перед выставкой, я — артист Михаил Карачаров, чернoротый, соболинобровый... Тут надо зацепиться, на этом сосредоточиться.

То, что я рассказываю здесь, не рецепт. Это внешние приемы, которые помогают мне. Вам они не помогут, потому что у вас нет некоторого секрета, того, о котором я вынужден умолчать.

Итак, я — артист Карачаров. Это мои блестящие брови, мои кудри, прилипшие к потному лбу, мой нос с горбинкой, мои безупречные зубы, моя ироническая улыбка. Я — Карачаров, а не Кудеяров. Я должен вжиться в этот образ.

Вообще-то я видел его в жизни, как-то встречался на дне рождения у общих знакомых. От хозяев дома знаю, что в быту Карачаров совсем не такой, как на экране. Да, он кумир истеричных девиц, но девицы — не суть его жизни. Карачаров — работяга. Он встает в семь утра, плавает, ездит верхом, работает на кольцах и на брусьях. Он знает свои роли нередко глубже, чем авторы, подсказывает реплики сценаристам и трактовку режиссерам. В кино он пошел со сцены, но, считая работу в театре основной, не оставил прежней труппы. В прошлом сезоне он снимался в Ленинграде и три раза в неделю ездил туда на съемки. Шесть ночей в поезде еженедельно — это весомая нагрузка. Его мечта — образы Шекспира: Гамлет, Отелло, король Лир даже. Но ему не дают этих ролей — внешние данные не те. Карачаров редкий, если не единственный человек, который ждет с нетерпением, чтобы годы провели борозды на его лбу.

Это я жду с нетерпением, чтобы годы провели борозды на моем лбу. Это я хочу сыграть короля Лира, а мне твердят про внешние данные. Я вынужден изображать пошлого красавца, хотя по натуре я труженик. Это я топчусь на игровой площадке, на пятачке, прожаренном «юпитерами». Это мне кричат: «Ваша реплика, Миша!» — «Любви все возрасты покорны».— «Не так, Миша, ироничнее», «Еще раз, Миша, с другой съемочной точки», «Нет, Миша, вы заслонили Танечку, еще разок...» Журчит кран, оператор чуть не вываливается с аппаратом вместе. Вживаюсь в пошлость: «Любви все возрасты...» — «Мишенька, еще

раз, так получается в профиль». Не надо раздражаться, не раздражение нужно, а самоуверенная пошлость...

Так я вживался в образ артиста три часа — на сеансе 18.30 и сразу же на следующем сеансе, 20.15. Больше трех часов подряд выдержать трудно. Вживание — занятие утомительное. Три часа надо воображать себя не собой и не соскользнуть на прежнее «Я». Конечно, соскальзывание — не катастрофа. Это не сказочная белая обезьяна, о которой нельзя думать ни разу, чтобы не загубить все колдовство. Мое колдовство не губится от посторонних мыслей, оно только тормозится. Но если все время вспоминать, что ты Кудеяров, не получится ничего.

Мне очень помогло бы, если бы я достал какие-нибудь вещи артиста: его письма или, лучше, авторучку, носовой платок, белье, одежду, еще лучше — кусочек кожи или ткани (но не каплю крови, кровь не годится). Хороши ботинки, подходят стельки, на худой конец годится даже земля, по которой он ступал босыми ногами (невольно вспоминается обычный прием колдовства — след вынимать из-под ноги). Вещественное подкрепление очень ускорило бы метаморфоз, было бы почти необходимо, если бы я хотел приобрести характер артиста, строй его мыслей, его конституцию. Но в данном случае речь шла только о внешности, о форме лица. Тут можно обойтись (я могу обойтись) одним воображением.

Вообще-то превращение идет довольно быстро. Темп изменений примерно такой, как у набирающего вес после болезни,— полкилограмма-килограмм в сутки. Вес головы примерно три килограмма, в том числе полтора килограмма мозга. Мозг я не собирался менять: мне надо было переделать только ткани лица. Я рассчитывал сделать это за шесть вечеров в кино.

Даже в самый первый вечер, внимательно разглядывая себя в зеркале, я заметил, что нос у меня чуть-чуть удлинился и припух посередке, там, где требовалась горбинка. Приободрившись, я наклеил на зеркало портрет Карачарова (афишу сорвал, каюсь: где же еще достанешь?). Портрет, конечно, условность, но стимул для воображения. И, засыпая, еще повоображал себя артистом. Если настроишься так, что снится новое «Я», значит, процесс идет и во сне.

На второй день я предупредил соседей по лестнице, что сам я уеду в командировку, вместо меня будет жить мой

приятель, описал его. Так и сказал: похож на знаменитого Карачарова. Дня три после этого, в самый разгар перемен, ходил с завязанной физиономией, потом ушел с чемоданчиком на виду у всех... и вернулся в другом костюме, в шляпе, позвонил соседке, спросил, оставлены ли мне ключи от квартиры. Меня не узнали, точнее, узнали артиста, спросили, не близнецы ли мы со знаменитостью. Смешно было разговаривать с соседкой, притворяясь незнакомым. Мы поговорили обо мне; я узнал о себе много лестного: непьющий, солидный, вежливый, скоро буду кандидатом наук, но пропадаю в бобылях, хожу с оторванными пуговицами, неухоженный, жениться надо бы. Затем меня (нового меня) познакомили с девушкой со второго этажа, забежавшей за утюгом. С ходу она начала со мной кокетничать, в точности так, как кокетничала с прежним «Я».

Забота была: не перепутать, с кем я познакомился в новой ипостаси, с кем был знаком раньше. Я решил на всякий случай кивать всем встречным. Юрием Андреевичем меня не назвал никто.

Прошелся по улице. Прохожие оглядывались. Пожилые хмурили лоб, припоминали знакомое лицо, молодые радостно улыбались, мальчишки обгоняли, чтобы разглядеть получше. Покупая газету, услышал за спиной:

— Гляди, Карачаров. Настоящий! Газету покупает. Куртка бежевая, на «молнии». Не иначе, с фестиваля привез, из Венеции.

«Пять с плюсом», — сказал я себе и направился в телефонную будку.

— Эрочка? Можно я пришлю вам с работой моего знакомого? Да-да, хороший знакомый, я за него ручаюсь. Да вы и сами знаете его, наверняка узнаете, сразу.

Эра узнала Карачарова. Я не узнал ее.

Я знал и любил величественную, томную грацию с плавными движениями, милостиво разрешавшую любоваться своей красотой благоговейным вздыхателям.

Я увидел суетливую ломаку, которая не знала, как сесть, как повернуться, какие слова сказать, каким смехом смеяться, чтобы понравиться знаменитости.

Эра выбрала пошлейшую роль молитвенно восхищенной дурашки. Сказала, что она семь раз смотрела все фильмы с Карачаровым, что сегодняшний день — самый замечательный в ее жизни, она всем подругам расскажет, какое событие произошло с ней; что для нее артисты —

особенные люди, люди высшего класса. Она совершенно не представляет себе, как это можно играть столько ролей, откуда взять столько жестов и выражений лица, что он (я) обязательно должен рассказать и показать ей, как он играет, хотя она едва ли поймет, потому что это особенный талант, редкостное дарование...

И мне стало скучно.

Дело в том, что смена лица не проходит бесследно для психики. Целую неделю я вживался в образ известного артиста... и вжился немного. Внушил себе, что я труженик, что я мечтаю о шекспировской роли и что я одурел от букетов, записочек, визгливых поклонниц, комплиментов, восторгов, неумеренных и необоснованных похвал. Пришел к машинистке по делу, роль перепечатать... а тут еще одна визгливая поклонница.

— Внешность у меня киногеничная,— сказал артист моими губами.— Остальное — опыт. Учат же нас.

— Ах, не принижайте себя! — всплеснула руками Эра.— Внешность ничто без таланта. Мы, женщины, вообще не обращаем внимания на внешность. Для нас важна только душа человека.

Вот как?!

— А неделю назад,— напомнил я,— вы говорили одному моему знакомому, что не безразличны к внешности. И полюбили бы, даже на край света пошли бы за человеком, будь у него внешность одного артиста.

Она покраснела от раздражения. Но и гнев украшал ее.

— Ваш друг — ужасающий болтун.

— Эра,— сказал я проникновенно,— послушайте и поверьте. Я и есть тот друг, я Юра и вовсе не киноартист Карачаров. Это мне вы сказали, что полюбили бы меня, будь у меня внешность Карачарова. Я изменил лицо — в нашем институте научились делать такие операции. И вот я перед вами, в новом облике. Как вы примете меня такого?

Она усомнилась. Не потому, что встретилась с неслыханным. В наше время люди верят в любые чудеса науки. Превращение так превращение — это не удивительнее полета на Луну. Разочарование было написано на ее лице.

— Вы артист, вы можете сыграть любую роль,— сказала она.— Нехорошо при первой встрече разыгрывать незнакомую девушку.

Я протянул ей паспорт. Она не поверила.

— Паспорт Юра мог дать вам, это ничего не значит.

И тогда я вспомнил про заметку в «Вечерке». Газета была у меня в кармане. Я вынул ее и показал интервью с Карачаровым. Он снимался в советско-немецком совместном фильме в ГДР, говорил, что пробудет в Потсдаме еще месяц.

Эра прочла заметку дважды, кусая губы.

— Предположим, я с вами говорила неделю назад, товарищ Кудеяров — Карачаров,— процедила она.— Но что это меняет? Значит, вы хотели поймать меня на слове? Напрасно старались. Бездарная копия не заменяет оригинала. Эрзац остается эрзацем.

Несется по московским проспектам обыкновенный троллейбус, стремительно неповоротливый, мчит над асфальтом свое брюхо, нашпигованное пассажирами, бочки-колеса разбрызгивают лужи, искрят усы, дергаясь на проводах, цокают рычаги, двери журчат, сминаясь гармошкой, медяки трясутся в кассе... а возле нее сидит с угрюмым видом рядовой пассажир, четыре копейки ему цена, и в груди его буря бушует... Буря!

Ревность, зеленоглазое чудовище, рвет сердце когтями. Юра ревнует к Юре, лицо прежнее к новому, Я-четвертое к одиннадцатому Я. Юре обидно, что недоступная снежная вершина оказалась такой легкой для смазливенького красавчика. А если бы он не признался, что он — это не он? Что тогда? Эра стала бы его женой? Чьей?

«Эрзац остается эрзацем»,— сказали ему. Юра — четвертое Я — скрипит зубами от досады. Его обманули. Он старался, ломал себя, переделывал, подвиг терпения совершил и в ответ услышал одни оскорбления. Эра с легкостью нарушила слово. На что же надеяться, если слово любимой ничто?

Но не глупо ли, не стыдно ли взрослому человеку надеяться на любовь по договоренности? Смешно перечислять пункты условий. Как будто можно полюбить из честности... Эрзац остается эрзацем. Я — не то, о чем мечтала Эра.

Допускаю, что она сама себя не понимала толком, в своих мечтах ошибалась. Думала, что требования у нее эстетические, а на самом деле в глубине лежало тщеславие. Под руку со знаменитостью хотелось ей идти по жизни. «С кем это идет наша Эра?» Не с безвестным красавцем, а с прославленным деятелем кино. «С самим Карачаровым!» А что я мог предложить ей? «С кем это наша Эрочка? Не с

Карачаровым ли?» — «О нет, это один тип из нашей лаборатории, серая личность. Ужасно похож на знаменитого артиста, но сам по себе ничто. Забавное сходство, правда?»

Быть подругой забавной копии? Естественно, Эра разъярилась.

Разъярилась, прогнала меня, велела не являться больше, но не это самое грустное. Самое грустное, что мне не хочется туда, в заветную квартирку на Кутузовском. Эры там нет. То есть там живет женщина с ее прической, плечами и ногами, но нет безмятежного спокойствия, нет кристальной чистоты, омывающей душу. Ясность была от равнодушия, оказывается, а когда затронули за живое, все замутилось. Словно лесной пруд: небо в нем отражается, синева, голубое зеркало в рамке елей, сапфир в полгектара. А черпнешь воды — и нет зеркала, бурая муть, ил от дна до поверхности.

Нет идеала — вот что самое грустное.

— Гражданин, ваш билетик?

— У меня сезонка.

— Предъявите, пожалуйста.

Лезу в карманы. В грудном нет, в куртке нет. Где же моя сезонка? Наверное, в паспорт положил. Глупая привычка — паспорт использовать как бумажник. Стой, а паспорт где? Вынимал же у Эры, показывал. Вынимать-то вынимал, а куда сунул?

— И долго будем комедию ломать, гражданин? Трудно, конечно, найти то, что не прятал. Платите лучше штраф, не задерживайте.

Я вскипел. Сказал, что не имею обыкновения экономить за счет государства, что человек мало-мальски наблюдательный мог бы понять, что для меня четыре копейки не играют роли, что вообще люди порядочные склонны верить своим согражданам и нужен особо склочный характер, чтобы в каждом подозревать четырехкопеечного жулика, спорить из-за такой ерунды, нервы людям дергать.

В общем, наговорил лишнего должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Сами понимаете: грусть, обида, стыд, ревность, а тут к тебе с билетиком пристают.

Но, возможно, у контролера были свои душевные переживания или недовыполнен план по вылавливанию «зайцев»-безбилетников. В общем, на ближайшей остановке он сдал меня постовому с безапелляционным:

— Нарушал. Штраф платить отказался.

С этим должностным лицом я уже не решился пререкаться и смиренно поплелся в милицию.

К счастью, отделение находилось неподалеку, так что мне не пришлось долго шагать по улицам сквозь строй встревоженно-укоряющих женщин: «Кого это повели? Бандита? Шпиона?»

Милиция у самого дома, а побывать не приходилось. Не без любопытства вошел в приемную. Пустоватая, чисто вымытая комната, даже выскобленная, но со стойким запахом махорки, карболки и сырых шинелей. Широкая деревянная скамья без спинки, вероятно, на нее кладут мертвецки пьяных. Милицейские начальники за решеткой, перед пей топчется пьяноватая, замызганная женщина в грязной спецовке, объясняет заплетающимся языком:

— А что я? Я ничего. Я сижу тихо. Я никого не оскорбляла.

Дежурный, в нарядной новой форме, с гербом на околыше, заполнял анкету, с трудом вырывая ответы. Кое-как удалось выяснить, что женщина тут временно, остановилась у родни, а прописана в Чувашии, в деревне, там у нее двое детей, соседка обещала присмотреть, да и не надо так уж присматривать, потому что старшенькой двенадцать, самостоятельная уже...

— И почему же ты пила па вокзальной скамейке?

— Я, гражданин начальник, никого не оскорбляла. День рождение мое сегодня. Отметила малость и пела потихонечку. Я — человек свободный.

— Ну вот и посоветуй мне, человек свободный,— ласковым голосом сказал майор, подошедший из глубины.— Двое детей у тебя, дети заботы требуют, в школу должны ходить, как полагается. Ну чего ради понесло тебя в Москву, вино пить из горлышка, на вокзале песни распевать? Что нам делать с такими матерями?

— Пятнадцать суток дашь, начальник?

Я уж не заметил, чем кончилась эта дискуссия, потому что именно в этот момент произошло радостное событие.

Я все шарил по карманам, соображая, где может быть паспорт. Очень уж не хотелось мне, сразу после окончательного разрыва с Эрой, бежать к ней же: «Извините, ссорясь с вами, я паспорт не забыл ли на столе?» Ша-

рил по карманам, по куртке хлопал. Вдруг чувствую: что-то твердое под рукой, прямоугольное. Вот он, миленький!

Короче, подкладка отпоролась у внутреннего кармана. Я вовремя не зашил — такое бывает у холостяков; когда совал паспорт, он провалился мимо кармапа под борт. Вот хорошо, ничего не пропало. И сезонка тут же.

И, когда до меня дошла очередь, я уверенно протянул документы дежурному:

— Извините за беспокойство, товарищ лейтенант, произошло недоразумение. Билет у меня был, но провалился под подкладку.

Еще добавил какие-то речи укоризненные, что все-таки в людях разбираться надо, не подозревать в каждом четырехкопеечного жулика.

Дежурный взял билет, внимательно прочел, зачем-то посмотрел на меня еще внимательнее, изучил все страницы паспорта, еще раз пытливо оглядел меня, передал майору, процедура повторилась.

— Где вы работаете? — спросил майор.

— В институте зоопсихологии, аспирант.

— Где родились?

— Там же написано.

— Но я вас спрашиваю.

Ответил.

— И вы утверждаете, что это ваш паспорт? — спросил майор своим ласковым голосом.

И тут я сообразил, что попал в историю. Паспорт-то был мой, а лицо у меня чужое — лицо артиста Карачарова.

— Я наклеил очень неудачное фото,— сказал я.— Вы, наверное, обратили внимание, что сходства мало? Действительно, бывают недоразумения.

— Справедливо, очень и очень неудачный у вас фотограф,— согласился майор охотно.— Вы черноглазый, горбоносый, у вас тип южный, не кавказский, но близкий к тому, донской, пожалуй, ростовский. А фотограф сделал бледного ленинградца в очках, глаза светлые, светлые волосы ежиком. Неужели ретушировать нельзя было как следует? Большая пебрежность с вашей стороны наклеить такое фото. Безусловно, были и будут недоразумения. Давайте, уж если мы встретились с вами, выясним все до конца. К счастью, вы живете недалеко. Сейчас мы вызо-

вем дворника, опросим соседей, установим вашу личность...

В общем, я попался безнадежно. Личность мою никто не установит. Для соседей я — гость Юры Кудеярова. Гость разгуливает с паспортом хозяина — это еще подозрительнее. Единственный выход сказать правду.

— Товарищ майор,— сказал я,— с этим фото связаны некоторые очень серьезные обстоятельства. О них не расскажешь сразу, и нельзя рассказывать всем. Можете вы меня пригласить в свой кабинет, чтобы я изложил все по порядку.

И поведал я этому внимательному, мягкому майору истину. Нет, не всю. Примерно в том объеме, как вам, то, что имел право сказать. Сказал, что я — единственный в мире человек, могущий менять свою внешность по желанию, что, думая о Карачарове, глядя на его фильмы, я становлюсь похожим на него. Вот такой у меня дар или, можно сказать, болезнь, ненормальность. И до сих пор я его скрывал, испытывал, потому что сам не знаю: на пользу этот дар человечеству или во вред?

Майор выслушал меня с выражением серьезного сочувствия.

— А теперь войдите в мое положение,— сказал он.— Допустим, я вам поверил, я даже склонен поверить. Из практики знаю, что задержанные придумывают правдоподобные оправдания. Вы приводите неправдоподобное, сверхфантастическое объяснение — это уже подкупает. Но войдите в мое положение. Сидит у меня в отделении человек, не похожий на фото в паспорте. Что приходит в голову мне, практическому работнику милиции, чье мышление очень испорчено постоянным общением с правонарушителями? Мне приходит в голову, что вы — некто, скрывающий свое подлинное имя, и что Кудеяров одолжил вам свой паспорт. Мне приходит в голову, что вы добыли паспорт Кудеярова недозволенными средствами, может быть применив насильственные действия. Я обязан, просто обязан провести дознание. Как вы опровергаете мои подозрения? Сказкой. И признаете, что никто этой сказки не подтвердит: ни сослуживцы, ни соседи по дому. Вот и рассудите, как должен я поступить, охранитель покоя честных граждан? Посоветуйте.

Я вздохнул, вспомнив ту женщину, которая посоветовала посадить ее на пятнадцать суток.

— Посадите меня на трое суток,— сказал я.— Через трое суток у меня будет прежнее лицо, как на карточке.

— Без предъявления обвинения я могу задержать вас только на двадцать четыре часа для выяснения личности.

— Изменения будут заметны через двадцать четыре часа,— сказал я.— Даже к утру будут заметны.

Я знал, что обратный метаморфоз идет гораздо быстрее, почти автоматически, даже без напряжения. Мне легко было думать о себе как о себе, не как о Карачарове. Через сутки я был достаточно похож сам на себя, и мягкий майор отпустил меня. Правда, до квартиры проводил сам лично и зашел к соседке, расспросил обо мне — о Юре Кудеярове, конечно.

Читательниц, интересующихся в книгах только любовью, должен предупредить, что Эра больше не появится на страницах этой повести. У жизни своя логика. В жизни герои пролога не обязательно присутствуют и в эпилоге. Эру я больше не видел, даже старался не встречаться с ней. А от общих знакомых я слышал, что она вскоре вышла замуж... за театрального администратора, не красавца, но благообразного и очень доброго — к своей семье — «доставалу», из числа тех, у кого жена с норками и гарнитурами. Он даже устроил Эру на сцену — давнишняя ее мечта, но особого успеха она не имела. Эра была натурщицей по натуре, ей было приятно показывать свою красоту, а не выражать какие-то чувства. Чужих она не понимала, своих — не было. Но не буду злословить о девушке, главная вина которой в том, что она не полюбила меня. Каждый выбирает свой путь. Наши пути встретились, пересеклись и разошлись. Роль ее в моей жизни оказалась скромной: из-за нее я угодил в милицию, дальнейшие события связаны с милицией.

ГЛАВА 2

И недели не прошло, как я снова оказался в том же отделении. Меня пригласили по телефону, мягко, но настойчиво. И тот же майор, ласково-ироничный, настойчиво расспрашивал меня, где я провел ночь с субботы на воскресенье.

К счастью, я мог ответить юридически безупречно.

Я был в командировке в Калининграде, как раз пришла китобойная матка: мы встречались с цетологами. От скуки пошел на сеанс 20.40 в кино, не на Карачарова — видеть его не мог. Вернувшись в гостиницу, застал компанию преферансистов в вестибюле, им не хватало четвертого. До трех часов ночи мы выяснили, кому из нас угощать всю компанию пивом. После тяжких трудов, выиграв рубль двадцать, я ввалился в номер, перебудил соседей по койкам, долго выслушивал ругань. Все это майор записал подробно, заставил меня вспомнить фамилии и профессии соседей по номеру, очень-очень извинялся, но продержал в милиции до полуночи.

Еще три дня — новый вызов. На этот раз майора интересовало, что я делал в прошлом месяце — одиннадцатого и двенадцатого числа.

Никак я не мог вспомнить. То ли у Эры время терял, то ли дома валялся на диване, с реферативными журналами возился, пополнял запасы научной информации. Свидетели? Свидетелей не было, конечно. Едва ли в соседней квартире замечают, когда я гашу свет.

Майор цокал языком сочувственно, сокрушенно качал головой:

— Несобранно живем, несобранно. Я бы в школе воспитывал привычку записывать времяпровождение. И для самодисциплины полезно, чтобы часы между пальцев не протекали. Записал — и видишь: два часа проворонил. Труд не велик. И в чрезвычайных обстоятельствах полезно. Я бы очень и очень советовал вам не пренебрегать такой отчетностью.

Я догадался.

— Насколько я понимаю, товарищ майор, вы подозреваете меня во всех нераскрытых преступлениях города.

— Вот видите, вам же это пришло в голову. Не надо обижаться, если и другим придет в голову. Имея такой удивительный дар...

— Но вы же знаете, что дар мой действует медленно. Это не маска: забежал в переулок, снял, надел. Вы сами видели: я у вас сутки сидел.

— Друг мой, дела судебные требуют точности. Я могу свидетельствовать, что вы в тот раз менялись медленно. Но я не имею права утверждать, что вы всегда меняетесь медленно. Не знаю, что и делать с вами. Взять под наблюдение? Нет оснований. Обязать вас являться в отде-

ление трижды в сутки? Для вас затруднительно и неприятно. За что такое наказание? Вероятно, лучше всего, если бы вы с нами поддерживали деловой контакт. Как вы относитесь к тому, чтобы поставить ваши способности на службу правопорядку? Тут вы волей-неволей всегда у нас на глазах.

Я заинтересовался. Впервые вырисовывалась практическая польза из моего невероятного метаморфоза.

— Например? — спросил я.

Майор полистал папки на столе.

— Ну вот пример. Недавно из мест заключения прибыло в Москву некое лицо... с богатым прошлым. В общей сложности в разное время заработало сто четырнадцать лет. Фигура в уголовном мире. И нет уверенности, что оно хочет порвать с прошлым, это лицо. Дня через три оно встречается со своими прежними друзьями-однодельцами, возможно, затевается что-либо противозаконное. Вот мы могли бы задержать одного из приглашенных и показать вам, а вы бы, надев его физиономию, направились бы на это сборище и вступили в контакт с возвращенцем, выяснили бы его намерения.

— Кто? Я? В роли разведчика среди уголовных? Да я на первом же слове разоблачу себя. Не умею притворяться. Вру бездарно.

Пусть простят меня читатели, что я лишаю их этого драматического сюжета. Но я отказался.

— Боюсь,— признался я честно.— Не знаю блатного языка, не знаю блатной жизни, не сумею выдержать роль. «Подвиг разведчика» в кино смотрел с молитвенным восхищением. Не представляю себе, как можно притворяться фашистским офицером среди фашистов и не сбиться ни разу. Какая-то сверхчеловеческая выдержка, самообладание, находчивость. Нет у меня такого таланта, я человек обычный.

— Да, тут особый талант нужен,—согласился майор.— У вас тоже талант, свой, даже более редкий, не прибедняйтесь. Пожалуй, вы правы, ваш талант оберегать надо, а не на карту ставить. Вы особого рода специалист, таких для экспертизы приглашают, не для оперативной работы. Но не вижу пока, в чем вы могли бы пригодиться. Подумайте. Может быть, сами присоветуете.

Я обещал подумать. И придумал. Довольно быстро. Через четверть часа.

Как раз, когда я выходил от майора, хлопнула наружная дверь, и в приемную ввалились два оперативника. Ввалились, потому что их тянула на поводке громадная овчарка, порывистая, с настороженными ушами.

— Ну как? — спросил майор.

— Ничего не выходит, товарищ майор. Рекс не берет след. Три раза заводили в этот подъезд: то на мусорную кучу тащит, то на детскую площадку, то на верхние этажи. Подъезд же. Разные люди ходят: и жильцы, и дети жильцов. Рекс слов не понимает. Не объяснишь ему, что нужен след мужчины средних лет, щербатого, в выпившем состоянии. Это собачьему уму непонятно.

— Конечно, хорошо бы людской ум приставить к собачьему носу,— вздохнул майор,— но не влезают твои мозги в собачий череп. Значит, раскидывай своими, человечьими мозгами, как объяснить Рексу его задачу...

Вот тут я и подумал, что в моих возможностях сделать обратное. Не мозг к носу приставить, а нос к мозгу — вот решение. Действительно, мозг человека не влезет в собачий череп, но вот ноздри овчарки в моих ноздрях уместятся.

И, прежде чем я дошел до дома, у меня уже был готов проект моего двенадцатого Я — человека-ищейки.

Тут же я позвонил по телефону майору, просил мне достать нос собаки — кусочек ткани в спирте.

Подлинные чудеса тем и отличаются от сказочных, что в сказке возможно все, а жизнь соблюдает правила игры. Мой удивительный метаморфоз опирается на некий биологический и биохимический процесс; я вынужден считаться с этим процессом, с теми ограничениями, которые он накладывает.

С одним из ограничений я уже знакомил вас: ограничен темп превращения.

Требуется время, чтобы рассосалась старая форма и возникла новая: на новое лицо — несколько суток, на новое тело — месяц-два.

И еще одно есть ограничение: не все возникает, что захочется. Почему? Потому! Потому, что такие свойства у человеческого организма. Почему у тритона вырастают оторванные ноги, а у человека не вырастают? Почему гусеница превращается в крылатую бабочку, а взрослый человек не становится крылатым? Потому что такие организмы? Такие свойства моего метаморфоза, мог бы я сказать.

А разве медицина всегда знает, почему лекарство излечивает? Излечивает, и баста. Надо припимать.

Так что исчерпывающих объяснений я дать не могу. Но если хотите выслушать мою гипотезу, пожалуйста.

Начну издалека. Образцов Сергей — создатель Театра кукол имени Образцова — выступал и как автор фильма о природе «Удивительное рядом». Смысл заголовка: рядом с нами, в непосредственной близости, происходят поразительные события жизни. Исследователю мира, творцу, необходимо умение удивляться простым вещам, задумываться над очевидным.

Иначе говоря, чудес полным-полно вокруг. Но ежедневное чудо мы не считаем чудом, хотя оно ничуть не менее удивительно, чем чудо, бывающее редко.

Вот классический пример чуда, бывающего трижды в день — за завтраком, обедом и ужином.

Сидит за столом семья: отец, мать, карапуз с тугими щеками, бабушка с дряблыми и сморщенными. Едят все одно и то же: допустим, куриные котлеты с рисовой кашей. Но почему-то котлеты эти, некогда составлявшие часть тела курицы, и каша, сделанная из семян болотного растения, превращается в мужские твердые мышцы у папы, в нежные женские — у мамы, у малыша — в налитые розовые щеки, а у бабушки — в дряблые, пожелтевшие. А у Шарика, доедающего свою порцию под столом, та же курятина превращается в лохматую шерсть и виляющий хвост. А у мухи, беззастенчиво гуляющей по тарелке,— в крылышки, хоботок и ноги с подушечками.

«Но так бывает всегда,— скажет читатель,— так устроено».

А читатель-специалист добавит:

«Так устроены организмы. Пища, любая, разлагается в желудке на простые молекулы, как бы на кирпичи, а из тех кирпичей клетки строят белки по заданной программе. Эта программа записана в генах раз и навсегда».

Вношу поправочку:

«Не раз и навсегда. Ведь старая бабушка тоже была когда-то тугощеким карапузом, потом нежной и привлекательной мамой...»

«Да, конечно, программа видоизменяется с возрастом. Изменяется сама собой, не по нашей воле».

«Так вот, представьте себе, что я меняю программу по своей воле. Чудо? Значит, автоматическое изменение про-

граммы вы не считаете чудом, а произвольное — чудом? Так ли принципиальна разница?»

«Предположим, вы правы в своих рассуждениях,— скажут специалисты и неспециалисты.— Но тогда, в лучшем случае, вы ускорите или придержите старость».

Не только это, товарищи, не только. Я напомню вам еще одну подробность ежедневного чуда. Разнобой происходит и внутри организма. Ведь из одной и той же котлетки ребенок изготовляет и льняные волосики, и розовые свои щеки, и зубную эмаль, и неугомонное сердце, и нервные провода, и мозг, способный все это осмыслить. Все — из куриной котлеты и вареных семян риса.

«И тут никакого чуда нет,— скажет специалист.— Это наука давно объяснила. Каждой клетке дается полный набор генов, но не все они вступают в действие. Бóльшая часть блокируется. У клетки как бы много программ — для построения волос, мышц, костей, соединительной ткани. Но работает только одна программа. Прочие отключены автоматически, без участия сознания».

Так вот, представьте себе, что я могу блокировать по своей воле. Конечно, я не подаю команду каждому молекулярному блоку. Я только воображаю, что именно у меня должно вырасти и что должно исчезнуть. Да, могу вырастить третью ногу и третий глаз. Пробовал для интереса.

Специалисты пожимают плечами в глубоком сомнении. Неспециалисты готовят возражение:

«Но, блокируя, можно вырастить только то, что организм способен вырастить. Третью ногу, но не ноздри собаки».

И тогда я скажу одно слово:

«Вирус!»

Знаете вы, как размножаются вирусы в организме? Они забираются в ядро клетки, в самый штаб живого завода, в архив, где хранятся программы, блокируют человеческие гены и заставляют клетку выращивать вирусы по образу и подобию первого интервента. Подавленная клетка сама изготовляет своих убийц. Я хочу сказать, что клетки тела могут штамповать что угодно, лишь бы им дали образец для штамповки и отключили прежнюю программу.

Гены овчарки я собирался извлечь из заспиртованного носа.

Объяснение закончено.

А технику превращения я уже описывал.

Да, конечно, я смотрел фильмы с героическими собаками: «Белый клык», «Джульбарс», «Дай лапу, друг», «Ко мне, Мухтар!» Ездил я по Москве из конца в конец, разыскивая собачьи фильмы. Катил из Медведкова в Зюзино, из Хорошева в Новогиреево. Сидел на дневных сеансах с озорными мальчишками, на вечерних — с нежно прижавшимися парочками. Самого артиста удалось найти — овчарку по имени Мухтар. Громадный оказался пес, желто-серый и пушистый, теленок целый, а не собака. Очень грозен был с виду и добродушен как телок, избалован гостями. Уже не снимался больше, проживал на покое на писательской даче, километрах в сорока от города. Вот и я, сидя на скамейке в писательском саду, почтительно следил, как могучий Мухтар, игнорируя мое бесполезное присутствие, изучает новости мира носом. И воображал себе, что я тоже чую два яруса запахов: запахи дорожек, околоземные, и запахи летучие, принесенные ветром, микрозапахи почвы и телезапахи воздуха. Воображал, что исследую окрестности носом — черным, влажным, подвижным, как у Мухтара.

Тут есть некоторая тонкость, доставляющая немало трудностей воображению. Я же не хотел превращаться в собаку. Стало быть, мне нужно было представлять себя не Мухтаром, а человеком с носом Мухтара. Меня вовсе не прельщали лохматая шерсть, виляющий хвост и настороженные уши. Ноздри нужны были, только ноздри. Так что я с беспокойством пресекал ненужные ответвления мысли. Нос мне нужен, нос, а не хвост. Спину ощупывал с опаской: не набухают ли хвостовые позвонки?

Примерно со второго дня у меня начали зарастать ноздри влажной черной мякотью, неуместной на человеческом лице. Черное распирало мой естественный нос, такой благородно прямой. Он раздался, распух, задрался вверх этакой неаккуратной бульбой. Все это саднило, давило, болело. Боль ползла вверх, жгло переносицу, лоб сверлило. Вероятно, это врастали в мозг нервы моего добавочного носа. Ах, как легки превращения в сказках: ведьма топнула ногой, колдун взмахнул волшебной палочкой, полыхнуло синее пламя... и оборотился добрый молодец шмелем, комаром, быстрым кречетом, серым волком. Нос нужен мне был, один волчий нос только, и то мучился

я двое суток с головной болью. Увы, мечты далеки от подлинной действительности, так же как ковер-самолет от самолетостроительного завода.

Наконец голова утихомирилась, новые нервы поладили со старыми... и в то же утро произошел прорыв в страну ароматов.

Мир заполонили запахи. Пахли стены и стулья, пахли занавески застарелой пылью и уличной копотью, пахли чашки и тарелки, хотя я мою их как следует, кипятком. Из кухни доносился целый ансамбль пронзительных запахов, не только из моей кухни, но и всех соседских — и с верхних, и с нижних этажей. Сразу узнал я, у кого что готовится на обед.

Я открыл форточку — свежий воздух принес еще серию ароматов: штукатурных, лиственных, асфальтовых, машинно-бензиновых, суконных, нейлоновых, а в основном незнакомых. Не могу сказать, что это было противно. Наоборот, я чувствовал себя как турист, любующийся живописным ландшафтом. Куда ни глянешь — красота: разнообразные купы деревьев, светлая зелень лугов, синева дальних рощ, блестящие извивы речки, крыши серые и красные. Вся разница: турист обводит пейзаж глазами, а я поводил носом. Куда ни повернешься — отовсюду текут ароматы: гаммы, мотивы, целые симфонии ароматов. И хотя не все они приятны в отдельности, в целом получается интересный ансамбль, в нем хочется разбираться, хочется и наслаждаться общей тональностью.

Заметил я, что густые, плотные запахи близких вещей не забивали тонких струек, присланных издалека. Казалось бы, запахи моей рубашки, стола, книжного шкафа, одеяла должны заглушить ароматические приветы, просочившиеся с улицы. Но, видимо, мой новый нос умел настраиваться на дистанцию. При желании я мог не замечать ближние запахи, если они были недостойны внимания.

Конечно, зверю необходимо такое умение. Должен же хищник, идущий по следу, выделять запах добычи, выключать из внимания «барабанные» запахи травы, земли, листвы. Как это устроено в носу, не знаю. Возможно, для каждого сорта запахов есть свои чувствительные клетки. И сколько бы ни было травяных ароматов, есть приемники мясочующие: каналы их всегда наготове, готовы уловить легчайший намек на возможный обед.

В следующие дни я исследовал мир с точки зрения обонятельной. Жил, поводя носом.

Чувствовал я себя как неграмотный, освоивший только что азбуку. Пожалуй, еще точнее сравнить себя с прозревшим слепорожденным. Наконец-то он увидел, как выглядят знакомые предметы. Стакан, гладкий и прохладный на ощупь, оказывается, просвечивает. Шероховатая, с пупырышками стена выкрашена в пронзительно желтый цвет. Нечто, гудящее за окном,— блестящая лакированная машина. Нечто, закрывавшее горячее солнце,— белые, серые, сизые, пухлые или плоские облака. И еще есть множество цветных пятен, которые не удавалось пощупать никогда. Что это, что это?

Так и я узнавал, что каждая вещь имеет не только форму и звучание, но еще и запах. Затхлостью и кошками пахла лестничная клетка. Хозяйка из квартиры напротив пахла жареной рыбой и хозяйственным мылом; ее горластый внучек — теплым парным молоком, а его мама — удушливо мучной пудрой. Прохожие на улице пахли цементом, яблоками, складской землистой картошкой, «парикмахерским» одеколоном и горячим железом — запахи сообщали о профессии. И еще входили в ноздри сотни запахов, неизвестно чьи, неизвестно откуда. «Что это, что это?» — спрашивал я себя. Себя! Ведь не было опытного «зрячего» в запахах, который мог бы мне дать ответ.

Сколько иностранных слов может запомнить ученик? Вероятно, десятка два в день при хорошей памяти. В первые же часы я нагрузил свой нос сотнями букетов. Естественно, все они у меня перепутались, страшно разболелась голова, как в музее от обилия картин. К обеду я улегся в кровать, заткнул себе нос, чтобы не чуять ничего. Так вы затыкаете уши, обалдев от гвалта детишек, от рева машин на проспекте.

Голова была в напряжении и потому, что все новые запахи приходилось заучивать наизусть, ничего нельзя было записать на память. У каждой книги в шкафу был свой запах, у каждого человека свой запах, но как это выразить словами? Нет терминов в языке для характеристики запахов. Есть слова цветовые: красный, желтый, белый, серый, черный, зеленый... Есть слуховые слова: шум, свист, гул, шорох, баритон, тенор, сопрано. Есть слова вкусовые: кислый, сладкий; есть осязательные: гладкий, шероховатый, мягкий, твердый, острый. Но слов обо-

нятельных нет; запахи мы описываем сравнительно: запах розы, герани, керосина, дегтя, запах яблок, запах помойки, запах мышей. Но какими словами объяснить человеку, никогда не видавшему мышей, как они пахнут? Какой у них запах: серый, бурый или малиновый? Нет же смысла составлять длинную таблицу и вписывать в нее, что мышь пахнет мышью, Иван Иванович — Иваном Ивановичем, а Петр Иванович — Петром Ивановичем. Какие-то формулы нужны, как в дактилоскопии, что ли, какая-то классификация запахов.

Но все сразу не поднимешь: теорию, фактографию, терминологию. Для начала я решил заняться насущной практикой: научиться отыскивать людей по запаху.

Вот и подходящий случай для эксперимента. Со двора доносится резкий голос соседки, той, что пахнет жареной рыбой и стиральным мылом. Соседка потеряла молочного малыша. «Только что был туточки, сбегала на угол за капустой, а его и след простыл. Игрушки разбросал, негодник, а сам исчез».

Игрушки разбросал? Превосходно! Есть возможность обновить воспоминание о запахе.

Сбегаю с лестницы сломя голову. Тороплюсь, как бы «негодник» не нашелся без меня. Беру в руки деревянный грузовик с веревочкой для таскания на буксире. Расспрашиваю, выражаю сочувствие, а сам незаметно подношу к носу. Да-да, это тот самый вкусный запах ребячьего тела и парного молока.

Хожу по двору кругами, постепенно увеличиваю радиус. Нагибаюсь, будто ботинок завязываю. Молочный запах ведет к ящику с песком. Вот и следы от колес: малыш возил свой транспорт по песчаной куче. Нет, это было раньше. До того, как грузовик бросили в беседке.

Обхожу двор, принюхиваюсь. Наверное, у собак это получается проворнее, но я пока неопытная ищейка. Молочный запах ведет меня к штакетнику, оттуда к соседнему корпусу. У третьего подъезда запах чувствуется сильнее всего. Неужели мальчик перепутал двери? Поднимаюсь по лестнице, обследую каждую площадку. На третьем этаже следы самые отчетливые. Четыре квартиры сюда выходят. Запах ведет направо. А вот и ребячьи голоса звенят за дверью, обитой дерматином.

— Дарья Степановна, ваш Витя в тридцать шестой квартире.



Вот и следы от колес, но это было до того, как грузовик бросили в беседке.

— Ах, разбойник! Да кто же ему разрешил в гости идти без спросу?

Окрыленный удачей, выхожу на улицу, ищу объект посложнее.

Кого выбрать? Да хотя бы эту беленькую девушку с букетом сирени. Славная такая девчонка, стройненькая, каблучки стучат так весело. Молодость — на девушек обращаешь внимание прежде всего. Но удобно, что сирень в руках, новый запах запоминать не надо.

Провожаю глазами стройную фигурку, пока она не скрывается за углом. Жду три минуты по часам, даю ей возможность свернуть еще куда-нибудь, чтобы не было соблазна глазами искать. Ну и хватит. Теперь пойду по следу.

Сирень, сирень, сирень отчетливо ощущается до поворота. Еще сильнее за углом. И с каждым шагом все гуще запах. Сирень оглушает, подавляет, забивает все запахи. Кручу головой: где эта девушка, не за спиной ли у меня?

И тут замечаю, что у самого моего носа, такого сверхчувствительного,— кусты цветущей сирени.

Вот олух! Кто же это выбирает такой нехарактерный запах в весенней Москве? Все равно что по запаху бензина шофера искать в гараже.

Хожу, хожу по улочке от забора к забору. Сиренью пахнет повсюду, но едва ли от веточки в руках девушки.

Как быть? Присаживаюсь на лавочку подумать. Вот тут и должно сказаться мое человечье превосходство. Собака лишена такой возможности — она ничего не придумает, потеряв след.

Возвращаюсь к калитке своего дома, где впервые увидел ту девушку. Сиренью еще пахнет — улавливаю. Теперь мне нужно понять букет, какие запахи сочетаются с сиренью?

Анилиновый запах крема для туфель. Подойдет!

Запах мокрых волос. Свежий запах здорового, чисто вымытого тела. Видимо, купалась моя девушка. Недаром показалась такой чистенькой, беленькой с первого взгляда. Очень слабый запах хлора. Возможно, в плавательном бассейне была. Как будто все правильно: сирень, анилин, мокрые волосы, хлор встречаются вместе — неразрывный букет.

Иду неторопливо, наклоняясь через каждые двадцать шагов. Волосы и хлор ведут меня за угол мимо кустов

сирени, переводят через улицу наискось в промтоварный магазин. Ну конечно, девушка не могла же пройти мимо магазина! Но внутри ее нет, не задержалась, не нашла ничего привлекательного. А вот и лепесточки сирени у прилавка — тут она постояла, вискозой любовалась. Ничего не взяла, но пропиталась запахом магазина: пыльным сукном, потной одеждой.

Магазин + хлор + мокрые волосы + анилин + сирень...

Пять примет ведут меня в соседний переулок. Прохожу домик прошлого века с кариатидами и современный из стеклобетона, далее стандартные пятиэтажные корпуса без лифта.

Стоп! Запахи исчезли. Девушка вошла в ворота.

Ищу их в проходном дворе. Кажется, в это парадное. Лестница, возмутительно пропахшая кошками. Мой новый нос нервозно относится к кошачьему запаху, выделяет его где надо и где не надо. Вот эта дверь как будто пахнет сиренью. Позвонить, что ли?

Ну конечно, открывает та самая девушка, олицетворение чистоты. На волосах косыночка, прядки над ушами еще мокрые, в руках сирень, не успела поставить в вазу. Что бы ей сказать, почему я звонил?

— Простите, Ивановы здесь живут? (Не придумал фамилию пооригинальнее.)

— Я Иванова. (Вот так совпадение!)

— Наташа Иванова нужна мне. (Тоже не слишком оригинально. В моем поколении половина девушек — Наташи, вторая половина — Марины.)

— Я Наташа Иванова.

Судьба!

— Нет, вы не та Наташа,— говорю.— Вы гораздо симпатичнее.

После этой удачной слежки я храбро направился к моему майору и предложил использовать в деле мои новые способности.

— Хорошо,— сказал он.— Подберу дело попроще.

В течение следующего месяца мой нос наполняли преимущественно два запаха: водки и крови.

Дела «попроще» были на редкость однообразны. Все они сводились к двум вариантам.

Вариант первый: дело было вечером, делать было нечего. Вышел Вася на улицу, встретил Вову. Чем заняться? Выпить, что же еще? Пошли в магазин, у входа познако-

мились с Витей (Виталькой или Валеркой), сложились по рублю, раздавили одну на троих. Показалось мало: вывернули карманы, посчитали мелочь, бутылки сдали, раздавили еще одну па троих, показалось мало. Набрали на третью. Тут Вася окосел, свалился в канаву и заснул, а Вова с Витей (Виталькой, Валеркой) завели задушевный разговор о взаимном уважении. И что-то там было не так, пустая бутылка под рукой, Витя размахнулся...

— Гражданин начальник, поверьте, не помню ничего. Затмение нашло. Полный провал, невменяемое состояние. Не помню, что бил, не помню, что убежал. А может, и не я вовсе, может, это приятель его стукнул, а на меня сваливает.

Вариант второй: дело было вечером, делать было нечего. Вышел Вася на улицу, встретил Вову. Что делать? Выпить, конечно. Пошли в магазин, там у дверей познакомились с Витей (Виталькой, Валеркой), сложились, раздавили одну на троих, показалось мало. Сложились еще раз — мало. Карманы вывернули — нет ничего. «Ребята,— сказал тогда Валерка (или Витя),— да что же мы, не мужчины, что ли? На бутылку раздобыть не можем. Айда в соседний переулок... Гражданочка, позвольте вашу сумочку тихо, без шума... Ах, ты еще вонить вздумала? Бутылка в руке, голову сама подставила, дуреха...»

— Гражданин начальник, поверьте, не помню ничего, честное слово! Затмение нашло, сплошной туман. Невменяемое состояние, у меня бывает такое. А вы уверены, что это я ударил? Может, другой кто из этих типчиков? Алкоголики, пропащий народ. Шныряют перед магазином, ищут, с кем бы раздавить на троих...

Вариант первый, вариант второй, вариант первый, вариант второй. И так целый месяц — весь июнь.

Я уже подумывал, чтобы прекратить опыты с моим двенадцатым обонятельным Я, исподволь подыскивал объекты для тринадцатого.

Но вот однажды майор сказал мне как бы мимоходом:

— Какие планы у тебя на лето? Попутешествовать не хочется?

Я сказал, что вообще люблю путешествовать, в особенности пешком, с рюкзаком за плечами.

— А как насчет самолета?

— Самолет нравится меньше. Это что-то вроде заоб-

лачного метро. Вошел на остановке, вышел на следующей, по дороге смотреть не на что.

— Жаль, жаль! А я как раз хотел предложить тебе самолет. Пароходом плыть долго, больше недели, и с визами возня.

— Визы? За границу, что ли?

— Догадливый ты стал до невозможности. Речь о Канаде, о Всемирной выставке. Незадача у них там — исчезли картины, хорошие полотна, наши в том числе, из Эрмитажа привезенные. Что-то сами они не сумели разобраться. Вот я и предложил нашему генералу послать тебя. Если ты, конечно, согласишься на самолет... для экономии времени. Обратно можешь плыть, если очень захочется.

Как в воду глядел майор. Угадал на мою голову.

ГЛАВА 3

Не так давно, еще в дни моего детства, путешествие за океан действительно было большим путешествием: надо было ехать и ехать по разным странам, пересекая границы, опутанные колючей проволокой; плыть и плыть по шумному океану, страдая от морской болезни, ждать и ждать дни и часы, когда наконец встанут из-за горизонта голубоватые силуэты строений другого мира.

А ныне граница находится под Москвой, на Шереметьевском аэродроме. Подъезжаешь туда на автобусе меньше чем за час от центра, заполняешь декларацию о том, что не везешь с собой ничего недозволенного: ни золота, ни драгоценностей, ни водки, ни закуски. А затем парни в зеленых фуражках выпускают тебя из Советского Союза.

Емкое чрево «ТУ-114» поглощает меня. В чреве кресла в белых чехлах, по шести в ряд. На мое счастье, мне достается крайнее — у круглого иллюминатора. Зажигается надпись: «Просьба не курить. Пристегнуться ремнями». Моторы начинают реветь... и ревут десять часов подряд.

Почти над самым Шереметьевом входим в облака. За окном сверкает мир ослепительно белых сугробов, мир туго взбитых подушек под густо-синим пологом. Мир этот красив, незапятнанно чист, даже разнообразен по формам, но слишком одинаков для всей планеты.

Летим над Прибалтикой. Сугробы и подушки. Летим над Балтикой. Сугробы и подушки.

«Под нами Стокгольм»,— объявляет стюардесса.

Сугробы и подушки.

Сугробы над Швецией, сугробы над Норвегией. Как мне писать отныне в анкетах: был я или не был в Скандинавии?

Над Атлантическим океаном сугробы и подушки.

В современном самолете есть что-то восхитительное и возмутительное одновременно. Он облегчает путешествие и отменяет путешествие. Я лечу по путям древних викингов, Эрика Рыжего и Кабота. Их героический путь я проделал, не видя пути. Пересекаю океан — океана не вижу.

Где-то уже часа через три в горном сверкающем мире появляются промоины. В них видно нечто морщинистое, сизое или синеватое, напоминающее искусственную кожу — ледерин. Если старательно присматриваться, замечаешь, что морщины перемещаются,— это пенные гребни океанских валов. Ледерин показывают вместо океана.

Судна ни одного, ни разу на тысячи километров. Пустовата еще наша планета.

Стюардесса объявляет: «Справа по борту Гренландия».

Страна эскимосов, Нансена, Рокуэлла Кента, величайший в мире остров с величайшим ледником: утесы, фиорды, ледопады, айсберги, бездонные трещины...

Мы видим что-то коричневое с белыми вмятинами.

Наконец на восьмом часу полета морщинистая кожа сменяется глухой синевой. Американский континент!

Он весь в реках и озерах. Реки как бы выложены фольгой — серебристые ленты вьются на синем фоне. А одна лента широченная и почему-то не серебряная, а латунная. Это река Св. Лаврентия.

Снижаемся. Сосем конфеты, но в ушах все равно больно. Уже видны прямые просеки в лесах и на перекрестках поселки, похожие не на села, а на топографические знаки. Блошиные автомобильчики резво катятся по прямым дорогам. И, хотя у нас все это выглядит именно так же, я смотрю с жадным любопытством, ибо поселки, дороги и автомобильчики чужеземные, американские.

А потом под крыло подлезают кварталы, кварталы, кварталы пятиэтажных кирпичных домов, толчок — и самолет катится по бетонной дорожке, такой же как на всех других аэродромах.

Но это другой материк. Это Новый Свет, это Канада.

А какая она, Канада?

Человек, побывавший за океаном, вынужден в каждом обществе снова и снова пересказывать свои впечатления. В сущности, мне не надо бы рассказывать, я в Канаде пробыл несколько дней. Я не могу делать доклад о стране, могу изложить только поверхностные впечатления: что бросается в глаза свежему человеку, прибывшему из Москвы.

Цвет прежде всего. В моих глазах каждая страна, где я был, имеет свои цвета. Югославия — красно-бело-синяя, как ее национальный флаг: белые дома с красной черепицей у очень синего моря. Германия — серая. Это цвет цемента: цементом там обмазывают дома, как у нас известкой. И этот цвет копоти: застарелая копоть толстым слоем лежит на саксонском известняке, а счищать ее нельзя — известняк мягкий, лепнина будет обдираться при чистке.

Так вот, Канада пестрая, броско-пестрая, глянцевито-пестрая, как обложка двенадцатицентового комикса. Пестрые машины на улицах, пестрые витрины, ярко выкрашенные дома, крылечки одного цвета, стены другого. Кирпичные стены нередко красят масляной краской. Но больше всего пестроты вносят рекламы, днем красочные, ночью огненные, вспыхивающие, крутящиеся. Иллюминация каждый вечер на торговой улице Сен-Катрин.

Почему такая яркость? Да от конкуренции. На одной улице два десятка обувных магазинов,— надо, чтобы мой бросился в глаза покупателю. Нередко рядышком друг против друга заправочные станции конкурирующих фирм. Вот они и кричат красками: «Ко мне заверни, ко мне!» Сверкает желтая ракушка «Шелл», красная звезда «Тексако», «ВС» на синем фоне, красные буквы «ЭССО». Кто ярче, кто громче, кто бросится в глаза!

Запомнились дороги и особенно пространственные развязки — пересечения дорог в три этажа. Развязки-то есть и у нас — классические клеверные листки. Но листки, такие изящные в плане, на местности плоски, все их завитки лежат на зеленых откосах. Там попадались нам развязки на эстакадах, этакие бетонные астры, вознесенные над домами и рельсами. И пестрые машины льются по ним, выписывая плавные кривые, одни на уровне третьего этажа, другие на пятом, седьмом. И как они там находят, куда надо развернуться, это тайна водителей.

И небоскребы запомнились: розовые и серые утесы, врезанные в небо. В Монреале их не так много, десятка полтора, не выше нашего университета, много ниже Останкинской башни. Их немного, но городу они необходимы, без них у Монреаля нет силуэта. От многих людей я слыхал, что небоскребы их подавляют, душат, давят. Присоединиться не могу. Меня небоскребы бодрят, в меня они вселяют гордость, уважение к человеку, который этакие махины сумел поднять. И незачем считать их достижением капитализма — это достижение мастеров, инженеров и рабочих.

Но вот что бросается в глаза: в наших высотных домах по преимуществу квартиры и министерства. У нас самое обширное в мире хозяйство, управление этим хозяйством требует емких зданий. Там в небоскребах — дорогие гостиницы, страховые компании и банки. Газеты могут сколько угодно трепаться о демократии, а архитектура сама говорит: главное-то — деньги, банки всех выше.

И как не вспомнить, что в Канаде правительство находится в Оттаве, тихом городке, седьмом по количеству населения. Правительство тихо заседает в провинции, а жизнь — в Монреале, Ванкувере, Торонто — в центрах торговли и финансов.

Я думаю, что банки иногда нарочно строят здания повыше без особенной надобности, только для внушительности, для престижа. Без престижа нет кредита, нет доверия. А как создается престиж? По видимой, весомой собственности, по убедительной недвижимости. Не только банки, но и маленькие торговцы стараются прихвастнуть собственностью. Собственный дом, собственная квартира — марка солидности. Я видел дома, раскрашенные в три краски. Владелец каждого крылечка старался продемонстрировать свою независимость. Почти повсеместный обычай: по фасаду вьются лестницы, ведущие на второй этаж. Жители второго этажа хотят иметь собственные квартиры с собственным входом, даже если для этого нужно зимой карабкаться по обледенелым ступеням.

Сам я жил на главной улице номер 1980. Нет, не так уж далеко от центра, примерно на уровне Садового кольца. Но там принято нумеровать не дома, а двери. У меня была дверь номер 1980. Так адрес выглядит солиднее, как будто бы собственный дом.

В Вестмаунте, районе коттеджей, самом богатом в Мон-

реале, тихом и пустынном городке, где по улицам скачут белки и прохожих не бывает, потому что, выходя из двери, люди садятся сразу в машину, я видел дом, распиленный пополам. Его владелец был самым богатым человеком в городе, а когда он умер, некому было продать дом. Половину же никто не хотел купить—несолидно быть владельцем половины дома. Пришлось распилить здание и сделать проход между половинками, чтобы каждый из полупокупателей мог считать себя независимым владельцем.

Собственность — идеал, собственность — пьедестал, и люди положительные стремятся к собственности.

Важно накопить деньги, а деньги не пахнут. Все равно, откуда они пришли. Где-то за городом у большой дороги я увидел щит с броской надписью: «Продаются черви и лягушки». Нет, не голодающим, конечно. Местность озерная, в озерах водится форель, на уик-энд приезжают любители рыбной ловли; червей копать им неохота, есть спрос на наживку. И некий предприимчивый делец организовал массовый сбор червяка. Червями деньги его не пахнут.

Был бы спрос — предложение будет. Важно, чтобы деньги платили. Потрясли меня, как и всех приезжающих, характерные для англосаксов магазинчики «Страна шутки»; я бы перевел: «Магазин пособий для хулиганства». Здесь можно купить резиновую змею, толстую, серую, гибкую, совсем как настоящую, и положить ее в постель своей старшей сестре или тете. Можно купить бляхи с ругательствами или угрозами: «Берегись, сегодня мафия убьет тебя!» Можно купить для подарка конфетную коробку, из которой выскакивает мышь на пружинке («Ух ты, как завизжит именинница!»). Или порошок, который превратит суп соседа в кровавую жижу. Или столовый прибор для худеющих: дырявая ложка, беззубая вилка, сломанный нож. Маски — уродливые, с язвами, красноглазые, страшные; маленький братишка разревется обязательно. Неприличные надписи, неприличные картинки. Непишущие ручки, незажигающиеся спички...

Мальчишки развлекаются нарисованными драками, машут игрушечными ружьями, юноши дерутся всерьез и покупают серьезное оружие в любом магазине оружия по сходной цене. Пистолет стоит дешевле, чем визит к врачу.

Пистолет стоит дешево, и деньги не пахнут, и фильмы прославляют риск...

На задворках моего дома с дверью номер 1980 был небольшой бассейн, бетонированная яма, достаточно глубокая, чтобы можно было утонуть в ней. Бассейн огорожен не был, а у ступенек стояла доска с надписью: «Плавайте на собственный риск». Для меня это было нечто странное. Я бы этот бассейн огородил, или засыпал, или поставил бы дежурного спасателя, или хотя бы вывесил плакат с четкой надписью: «Купаться воспрещается. За нарушение виновные будут привлекаться к ответственности с наложением штрафа». Я говорил об этом своим канадским знакомым, они пожимали плечами. С их точки зрения, все было «олл райт». Людей предупредили, дальше они сами решают: рисковать или нет? И я подумал, что таков стиль жизни на Западе. Ты живешь на свой риск. Добываешь деньги как угодно и где угодно. Если попадешься на недозволенном — это твой риск. Работаешь сколько угодно. Если надорвешься и заболеешь — это твой риск. Развлекаешься, как угодно, покупаешь любые игрушки, даже огнеопасные. Если попадешь пулей в чужую голову — это твой риск. А также риск того, который не сумел сберечь свою голову, подставил ее под пулю. Каждый плавает на свой риск.

С джентльменами, решившими рисковать, вскоре мне пришлось встретиться.

Все это я рассказываю, забегая вперед: я складываю впечатления первого дня и последующих. Конечно, мне не дали возможности целую неделю фланировать по Сен-Катрин, сравнивая витрины. Прямо из аэропорта меня повезли в гостиницу и в тот же день — на место преступления.

Самолет покинул Москву в 11 утра и приземлился в Канаде в 2 часа дня после десятичасового перелета. Арифметическая неувязка за счет разницы во времени. К пяти часам по американскому времени спать хотелось неудержимо (мой организм ощущал полночь), но опытные люди предупредили меня, что в первый день надо перетерпеть. Иначе все пойдет кувырком: выспишься вечером, почью будешь бродить по комнате, после обеда опять захочешь спать. И я перетерпел, в первые сутки устал до потери сознания, спал как убитый и вошел в чужой ритм.

Итак, в полночь по-московски, в пять вечера по-монреальски, ко мне в гостиницу явились полицейские инспекторы, чтобы ввести меня в курс дела. Их было двое:

мистер Джереми и мистер Кэйвун. Мистер Джереми — долговязый, костистый и мрачный. Казалось, его долго коптили над дымным костром и провялили насквозь, не оставили ни капли жира. Глядя на его темное лицо, гораздо темнее, чем мундир, я задумался, откуда он родом. И, предупреждая неуместные вопросы, Джереми сообщил, что он англо-канадец. В Канаде очень обращают внимание на происхождение; национальные группы держатся компактно. В Монреале есть районы французские, английские, итальянские. И местный житель, представляясь, обязательно отметит, что он франко-канадец, итало-канадец, испано-канадец. Англо-канадцы, как правило, более привилегированные и обеспеченные. В Монреале 60 процентов франко-канадцев, но из трех университетов два английских и только один французский.

А мистер Кэйвун был украино-канадец (Кавун — его природная фамилия). Украинцы, преимущественно потомки переселенцев из Львовщины и Волыни,— четвертая по количеству населения национальная прослойка в Канаде. Кэйвун традиционно брил голову, носил запорожские усы и говорил на чудесном певучем украинском языке, перемежая речь неуместными англицизмами:

— У моей дочки чоловик маэ малэнький шоп та йидальню. Та хиба ж це бизнес у нашем дистрикте. Голодранци, незаможники. Такий берз пиво та хотдогс («хотдогс» — горячие собаки. Почему-то так называются маленькие сосиски). Та сидаз цилий динь.

Втроем мы тут же направились на выставку — на место преступления. Но о выставке я рассказывать не буду, потому что рассказывать надо слишком много и это далеко уведет в сторону. Выставка — это же не Канада, это нечто искусственное. Более того: Всемирная выставка не давала представления обо всем мире. Там можно было узнать только, как хочет выглядеть в глазах мира каждая страна.

И еще я узнал на выставке, как тяжко живется архитекторам, как стесняет их извечная необходимость обязательно делать в каждом доме двери, ряды окон, плоские этажи. Понял, как тяжко приходится зодчим, которые пишут свои каменные поэмы считанным количеством неизбежных каменных слов.

Но на ЭКСПО оконно-этажные догмы были не обязательны. Твори как вздумается! Раззудись, рука!

У американцев павильон в виде ячеистого шара, этакий стрекозиный глаз высотой в двенадцать этажей. У мексиканцев — раковина с рогами, у Канады — пирамида, поставленная на острую вершину. Павильон деревообделочников — в виде елок зеленых, жердочки вертикальные, жердочки горизонтальные, кубы, треугольники, болт с гайкой, палатка, труба. Дом будущего, сложенный из кубиков; каждый кубик — квартира. Похож на соты или на аул в Дагестане, где сакли лепятся по склону горы. И все это увито монорельсом, мелькают в воздухе вертолетики с прозрачными хвостами, грохочут ревущие «ховеркрафт» — суда на воздушной подушке... Шумно. Крикливо. Пестро.

Совсем скромно выглядел на этом фоне павильон искусства — обыкновенный павильон с колоннами у входа и нормальной очередью на полчаса. Впрочем, и там нашлось чему удивляться.

Удивляла экспозиция. В первый момент казалось, что устроители расставили экспонаты кое-как, как пришлось, до сортировки руки не дошли. Рядом висели нежные мадонны эпохи Возрождения, угловатые, с яйцеобразными лицами красавицы модернистов, тут же стояли хищные, с покатыми лбами ацтекские идолы и соломенные чучела из Гвинеи — очень выразительные чучела, сплетенные из бамбуковых стеблей, например соломенная мать с соломенным ребенком. И так в каждом зале: старина, классика, экзотика, абстракции... Как оказалось, устроители выставки решили подчеркнуть извечность человеческих чувств и свойств и расставили экспонаты не по эпохам, как мы привыкли, а по темам: «Любовь», «Материнство», «Труд», «Бунт». Дескать, люди были людьми во все эпохи, всегда любили, всегда трудились и всегда бунтовали. Излюбленный мотив западной пропаганды: так было, так будет и незачем тужиться, стараться что-то менять. Но само искусство решительно протестовало против идеи извечности. Не было сходства между соломой и мрамором. Не видел я мадонн в гвинейском плетении.

И еще удивляло обилие полиции. Так привыкли мы к музейной сонной тишине, к старушкам-пенсионеркам, дремлющим в углу зала среди драгоценных реликвий. Тут в каждом зале бродили три-четыре молодых охранителя в мышиных мундирах. Стоило вам остановиться у картины, сразу двое устремлялись с двух сторон с настороженным

взором. Я спросил, не связана ли усиленная охрана с кражей. Нет, ответили мне, стража и раньше была не меньше. Но вот не уследили...

Для моего нового носа экспонаты еще и пахли по-разному. Ароматы мира были собраны для меня в этом музее. Горячей, сухой пустыней пахли египетские статуэтки, благородные греческие статуи — оливковым маслом, а римские — луком и молодым, недобродившим вином, кислятиной, чуть ли не уксусом. Копотью и лампадным маслом тянуло от византийских икон, а от безглазых готических статуй — золой и запекшейся кровью. Уверяю вас — кровью, уж я-то в угрозыске научился различать этот запах. Но роскошнее всего был букет гвинейских чучел: запах болотной прели, пряных цветов, бананов и еще каких-то неведомых мне фруктов и острый запах звериного пота. Подогретая парфюмерная лавка! Духи, пролитые на печь.

А в каком-то углу на меня повеяло чем-то очень и очень знакомым: вроде бы холодной сыростью, резким ветром, сдувающим пар с дымящейся на морозе реки. Я поднял глаза. Ну конечно, полотно из Эрмитажа, Тицианова «Магдалина» с опухшими от слез щеками, впитавшая запах Невы.

Мистер Кэйвун дергал меня за рукав:

— Та пийдемо. Побачим цей закуток, иде був кримiнал.

— Я попробую сам найти,— сказал я.

Горячая пыль пустыни. Маслины и лук. Томатный соус с перцем. Тропические фрукты. Туман с привкусом серного дыма. Морская соль. Сырой ветер с реки.

— Тут она висела?

— Ну це не диво,— сказал украино-канадец, несколько озадаченный.— Пустый закуток, як же не бачить. Кудо втикло це малювання — тзет из тзе квешен.

«Куда втикло?» Действительно, всю Канаду не обойдешь, принюхиваясь. Чем я мог помочь? Мог, в лучшем случае, проследить, каким путем выносили картину. Мог выявить при этом сопутствующие невскому ветру запахи. Может быть, они укажут на кого-либо из служителей, помогавших ворам.

Первая ниточка — запах зимней Невы у Зимнего дворца.

Пахнет ли Невой дверь из этого зала, лестница, вестибюль, портал с колоннами?

Нет. Картины выносили не через главный вход.

Пахнут ли Невой окна?

Нет. Картины выносили не через окна.

Загадка для классического детектива: преступление в запертой комнате. Как ушел преступник, если не через дверь и не через окно?

Проще предположить, что ушел обычным путем, а запах выветрился.

Снова вернулся я к месту происшествия, попробовал составить ароматический букет. Чем пахло в углу, где висела картина?

Запах краски, запах полотна, запах сухого дерева — он присущ всем картинам. Запах речной свежести присущ всем картинам из Эрмитажа. Что еще можно различить?

Очень слабый запах опилок. Запах неоструганных досок. Запах спирта и имбиря — имбирного пива, возможно. Запах смолы и мыла—так пахнет кока-кола. Запах сырого сукна, обычный для всяких шинелей, для полицейских в том числе. Не слишком выразительный набор. Попробую зацепиться за имбирь и опилки.

Как ищешь по запаху? Так же, как и глазами. Допустим, нужна книга в голубом переплете. Водишь, водишь глазами по полке, сосредоточившись на голубом, прочие цвета скользят мимо. Так и тут: запахов много, но думаешь о нужном, на нем сосредоточился, прочие скользят мимо.

На лестнице и в вестибюле нет опилок и имбиря. У окон нет опилок и имбиря. Под окнами нет опилок и имбиря. Обхожу все здание по периметру. Нет нигде нужного букета.

Вот тайна! Не на вертолете же увезли полотна!

— Мистер Кэйвун, собак вы приводили?

Инспектор разводит руками. За кого я их принимаю? У местной полиции великолепные ищейки, призовые, знаменитые. Конечно, в первую очередь полиция привела собак. Но ищейки не взяли след.

Собаки след не взяли. Стало быть, на один только запах надеяться нельзя. Какая-то есть человеческая хитрость, сбившая с толку собак. Не только носом, но и умом искать надо.

И тут я обратил внимание на боковую дверцу, которая пахла не зимней Невой, не опилками и имбирем, а вовсе креозотом — нестерпимо вонючим и противным креозо-

том. И я подумал: к чему тут, в музейном помещении, креозот? Не хотел ли кто-нибудь сбить со следа собак? И еще я подумал, что собаки ничего не подумали бы, они бы просто нос отворотили от неприятного запаха.

— Мистер Кэйвун, куда ведет эта дверца?

Вызванный служитель объяснил: дверца ведет в запасник. На выставку прислали очень много картин, больше, чем помещается на стенах. Часть экспонатов хранится в запаснике. Некоторые еще будут вывешены, другие отправляют владельцам за ненадобностью.

— Пусть откроют дверь.

Почему-то очень долго искали ключ. Но я заупрямился. Я потребовал, чтобы меня провели в запасник с другого хода, все равно я осмотрю лестницу изнутри.

Наконец ключ нашелся. На узенькой лестнице пронзительно пахло креозотом. Я спускался, зажимая нос. Носу было больно, как ушам больно от грохота литавр.

Подвал. Ага, вот и запах опилок, запах неоструганных досок. Картины здесь заворачивают в рогожи, поверх рогож — толь, толь забивают досками. На досках выведено краской: «Музеум» такой-то или мистеру такому-то — в частную коллекцию, стало быть.

Досками пахли все контейнеры, имбирным пивом или кока-колой — почти все. Терпеливо наклоняясь к каждому ящику, я старался угадать, какие вещи там запакованы. И улавливал еле слышные, уже понятные мне ароматы Древнего Египта, Греции, Рима, музеев Лондона и Парижа, холодных английских замков и современных квартир богачей.

И вдруг свежий эрмитажный запах у одного, недавно заколоченного ящика.

— Мистер Кэйвун, вскройте этот.

Мрачный англо-канадец протестует. Ящик адресован очень уважаемому человеку, известному коллекционеру из Соединенных Штатов. За задержку штраф. Это очень влиятельный и обидчивый человек. Если я не уверен, если я возьму на себя ответственность... Во всяком случае, надо запросить разрешение адресата.

— Решайте сами. Мы ищем пропажу или не ищем?

Кэйвун уговаривает своего сослуживца немедленно звонить владельцу картин в Огайо. Ссылается, что сам он плохо понимает американское произношение на слух (наивное какое-то основание), потому не решается разгова-

ривать по телефону. Подтрунивает над моей подозрительностью («Що вам приблизнилось таке?»). Наконец Джереми согласился нехотя. Из окна мы видели, как он нерешительно шагал к зданию администрации, оглядываясь то и дело.

И тут Кэйвун схватил меня за руку:

— Пийшлы до низу. Ломать будемо на мию голову. Що вам приблизнилось таке?

Там оно и нашлось исчезнувшее полотно, закатанное меж двух аппетитных фламандских натюрмортов с омарами и фазанами.

Вот это был триумф!

ГЛАВА 4

Да, я гордился. Да, я принимал поздравления без ложной скромности. И не старайтесь меня развенчать, не говорите, что каждый с таким носом шутя бы, еще скорее, чем я, нашел бы картину. Нет, не «шутя бы». Надо было еще догадаться насчет фокуса с креозотом. Надо было запомнить запахи стран и эпох, различить их сквозь рогожу и толь. Надо было проявить настойчивость, не поддаться на разговоры о материальной ответственности, не испугаться обидчивого миллионера из Огайо.

Быть может, я цеплялся за свою гордость излишне, именно потому что триумф мой был скрытый. Газетчики не добивались у меня интервью, служащие полиции не собирались, чтобы послушать доклад о новом методе ароматического сыска. Дело в том, что я приехал в чужую страну как необязательный консультант. И местная полиция не была заинтересована в том, чтобы расписаться в собственной беспомощности. И не были заинтересованы в этом мои гиды — англо-канадец и украино-канадец. На людях они рассказывали о своей роли, в газетах они фигурировали как победители, меня благодарили только в личных беседах.

В человеке, во мне во всяком случае, заложен дух противоречия. Если мне говорят: «Ах вы гений!» — рот сам собой раскрывается, чтобы сказать: «Что вы, что вы, ничего особенного во мне нет». Если же говорят: «Вы заурряд, нет в вас ничего особенного», рот невольно возражает: «Ну нет, позвольте...»

Короче, я был доволен собой, потому что мир не восхищался мною.

Удачу мы отметили с теми же прикрепленными ко мне инспекторами. Отметили, как полагается среди мужчин на обоих полушариях планеты, за столиком с бутылками. Англо-канадец пил мрачно и мрачно молчал. Украино-канадец пил мало, но говорил за троих. Он был очень горд удачей и воспринимал ее как «нашу славянскую удачу». Мы с ним утерли нос заносчивым англо-саксам. Из Европы эмигрировал его дед. Отец его, мать и сам он родились в Канаде. Но, отгороженные национальным барьером, украинцы все еще считали себя украинцами, а не канадцами, сберегли язык, твердили стихи Шевченко, жадно впитывали слухи о далекой, не очень понятной родине. Клевету впитывали тоже.

— Але чому ж загальни жинки? — допытывался он.— Жинки муси раздельны буть.

Клевета полувековой давности об общности жен в нашей стране.

И вопрос задавался через пять минут после того, как тот же Кэйвун со вкусом рассказывал, «каки смачны дивчины танцуют гоу-гоу в ночном баре на Сен-Катрин».

— Але чому ж вовки на вулицях у Кыйиви?

— Грешно вам, мистер Кэйвун. Вы ж видели фото на выставке в Советском павильоне. Какие волки в Киеве? Большой город, современный, нарядный, первоклассные заводы...

— Так мы ж знаемо, что ци заводы будують вам японци.

— Мистер Кэйвун, побойтесь бога! Спутники тоже «будують японци»? Так почему же у них своих космонавтов нет еще?

— Да, спутник, це дило! — Кэйвун восхищенно цокал языком.

Англо-канадец в спор не ввязывался. Пил сосредоточенно и хмуро. Отвечал только на прямые вопросы. Не без труда я вытянул от него, что он озабочен семейными делами. Жена больная, весь заработок уходит на лечение, доктора — сущие грабители. Первый осмотр — 16 долларов, да еще больница посуточно, сиделки посуточно, каждая консультация в счете. Детей двое — погодки-подростки, четырнадцати и пятнадцати. Кем хотят быть? Один учиться хочет на инженера, другой не хочет учиться, биз-

несом займется. Что лучше? Все равно, как получится. Пожалуй, Джереми не одобрял того сына, который лез в инженеры. Учиться надо четыре года, плата 1800 долларов за год, с общежитием и питанием — четыре тысячи. И еще неведомо, взойдут ли эти затраты урожаем. Работу найдешь не сразу; неизвестно, выгодную ли. Места на улице не валяются. Право же, в бизнесе риска меньше. Купил долю в магазинчике — вот тебе и доход.

Странно было слушать подобные расчеты.

— Эта древняя картина — наш шанс,— вмешался украинец. С Джереми он говорил по-английски. Тут уж я передаю его речь литературным языком.

— Картина — его шанс.— Джереми кивнул на меня.— Наш с тобой шанс — похититель. Но где? У тебя есть хотя бы малейшая идея?

— Он нам поможет! — воскликнул Кэйвун с энтузиазмом.— Ты поможешь, хлопчику?

Собственно говоря, я не обязан был помогать в розысках преступника. Мое дело было найти картину. Но обнаружил я ее слишком быстро, вроде еще не отработал командировку. А практически я начал помогать сразу же, потому что еще в запаснике Кэйвун спросил, не пахнет ли тут вором.

Пахло креозотом. Запах был сильнее всего у этого ящика.

Естественно, подозрение пало на плотника, который заколачивал ящик. Но это оказался подслеповатый старик, который ничего не понимал в картинах, получал зашитые рулоны. А зашивала их мисс такая-то в присутствии мисс такой-то, которая в присутствии директора павильона выдавала картины по описи. Картина должна была пройти через добрый десяток рук. Кто и когда засунул в рулон полотно из Эрмитажа, ясности не было.

Я бы лично допросил получателя. Я-то сам с подозрением относился к этому миллионеру. Не он ли оплатил всю эту доставку не по адресу? Но мои инспекторы с возмущением протестовали. Такого человека задевать они не смели.

Оставалось предположение, что похитители собирались вынуть картину в дороге или же где-то в Огайо, даже на вилле коллекционера.

Тем самым под подозрение попадал огромный круг людей. Разобраться было все труднее.

Чем я мог помочь? Я предложил осмотреть шкафчики с одеждой сотрудников павильона. Все-таки начинать должен был кто-то свой.

Запах креозота ощущался всего заметнее в шкафчике номер 34. Принадлежал он некоему Вилли Камереру — германо-канадцу, одному из ночных сторожей.

Джереми сам поехал на квартиру к этому Камереру, но не застал. Вилли уехал на уик-энд и должен был вернуться только в понедельник. Но в понедельник он на работу не вышел.

Ниточка?

Но попробуй найти в Канаде этого Билла, чья одежда пахнет креозотом. Сначала еще поймать его следовало.

Тут мой нос никак не мог помочь. Шансы Джереми падали. Лицо его становилось все длиннее и унылее. Впереди вырисовывалось не повышение и премии, а выговор за упущение. Оказалось, что Джереми отвечал за охрану... а тут еще упустил возможного преступника.

Так мог ли я отказать, когда Джереми пришел ко мне в гостиницу с просьбой:

— Парень, будь другом. Этого Билла видели в Смитсфилде. Недалеко, миль двести отсюда. Поедем, я сам тебя свезу. От тебя ничто не укроется.

Двести миль туда, двести миль обратно на хорошей машине — это же приятная прогулка. Страну мне хотелось посмотреть. Пока что я крутился только на улицах Монреаля. Но один город — это еще не страна, а выставка — тем более.

Забастовка все еще продолжалась, и Джереми сам сел за руль. У него была «паризьен», пятиместная, практически даже семиместная плоская машина — целый салон, совершенно не нужный для служебных поездок. Но в Монреале таких машин большинство. У всех семей семейные лимузины, хотя ставить их негде. Вдоль всех улиц таблички: «Но паркинг!», «Но паркинг!» («Стоянка запрещена!») Возле домов грозные предупреждения: «Машины, поставленные без разрешения, будут отгоняться». Платная стоянка в центре города не дешевле обеда в ресторане. Я спросил, почему же делаются только громоздкие машины. Отвечают: заводу выгоднее. Но ведь на улицах тесно. Отвечают: «Заводу нет дела до улиц». Опять знакомый мотив: «Живите на собственный риск. Наше дело — продать машину, ваше дело — найти стоянку.

Наше дело — продать оружие, ваше дело — не попасть на скамью подсудимых».

Выехали мы по восхищавшей меня бетонной астре, развернулись над путями, пролетели несколько плотин и мостов. Затем потянулась озерно-луговая страна с одиночными фермами. Пожалуй, она была похожа на нашу Калининскую или Новгородскую область: много озер, много лугов, мелколесье. Выше я говорил, что Германия представляется мне темно-серой, а Канада — кричаще пестрой. Но это расцветка городов, а природа везде одинаково зеленая.

И еще бросалось в глаза собственничество. Лужайки, но огорожены проволокой. За проволокой десятка полтора бычков, травка, а войти нельзя. Придорожный щит извещает: «120 миль до места для пикников». Только через 120 миль можно выйти на коммунальную травку. А раньше нельзя — травка собственная.

Вот развлекался я чтением щитов, размышлял о сходстве и несходстве их мира и нашего и не очень следил, куда направляется машина. Вообще в Канаде трудно ориентироваться без карты в руках. У дорог нет названий, они нумерованные, и нумеруются в порядке постройки, так что № 2 может быть рядом с № 401. И нет километровых столбов, только указания: до поворота в город такой-то столько-то миль. Но не знал я всех этих бесконечных Эссексов, Уэстсексов, Лондонов, Нью-Лондонов и Одесс, попадавшихся нам по пути.

По-моему, мы выехали на запад, потом пересекли трижды очень крупные реки, похожие на реку Св. Лаврентия, потом повернули на юг и даже на восток ехали одно время. Но тут солнце зашло, и я перестал ориентироваться в странах света. Мой неразговорчивый спутник отказывался давать пояснения; один раз буркнул, что едем провинцией Онтарио. Мне казалось, что он не очень четко знал дорогу. Крутил по каким-то боковым ответвлениям, раза три останавливался, кого-то расспрашивал, даже по телефону звонил.

Вечерело. На лугах колыхался туман, такой же, как и на наших лугах. Мы были в пути уже часа три, наверняка намотали больше двухсот миль. Я спрашивал, далеко ли до этого Смитсфилда, однако внятных объяснений из Джереми не выжал. В какую-то въехали мы закрытую зону. Джереми показал свои документы, и нас пропус-

тили, открыв полосатый (и здесь он был полосатым) шлагбаум. Я спросил, не будет ли неприятностей, имею ли я право въезжать в эту зону.

— Вы с полицией,— сказал Джереми.

Каким-то образом мы оказались у моря, или это было одно из Великих озер, очень большое озеро, если не Великое. Волны на нем шумели. Шум доносился, хотя гребней я не видел — уже стемнело к этому времени. Джереми зажег фары, и все, кроме дороги, утонуло в черноте. Я заскучал. Не люблю ночных шоссе, где не видишь ничего, кроме фар и подфарников. Слепят глаза вспышки встречных машин, а вокруг смола и смола густой ночи. Хорошо еще, что дорога была пустынной, впереди никого. Только за нами шли две машины, не отставая и не обгоняя. Почему не обгоняли? Джереми не гнал, вел свою «паризьен» неторопливо. Может быть, у них ночью не разрешается обгонять? Я не спросил — уже отчаялся вытянуть объяснение.

На каком-то повороте Джереми притормозил, встал на обочине, вышел, поднял капот. Машина, шедшая сзади вплотную, обошла нас и остановилась тоже; из нее вышли двое: массивный толстяк с гаечным ключом и худощавый в плаще. «Взаимопомощь»,— подумал я. И даже упрекнуть себя успел: вот, мол, осуждал их обычай, думал, что тут каждый за себя, плавай на свой риск, выбирайся как можешь. А Джереми встал на обочину, и тут же ему спешат на помощь.

И тут я увидел, что Джереми поднял руки вверх, а толстяк хлопает его по карманам — так оружие ищут обыскивающие.

— Руки вверх! — крикнул Джереми мне.— Это гангстеры. Стреляют без предупреждения.

Позже я спрашивал себя, почему я сдался так безропотно, не пытался ни удрать, ни сопротивляться. В такие моменты не успеваешь рассудить, действуешь инстинктивно, чувства диктуют. Я чувствовал себя неуверенным гостем в чужой стране. Меня вез хозяин. И если он, хозяин, поднял руки вверх, видимо, так и полагается. Таков обычай.

Но хотя Джереми руки поднял, все-таки его стукнули по голове ключом. Мне показалось, что стукнули не очень сильно, однако он свалился разом, как тренировочный мешок, я бы сказал: с готовностью свалился. Толстяк

подхватил его за шиворот и поволок в свою машину. Тощий, в плаще, сел на место Джереми за руль. Откуда-то появился еще один — с перебитым носом, как у бывшего боксера. Он плюхнулся на заднее сиденье и дуло автомата упер в мой затылок.

— Только без глупостей, парень,— буркнул он.— Руки вверх держи.

Машина рванулась с места и понеслась вперед. Мчалась минут десять, потом резко развернулась и помчалась назад, кажется, по той же дороге. Еще минут десять неслась, а может быть, одну минуту. Когда холодная сталь у тебя на затылке, минуты кажутся очень длинными. Потом мы свернули с асфальта и по ухабистому спуску поползли куда-то вниз. Что я ощущал? Ни гнева, ни досады, ни страха. Почему-то все чувства подавило любопытство. Везут меня неведомо куда, будут требовать неведомо что. И надо будет мне, обыкновенному негероическому гражданину, проявлять достоинство и стойкость, как экипажу судна, захваченного пиратами.



Сумею ли я проявить стойкость? Даже любопытно. Что-то будет?

Был мордобой.

— Дай ему, чтобы не сопел,— сказал главарь.

И массивный толстяк, тот, что волок инспектора за шиворот, как котенка, размахнулся кулачищем...

Половину ночи шел я к этому финалу. Сначала меня везли на машине по каким-то ухабам, потом высадили, завязали глаза, руки скрутили за спиной и, уперев автомат меж лопаток, повели куда-то вниз по каменистой



дорожке. Очень сложно ходить по перекатывающимся камешкам с завязанными глазами. Через некоторое время послышался плеск, запахло гниющими водорослями и соленой водой — букетом моря. Я подивился, как же это мы ухитрились попасть к морю. Выехали из Монреаля как будто на запад, а море лежит на востоке. Стало быть, я оказался южнее Квебека. Или есть соленые озера внутри страны? Что-то не припомню.

Все так же направляя дулом автомата, меня втолкнули на какую-то площадку, шаткую и сырую. Я тут же повалился на мокрые доски. Вокруг плескало и брызгало. Зататакал мотор, шлепать и брызгать стало сильнее, доски мои заплясали... и плясали еще часа два. А может быть, и тут я преувеличиваю время. Минуты очень длинны, когда тебя с завязанными глазами везут на моторном ботике неведомо куда.

Я все думал: сумею ли выдержать характер? Готовил возмущенные речи, не без труда составляя длинные английские фразы в уме. В конце концов решил, что самое убедительное — быть кратким. Надо твердить одно: «Я иностранец. Я гражданин Советского Союза. Я требую, чтобы меня доставили в консульство». Вот и все.

Наконец пляска на волнах прекратилась, суденышко заскользило по тихой воде. Послышались выкрики, относящиеся к причаливанию: «Держи! Крепи! Сюда кидай, разиня!» Стукнули сходни. Ведомый все тем же дулом, я с трудом выбрался на неподвижный настил. Пахло бензином, масляной краской, свежей ночной листвой, вермутом и почему-то женскими духами. Я подумал, что буду иметь дело с какими-то мелкими преступниками — с контрабандистами, возможно. Едва ли тут политическое похищение. Политические ловушки пахнут мокрыми шинелями и крепким табаком. Не духами, во всяком случае.

И когда мне развязали глаза, я увидел, что действительно нахожусь в частном доме, в большой комнате, которая в Канаде считается за полторы (там даже в объявлениях пишут: «Сдается квартира, в $1^1/_2$, $2^1/_2$, $3^1/_2$ комнаты»). Полторы комнаты — это гостиная плюс ниша с электрической плитой, холодильником и шкафчиком для посуды. Вот в этой половинке и расселись, расставив бутылки, стаканы и сифоны с содовой, толстяк («Гора Мяса» — назвал я его мысленно), Перебитый Нос и Плащ. А против них верхом на стуле сидел еще четвертый, старик лет шестидесяти, щупленький, с непомерно короткими ручками, одетый с подчеркнутой аккуратностью, до синевы выбритый, с прямым пробором в редеющих волосах, даже наманикюренный. Он-то и оказался зачинщиком.

— Так это и есть чудо-сыщик? — спросил он, глядя на меня с презрительным сомнением.

Я сказал:

— Я гражданин Советского Союза. Я требую, чтобы меня немедленно доставили в консульство.

— Дай ему, чтобы не сопел,— сказал щупленький.

Толстяк, Гора Мяса, привстал, размахнулся своим кулачищем. Но недаром я работал с милицией два месяца. Кое-чему научился там. Я ударил ногой... по всем правилам самбо. Толстяк взвыл и откатился в угол. Впрочем, я тоже упал, потому что тут же меня хлестнуло кнутом по ноге, по той единственной, на которой я стоял, ударяя.

— А я умею стрелять,— сказал щупленький, помахивая дымящимся пистолетом.

Я сидел на полу. На брюках пониже кармана расплывалось липкое пятно. Жгло невыносимо.

— Дай ему!— повторил чистюля.— Нет, не ты, Боб, ты убьешь со зла. Дай ему, Боксер.

Надеюсь, читатели, никогда вам не придется испытать такого. Очень это скверно, когда тебя бьют сапогами куда попало, связав предварительно руки. Это даже не очень больно, больно только в первый момент. Это обидно и унизительно. Ты человеком себя не чувствуешь. Человек — это борец за жизнь, а ты — мешок для тренировочного битья. И обидно, и до слез себя жалко: вот был у мамы любимый сын, ухоженный, взлелеянный, был примерный ученик, отличник учебы, аспирант на государственной стипендии, гордость педагогов, будущий научный работник с редкой специальностью, владелец уникального дара, для всего человечества важного. И что он сейчас? Мешок для битья.

— Хватит, Боксер. Я с ним поговорить хочу.

— Я требую, чтобы меня доставили в консульство...

— Какие консулы у нас в Мэне? Первый раз слышу. Дурачок нам попался какой-то несообразительный. Добавь ему еще, Боксер, чтобы шарики вертелись лучше.

Бьют, бьют, перекатывают по полу. Головой мотаю, прячу лицо от сапог.

Уже погодя, когда битье кончилось, начинаю соображать. Почему помянут Мэн? Мэн вовсе не в Канаде, это один из американских штатов, крайний северо-восточный. И, кстати, он на берегу океана. Неужели меня завезли в Мэн? Когда же мы пересекали границу? По морю ее обошли, что ли? А не тогда ли, когда Джереми показывал документы у шлагбаума?

— Стоп, Боксер, дай ему отдохнуть. Слушай, супер-

сыщик, теперь я задаю вопросы. Это правда, что ты нюхом чуешь криминал, как пес идешь по следу? Правда? А не можешь ли ты разнюхать что-нибудь полезное: сундук с золотом или бумажник с долларами в чужом кармане? Мы потерпели убытки на тебе, нам нужна компенсация.

За моей спиной послышалось невнятное мычание. Главарь шайки вскинул глаза:

— Ну что там? Выньте кляп, пусть говорит.

— Босс,— сказал хриплый голос, откашлявшись,— эту ищейку надо убрать. Он всех нас уже запомнил своим проклятым носом, все равно как отпечатки пальцев снял. От него не избавишься, узнает в любой маске.

Так мало слов, так много стало ясным сразу.

Хриплый голос принадлежал Джереми, моему гиду-консультанту. Стало быть, он был не только полицейским чином, но и членом этой шайки, вероятно, пособничал при похищении картин, а когда я нашел их, предупредил главного вора и помог ему скрыться. И вот теперь, опасаясь, что я «все разнюхаю своим распроклятым носом», увез меня в логово шайки. И убеждал убрать меня, убить как опасного свидетеля.

— Пусть покроет убытки. Пусть поработает на нас своим носом,— сказал босс.— От мертвых прибыли нет.

— От живого может быть вред,— настаивал предатель.— Он нас всех запомнил, этот гибрид, помесь человека с лягавой.

— Я заставлю его молчать. У меня длинные руки. (Довольно комичное утверждение со стороны короткорукого старичка.)

— Босс, не забывай, что он советский. Как ты его достанешь в Москве? Это и ФБР не под силу.

Главарь задумался. На моих глазах решался вопрос: сейчас меня убьют или немного погодя? Пассивность была бы губительной.

— У меня особое чутье временно,— сказал я.— Я могу его ликвидировать. Даже собирался ликвидировать. Могу это сделать хотя бы сейчас.

— Кто тебе поверит?

— Глазами будет видно. Нос у меня изменит форму. Будет нормальный, тонкий, даже с горбинкой.

Не ведал я, что это пустяковое замечание решит мою судьбу. Когда все зависит от одного слова, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.

— Совсем другой нос? — вскричал визгливый женский голос где-то у меня за спиной. — Красивый нос, тонкий и с горбинкой?

На сцене появилось новое действующее лицо: пышная женщина лет около сорока с красным лицом, как бы пылающими щеками, жирными, ярко намазанными губами и невзрачным носом-пуговкой. Она выскочила вперед, и у всех мужчин разом изменилось выражение. На лице у главаря, державшегося этаким властным Наполеоном, появилась заискивающая угодливость. Видимо, пышнотелая красавица, жена или возлюбленная, очень нравилась ему, щупленькому коротышке. Помощники его криво заулыбались, морщась. Вероятно, они не одобряли главаря, который их «на бабу променял». На лице же Джереми выразилось тупое, покорное отчаяние. Я все это замечал. Я уже отошел от побоев и напряженно боролся за жизнь, старался найти любую ниточку.

— А мне ты сделаешь красивый нос? — спросила женщина.

— Могу сделать прямой, могу с горбинкой, могу орлиный, могу длинный, могу короткий.

Я отвечал не наобум, не блефовал. Я и раньше обдумывал, как приступиться, если мне захочется не себя изменять, а другого.

— Пол, дорогой, — обратилась женщина к коротышке, — заставь его переделать мне нос. Потом уберешь, это всегда успеется.

— Мне нужно время, — сказал я. — Недели две. Нужна свобода. Нужно еще...

Инспектор прервал меня. Самый злобный народ — предатели. Хуже, чем враги.

— Босс, не узнаю тебя! — вскричал он. — Что ты развесил уши и слушаешь этого обманщика? Плетет тебе сказки, чтобы время оттянуть. Где это слыхано, чтобы носы менять по настроению. Нюх у него от природы собачий, вот он и пользуется. Время ему нужно. Да кто сторожить будет? Ты, что ли? Целых две недели?

— Даю два часа, — сказал главарь.

— С природой не поторгуешься. У природы свои темпы.

— Даю два часа.

А что сделаешь за два часа? За два часа изменений наглядных не будет. Впрочем...

— За два часа я вылечу рану. Это убедительно будет?

— За два часа?

Потрясенное молчание.

— Действуй! Если рану заживишь, будет разговор. Не выйдет — пеняй на себя.

Теперь уж я мог распоряжаться. Я потребовал, чтобы мне создали условия. Тишина полнейшая, занавески на окнах, темнота. Пусть стоят за дверью, пусть стоят под окнами, но молча. Даже шептаться нельзя — это отвлекает. И чистая вода нужна мне и бинт. Если есть пенициллин, хорошо бы шприц. Еще сок, лучше всего лимонный. Нет, еды не нужно, еда не усвоится за два часа — не успеет поступить в кровь. Сахар можно. Шоколад, если есть.

— Шоколадные конфеты годятся?— спросила женщина почти робко.

Нет, я не был на сто процентов уверен в успехе. Ран лечить мне еще не приходилось. Но ведь все равно надо же было заняться самолечением. Вероятно, это не сложнее, чем самореконструкция.

— Свет гасите,—распорядился я, вытягиваясь на полу.

Гангстеры вышли чуть ли не на цыпочках. Женщина еще вернулась, подсунула мне подушку под голову.

Самолечение описано у Рамачараки в «Хатха-йоге»— популярном изложении индийской народной медицины. У меня приемы те же. Спачала надо сосредоточиться. Для этого дышат в такт с биением сердца. Постепенно весь организм вводится в ритм. Вот уже и сердце тебя слушается, и кровь тебя слушается. Ты дирижер своего тела. Приступай к лечению. Йоги рекомендуют после этого направлять прану в больной орган.

Прана — это энергия. По их понятиям, нечто сложное и таинственное. Вероятно, подразумевается кровь, и больше ничего. Лично я приказываю крови притекать к ране. Нервам приказываю усилить боль, обратить на рану особое внимание.

«Хатха-йога» рекомендует даже уговаривать больные органы словами: «Милое сердце, пожалуйста, не подведи меня, возьмись за работу, соберись с силами», «Ранка, моя хорошая, засыхай, будь добра». «Эй, печень, не ленись, не упрямься, как ослица!» Конечно, дело тут не в словах, клетки тела слов не понимают. Но слова позволяют сосредоточить внимание, думать неотрывно о больном месте.

Не знаю, многим ли йогам удается это лечение самовнушением. Я отвечаю за себя. Я это могу делать, потому что у меня особый секрет. Заслуга не моя, а делать могу. У меня кровь подчиняется воле.

Не словами я даю задание, а воображением. Я представляю себе, как по жилам бежит горячий ток. Представляю себе, как струится кровь из раны, смывая словно теплой водой всякую грязь. Минуты две струится, и довольно. Воображаю, как стягиваются мышцы, смыкаются, словно сжатые губы. Сошлись, замкнули сосуды, ни кровинки на рубце. Воображаю, как срастаются смежные клеточки, нити соединительной ткани входят в ткань, миллионами нитей сшивается рубец. Воображаю, как нарастает новая кожа, младенчески-розовая, нежная и гладкая.

Воображаю, как нога болит, пылает, жжет, как она налилась багровым сгустком крови. Воображаю, как зудит заживающий рубец и как пульс стучит, приливая к ране: тук-тук, тук-тук.

Неотрывно воображаю два часа. Очень это утомительно, воображать два часа подряд.

Но вот скрипят двери. Так же на цыпочках гангстеры осторожно и почтительно входят в комнату. Зажигают свет. Жмурюсь. Отвык.

— Гляди-ка, с лица спал,— говорит женщина с откровенным сочувствием. — С лица спал. И почернел весь.

— Время истекло,— напоминает главарь очень мягким голосом. В нем слышится готовность продлить срок, если я попрошу.

Но мне самому интересно посмотреть, что у меня получилось. Боли как будто нет. Но, может быть, я внушил себе, что боль прошла. Разматываю повязку.

Младенчески-нежная, мягкая, розовая кожа на правом бедре. Как бы пятно после зажившего ожога.

— Матерь божья! — Женщина истово перекрестилась.

Боксер сказал:

— Дьявольщина!

— Небесное проклятье! — прохрипел Гора Мяса.

— Провалиться мне в ад! — прошептал коротышка-главарь.

Сильнее ругани не нашлось в английском языке. Даже гангстеры не знали.

На моем триумфе присутствовало четверо. Ушел Плащ. И ушел инспектор Джереми. Больше я его не видел. А о судьбе узнал дня через два, совершенно официально, через печатное слово.

Вот что было написано в газете:

„*ЗВЕРСКОЕ УБИЙСТВО НА ПРОЕЗЖЕЙ ДОРОГЕ*

Кто убийца? Не красный ли?

ИЗУВЕРСТВО ИЛИ РАСЧЕТ?

11 августа поутру 15-летняя дочь фермера Жанна Дюваль, выйдя на поле своего отца, заметила сиреневого цвета машину «паризьен», стоявшую на обочине. Первоначально девочка не обратила на нее внимания, поскольку горожане нередко останавливались на ночевку в своих машинах, на этой тихой дороге. Но время шло, солнце поднималось все выше, накаляя кузов, а машина продолжала стоять. «Неужели пассажиры спят до полудня?» — подумала трудолюбивая девочка. С детства привыкнув к труду, она не представляла себе такой бессовестной лености. Движимая возмущением, а также и любопытством, Жанна, покончив с дойкой коров, приблизилась к машине и заглянула внутрь. О ужас!!! Кровь леденящая картина представилась ее глазам. На переднем сиденье лежал мужчина в белье. Голова его была разбита, лицо покрыто запекшейся кровью, руль, обивка сиденья — все было в крови. Жанна с криком бросилась к отцу. Опытный в житейских делах фермер немедленно сообщил в полицию по телефону, указав фирму, цвет и номер машины. Без труда удалось установить, что машина эта принадлежит инспектору полиции Грегору Джереми. Прибывшие на место происшествия работники розыска опознали в убитом своего коллегу. Выяснено, что накануне вечером, около 18 часов, инспектор выехал из города совместно с иностранцем мистером К..., приехавшим недавно из Москвы для ознакомления с достижениями полиции нашего континента. Трагически погибший Джереми вез гостя в свой коттедж, видимо, для дружеской беседы. Остальное — тайна. Непонятно, каким образом машина оказалась за триста миль

от коттеджа Джереми; непонятно, почему убийца снял с убитого мундир, а самое важное: неизвестно, куда делся и какую роль во всем этом играл приезжий, сидевший в машине. Все это предстоит выяснить нашей опытной полиции. Мы не сомневаемся...» и т. д.

Далее шли интервью. Жанна рассказала, что она учится в школе, математики терпеть не может и мечта ее — сниматься в кино. Жена убитого поведала, что я с самого начала был ей несимпатичен (вот уж не догадывался!), она с первого взгляда поняла, что я с нехорошими целями приехал в Новый Свет. Какой-то деятель муниципалитета пространно заявлял, что власти чересчур доверчивы к иностранцам и близоруко допускают массовый приезд из подозрительных стран. И только Кэйвун, из всех опрошенных, предположил, что убийцу надо искать среди похитителей картин. Мнение его было напечатано, но микроскопическим шрифтом, и тут же под жирным заголовком «Ищите!» был помещен мой портрет в профиль и анфас, перечень примет (даже родинку на скуле рассмотрел кто-то) и указания на то, что я могу появиться в мундире убитого, поэтому надо обращать внимание на полицейских, говорящих с иностранным акцентом, в особенности с раскатистым «ар» и с неправильным «ти-эйч».

— Пожалуй, тебе не стоит высовывать носа,— сказал мне Пол Длиннорукий (таково было прозвище главаря шайки в уголовном мире).— Обвинение в убийстве — вещь серьезная, особенно для иностранца. Иностранцу тут выпутаться трудно. Пожалуй, лучше отсидеться в неприметном убежище. Сама судьба привела тебя на наш уединенный островок.

Этот разговор был одним из многих в долгой цепи, потянувшейся с первой же ночи.

— Ладно, я поверил в твое умение,— сказал тогда Пол, оправившись от первого изумления.— Раны заживлять ты способен. А теперь переделай нос моей девчонке. Какой нос ты хочешь, Салли, прямой или горбатый?

— Переделывать чужой нос — задача очень сложная,— сказал я.— Это требует времени и времени. Отвезите меня в Монреаль, я постараюсь сделать это до отъезда.

Я уже говорил, что давал обещание не наобум. Правда, до сих пор я еще не пробовал метаморфизировать других, но не раз думал, как подойти к такой проблеме.

Суть в том, что моему сознанию клетки тела подчиняются, у всех других людей клетки независимы и своевольны. Казалось бы, препятствие непреодолимое. Но я подумал: нельзя ли сделать так, чтобы клетки чужого тела слушались приказов моего мозга? Как я отдаю приказы? Через посредников. Я начинаю с воображения, воображение воздействует на нервы и железы, железы меняют состав крови. Кровь тоже посредник в метаморфозе... Но кровь мою я же могу перелить в чужое тело. Не будут ли тогда чужие клетки выполнять приказы моей полновластной крови?

Гадательно. Спорно. Рискованно. Но у меня же не было выбора. И я сказал с напускной уверенностью:

— Отвезите меня в Монреаль. Я это сделаю до отъезда.

Гангстер расхохотался:

— Мальчик, ты на редкость непонятлив для своего возраста. Условия ставлю я. Цап вообще предлагал тебя ликвидировать («коп» — сцапать, обычное прозвище полицейских в Америке), и он прав: так разумнее и безопаснее. Но я оставлю тебя в живых, если ты поправишь носик моей подружки, подправишь, не выходя из этого дома. А если не сумеешь, отдадим тебя Цапу и дело с концом.

Я сказал:

— Я гражданин иностранного государства. Вы ответите по закону...

— Милый, все-таки ты здорово туп. Боксер тебе отшиб мозги, что ли. Я не политикан, я киднэппер, я человек вне закона. Конечно, я отвечу закону, если закон меня сцапает, но сначала он должен сцапать. Почему-то это не всегда удается. Щелочек много в закопе для вертких. И главное, я не понимаю, какая тебе польза, если я отвечу по закону за твою гибель, безвременную и скоропостижную.

— Я не боюсь,— сказал я.— И пусть ваша Салли остается курносой.

— А мы поступим по правилам киднэппинга,— сказал он.— Как, ты не знаешь этих правил? В вашей стране нет киднэппинга. Боже мой, какие же у вас отсталые, доморощенные преступники! Правила такие: уведя козленка, ты извещаешь встревоженных родителей, что они получат свое чадо за такую-то сумму. Если родители упрямы и

скупы, через неделю посылаешь им левое ушко чада. Еще через неделю — второе ушко. И ждешь еще три дня...

— А потом?— вырвалось у меня.

— А потом ликвидируешь залог. Ничего не поделаешь, издержки бизнеса. Значит, родители попались черствые и жадные, бессердечные люди, которые трясутся над деньгами, капиталы им дороже ребенка. С такими лучше не иметь дела.

— И вы убивали детей?— спросил я почти с любопытством.

К моему удивлению, Пол перекрестился.

— Бог миловал,— сказал он.— Я не встречал таких изуверов среди родителей. Но Барба, мой незабвенный учитель, преславно кончивший жизнь на электрическом стуле, говаривал, что он не имеет возможности содержать приют для отпрысков всяческих скупердяев. «Жадность поощрять не надо»,— говорил Барба.

Все это было так чудовищно, что я просто не поверил. Я сказал, что мои родители давно лежат на кладбище и едва ли будет толк, если мои уши будут посланы туда. А против посылки моего уха в посольство я не возражаю.

— Да, понимаю, тут случай особый,— сказал старый бандит.— Ты себе вырастишь новое ухо за два часа. С тобой другой разговор. Заупрямишься — жить не будешь. И два дня дается на размышление.

Для убедительности меня оставили на два дня без еды. Я лежал на полу в винном погребе, который был превращен в мою тюрьму, вдыхал пьяные ароматы всех хранившихся здесь и пролитых по каплям вин, лежал, с головой, мутноватой от спиртных запахов и от голода, и размышлял, прикончат меня гангстеры или не прикончат.

И приходил к выводу, что, пожалуй, прикончат. Для них это проще, чем выпустить меня, а самим после этого прятаться от закона.

Ну и что же делать? Подчиниться? Обидно. Недостойно. Не подчиниться? Убьют. Или не убьют, блефуют, запугивают?

И вот дня через два Пол принес мне ту газету с сенсационным сообщением о смерти Джереми. Как бы хотел продемонстрировать, что перед убийством их шайка не остановится.

Представьте себе, что мне стало жалко Джереми — этого запутавшегося предателя, хотя меня он предлагал

уничтожить. Физиономию я ему расквасил бы с большим удовольствием, но убить... это другое дело. Наверное, очень трудно желать смерти человеку, которого знаешь лично. Я помнил его мрачное уныние и озабоченную тревогу о детях, которым нужны средства для бизнеса и для образования, его глупую жену, подозревавшую меня с первого взгляда: тяжко придется ей в безжалостном западном мире. Кажется, Джереми играл на скачках, вероятно, наделал долги, хотел поправить дела, на свой риск попробовал служить двум хозяевам — закону и беззаконию. И дослужился. Рискнул и утонул.

— Это вы укокошили его? — спросил я.

— Зачем я скажу «да»? — вопросом на вопрос ответил гангстер. — «Да» я не скажу на суде и не скажу лишнему свидетелю. Но Барба, мой наставник, царство ему небесное, если в то царство впускают мучеников электрического стула, говаривал, что в нашем деле нельзя таскаться с балластом. Этот Цап замарал себя кругом: не сберег картину, не нашел картину, тебя увез, назад не привез. Служба его в полиции кончилась. Он ехал назад, чтобы попасть под следствие и других потянуть за собой. Смерть для него была самым благородным исходом. Человек мужественный на его месте решился бы на самоубийство. Но Джереми не был мужественным человеком.

— И вы убили своего товарища?

— Я лично не убивал. Но Барба считал, что разумные люди должны избавляться от балласта.

— Разумные люди разумных людей не убивают.

Пол пожал плечами:

— Не понимаю логики. Коп хотел уничтожить тебя, а ты волнуешься, когда убрали этого копа. Ты лучше о себе поволнуйся. Какое у тебя положение? Ты уехал вдвоем с человеком, этого человека нашли убитым. Сам же ты оказался в чужой стране, перешел странным образом через границу без визы, явно хотел скрыться. На суде тебе придется тяжко. Конечно, у закона много щелочек, но ты иностранец, ты ходов и выходов не знаешь. Мое гостеприимство — спасение для тебя. Но я не люблю упрямых гостей. Барба говорил, что он человек дела, не к лицу гангстеру содержать гостиницу для недогадливых. Два дня ты думал, подумай еще часика два, и хватит.

В общем, я согласился переделывать нос Салли. Решил, что никому не будет вреда от этой переделки ни в

Восточном полушарии, ни в Западном. Подумал, что так я выиграю время, а там улучу момент или придумаю что-нибудь. И умереть было жалко — жалко уносить в могилу уникальный секрет перевоплощения. Не знаю, идеально ли я поступил, никого не уговариваю следовать моему примеру. Может быть, благороднее было во имя принципиальности пойти на смерть. Но ведь никто не узнал бы даже о моей стойкости. Я оставил бы мир подозрительно исчезнувшим, предполагаемым убийцей. Мне выжить надо было хотя бы для того, чтобы имя свое очистить.

— Цена носа Салли — моя полная свобода,— сказал я.

И ожидал, что Пол скажет: «Да-да, разумеется». И не собирался верить слову убийцы. Велика ли цена его слова, если жизнь человеческая для него ничто?

— Условия диктую я,— возразил гангстер.— Зачем мне говорить «да», кто меня заставляет? За красивый носик Салли ты получаешь жизнь. Полгода жизни, разве этого мало? А там посмотрим, еще какой нос получится. Жизнь я тебе гарантирую. И довольно. Слово сказано. У Длиннорукого Пола слово верное.

Видимо, человеку чем-то надо гордиться обязательно. «Слово верное!»

— Какой же вы нос хотите?— спросил я краснолицую подругу гангстера.

Оказывается, этот вопрос был решен заранее. Салли принесла мне в качестве эталона вырванный из иллюстрированного журнала цветной портрет некоей европейской принцессы. Не кинозвезду выбрала Салли и не миллионершу — естественный идеал для американки, а европейскую принцессу. Церемонного благородства хотелось гангстерше.

Впрочем, принцесса была прехорошенькая: миловидная блондинка с острым носиком и пухленькими, хотя и поджатыми надменно губками. Маленькая голова на несколько длинной шее нисколько не портила впечатления. Принцесса держалась с достоинством. Это хорошо и не только для принцессы.

Я распорядился размножить портрет и наклеить на все зеркала. Читателю я уже объяснял этот прием: нужно подкреплять воображение какими-то вещественными свидетельствами. И я сделал фотомонтажи из лица принцессы и платьев Салли и сделал групповые портреты: принцесса и Пол в обнимку, принцесса и Пол на лодке.

Затем последовало переливание крови. К счастью, кровь у меня нулевой группы, я универсальный донор. И дал я Салли легкую дозу снотворного: не для забытья — для легкой дремоты. Дремота облегчает внушение. На собственное воображение Салли я не очень надеялся.

А далее последовали сеансы внушения.

— Глядите в зеркало,— твердил я Салли.— Девушка в зеркале — это вы. И это вы с Полом в лодке. У вас тонкие ноги, легкая походка, чуть пританцовывающая. У вас худенькие руки, длинные пальцы музыкантши. У вас бледное лицо и прямой носик, остренький кончик у носа. Вот такой нос, в зеркало глядите.

И дело пошло, пошло и на этот раз. Кровь моя, введенная в чужие вены, начала переделывать чужие клетки. Пышнотелая гангстерша стала молодеть — это было заметно уже после третьего сеанса. Талия ее стала стройнее, лицо бледнее и тоньше, нос приподнялся и вытянулся, шея удлинилась. Все это напоминало кинонаплыв, растянутый на многие сутки. В грузных чертах сварливой сорокалетней женщины проступала кокетливо-надменная девушка.

Занятно было следить, как меняется и поведение Салли. Когда жирно намазанный рот крикливой торговки сменили поджатые губки, Салли перестала ругаться, стала кокетливо сюсюкать. С тонкими кистями рук появилась и аккуратность. Салли стала наводить чистоту и украшать цветами дом; цветы появились даже в моем винном погребе. Не знаю, какую роль тут играло новое тело. Вероятнее, Салли приспосабливалась к новому облику психологически, входила в роль молодой девушки и надменной принцессы.

И отношение к людям изменилось у Салли, в частности отношение к Полу. Ранее она обращалась с ним чаще всего с раздражением. Это было раздражение торговки, которая продешевила на рынке, продав свой товар хитрому старику, и вместе с тем уважение к этому старику, перехитрившему даже ее. Сейчас крикливая вздорность сменилась презрительной покорностью. Салли вела себя как знатная пленница пирата. Она уступила силе, но презирает победителя.

Сам-то «пират» не замечал разницы. Он был из тех, кто в любви не интересуется ответными чувствами. Подруга стала моложе и привлекательнее. Он был в восторге,

как собственник, чье имущество повысилось в цене вдвое. А что там думает имущество, его не интересовало нисколько.

Увлеченный удачей, чуть ли не в первый день он мне предложил сделку.

— Давай создадим синдикат,— сказал он.— Мастерство твое, организация моя, доходы пополам — фифти-фифти. Я мог бы и больше взять по справедливости, потому что ты как иностранец и шагу не ступишь в этой стране, как приступиться, не знаешь. Да ты и документы не добудешь — тебя вышлют сразу же. Клиентов не найдешь, кабинет снять не сможешь. Но я играю честно, фифти-фифти, и пусть за все платит клиент. В стране бродят толпы личностей, желающих сменить свою фотографию: стареющие кинозвезды, кряхтящие старики, женихи и невесты с кривыми носами, косыми глазами, добрые молодцы, не поладившие с законом. Мы из них выберем тех, у кого карман набит туго. Таксу установим подходящую: скажем, полмиллиончика за перевоплощение. Четыреста девяносто восемь тысяч — для убедительности. По доллару за каплю твоей волшебной крови. Двоих ты обработаешь за месяц. Вот и миллиончик нам очистится на двоих. Подойдет такой доход?

— Не подойдет,— сказал я.

Он не понял, начал уговаривать. Предложил иной процент: мне шестьдесят, ему сорок («Все равно клиент оплатит»).

— Не пойдет,— сказал я.— Я домой хочу.

Он продолжал уговаривать:

— Дом хорошо, а деньги лучше. У себя дома ты не заработаешь столько. У вас миллионеров нет, там стричь некого.

«Золотого теленка» вспомнил я при этом.

— Нет, я домой поеду, на родину.

— А что ты имеешь у себя дома? — продолжал он на следующий день.— Вот ты рассказывал Салли, она мне пересказала... (Я действительно рассказывал Салли о своем житье-бытье на очередном сеансе, когда она задала мне главный женский вопрос: есть ли у меня жена и дети?) Ты — владелец мирового открытия, живешь в холостяцкой квартире на пятом этаже под крышей. У тебя одна комната и кухня, ты сам себе жаришь яичницу и варишь какие-то кусочки теста с мясом (речь шла о пельменях).

У тебя в шкафу два костюма и одно пальто на все сезоны. Ты ездишь на работу в поезде, у тебя даже машины нет. Я обещаю тебе — слово Пола! — через месяц у тебя будет собственный дом и две машины с шофером, через год — вилла во Флориде, свой самолет и своя яхта. Слово Пола! И чековая будет книжка, и ты будешь выписывать любые суммы. И будешь ездить в магазин и высматривать там, что тебе понадобится, выбирать по прейскуранту, фургончики доставлять на дом.

— Не все покупается за деньги,— сказал я.

Ну как я мог объяснить ему, похитителю детей и картин, своей жизнью рискующему, чужую — уничтожающему за деньги, что я живу в другой плоскости. Вот я делаю на себе опыты, я набираю факты. Но придет же день, когда я смогу, право получив, объявить, что отныне каждый человек — каждый, а не только мешки с долларами, может переделать себя, улучшить себя по своему вкусу. Не будет калек, не будет уродов, не будет несчастных, собой недовольных, не будет пугающих и отталкивающих. Ну при чем тут деньги? Могу я это променять на виллу и яхту? Что мне делать на яхте? Ходить по правому борту, ходить по левому борту, пересчитывать собственные каюты? Да у меня нет на это времени. Я работаю. А в отпуск одеваю рюкзак и иду в горы. Любые. И бесплатные.

— Нет, деньги — это все, — настаивал гангстер. — Все уважают монету. Только одни говорят об этом честно, а другие ханжат, жеманятся, как проповедники в церкви. Ты, мальчик, сам не из церковного сословия?

Сначала я удивлялся даже, для чего это гангстер ведет со мной эти длинные беседы. Потом до меня дошло: Пол оправдывается перед самим собой. Человеку трудно жить без самоуважения, считать себя отщепенцем и выродком. Самому скверному надо гордиться хоть чем-нибудь, оправдать свои грехи и преступления. Только в плохих пьесах капиталисты, скрежеща зубами, декламируют: «Я хищник и грабитель, я кровопийца, мне нравится кровь сосать». Капиталисты подлинные считают себя благодетелями и кормильцами своих наемных рабов. Воры уверяют, что воруют все люди поголовно, но честные воруют трусливо, а они, уголовники, смело и открыто. Тот же мотив проповедовал и Пол. Деньги нужны всем, деньги любят все, но ханжи притворяются бескорыстными, а люди деловые откровенно признаются в любви к деньгам. И везу-

чим доллары достаются легко, от родителей, достаются почетными путями, а невезучие должны вырывать свою долю с риском для жизни и свободы. Но риск — благородное дело. Вот Пол и доказывал, что его бизнес благороднее честного.

И он не верил мне, и Салли не верила, что в моей стране, в моей семье в частности, вообще не уважают людей с большими деньгами. Почетно образование, почетно мастерство, почетен талант, большая и ответственная должность. А деньги вызывают подозрение. То ли это наследство от «бывших» людей, то ли они взяты из государственного кармана, то ли накоплены жадным хапугой, бессовестным спекулянтом. Им это трудно было понять. Ведь в их языке «спекуляция» — это рассуждение, а у нас — жульничество и обман. У нас, расставаясь, говорят: «Прощай», то есть «Извини, если что не так», а у них: «Гуд бай» — «Удачных тебе покупок!» Вот Пол и соблазнял меня неограниченной возможностью покупать: приеду в универмаг на машине, все, что захочется, прикажу завернуть. А мне было смешно и противно. Подумать только: весь свой досуг проводить, толкаясь у прилавка, выбирать вещи по прейскуранту, заваливать комнаты, расставлять, переставлять, пыль стирать, беречь, сторожить. И это занятие для молодого ученого? Кошмар!

ГЛАВА 6

У пленника есть одно-единственное преимущество в борьбе со стражей — обилие времени. Тюремщик живет в сложном мире, у него полно всяких забот: семейных, хозяйственных, финансовых, родственных, служебных, дружеских. А голова пленника свободна: 24 часа в сутки он может думать о побеге. И я думал о побеге днем и думал ночью, лежа на надувном матраце в своем винном погребе. И думал по дороге из погреба в дом, где проходили ежедневные сеансы преобразования Салли в принцессу. Думал, глядя на хмурое приморское небо, по которому скользили обтекаемые, с кургузым, как у истребителя, фюзеляжем, чайки. Так я завидовал этим чайкам... как все смотрящие на небо сквозь решетку! Так хотел взмыть в воздух вместе с ними, как хотят все узники на свете.

Увы, в отличие от сказки, научное волшебство имеет строгие границы. Не мог я превратиться в шмеля, как Гвидон, и в сокола, как Вольга, не мог мышонком ускользнуть в порку, уползти в щелочку червяком. В любых превращениях я должен был сохранить свой мозг и череп — полтора килограмма нервных клеток в костяном футляре, обязан был приобрести крупное тело для помещения и питания этих полутора килограммов. Не шмель, не сокол, не чайка, не мышь! Только человек, только крупное животное — вот первое обязательное условие моих превращений. И второе обязательное условие — время. Две, три, четыре недели на весь метаморфоз. Но при такой постепенности стражи увидели бы, что я собираюсь стать львом, или медведем, или тюленем, поняли бы мои намерения и пристрелили бы своевременно.

Но 24 часа в сутки были в моем распоряжении, и кое-что я придумал. Обдумал, взвесил, составил план действий и приступил.

Начал я с бороды. Отпустил себе роскошную русую бороду, волнистую, как у Добрыни Никитича. Глазастый Пол, конечно, заметил перемену. Спросил, зачем я ращу бороду, не прячу ли под ней змеиное жало или смертоносные когти (почти угадал!). Я раздвинул пряди волос; выпятив подбородок, показал, что там нет ничего, кроме кожи. А объяснение бороде дал самое правдоподобное, с точки зрения гангстера. Напомнил, что сейчас везде расклеены объявления с моими портретами. Значит, первый же клиент, которого приведет Пол, меня опознает. Решится ли он лечить свою внешность у человека, подозреваемого в убийстве полисмена?

Настороженность удалось снять, к бороде моей привыкли, перестали обращать на нее внимание; я мог перейти ко второму этапу своего плана. Жабры решил я вырастить, жабры, как у человека амфибии. Чтобы жабры прикрыть, и нужна была борода.

Дома, в Москве, я попробовал бы вырастить жабры, как и новое лицо — одним напряжением воли. Ведь жабры не чужеродны для человеческого организма. Мы, люди, произошли от существ, дышащих жабрами, у человеческого эмбриона есть жаберные щели на пятом месяце развития, значит, есть жаберные гены в наших хромосомах, только потом они подавляются.

Но в плену не место было ставить опыты. Рисковать я

не хотел. И я потребовал у главного гангстера сырую рыбу на завтрак под тем предлогом, что мне нужно усилить кроветворение, поскольку я должен ежедневно переливать свою кровь в жилы его жены. Для маскировки я каждодневно требовал какую-нибудь особенную еду: то ананасы, то русскую икру, то чеснок, то жареные мозги кролика, всякий раз объясняя, что Салли нужен именно этот материал. На пятый день заказал сырую рыбу. Сошло.

— Наловите ему рыбки, ребята,— распорядился Пол.— Только не акулу, а то он сам превратится в акулу и слопает вас живьем.

Опять чуть не угадал.

К счастью, подручным Пола все это казалось шуточками. Консервативно мышление человеческое. Видят же, что я толстую бабу могу превратить в стройную девушку, знают, что у меня нюх был как у хорошей ищейки, а превращение в рыбу им представляется смешной нелепостью. Велика ли разница между звериным носом и жабрами?

В тот же вечер я получил сырую рыбу треску — трески больше всего было в окрестностях островка, где Пол держал меня в плену. Улучив момент, я унес кусочки рыбы в свою винную пещеру все под тем же предлогом — для кроветворения мне нужно и ночью пожевать. И размельченные свежие жабры положил в ноздри. Так чужие гены всасываются лучше всего. Снова повторяю отважным естествоиспытателям, готовым неразумно ставить опыты над собой: подражать мне бесполезно и опасно. У меня организм особенный, он иначе воспринимает чужие гены. У вас, кроме нагноения, ничего не будет.

Гены получены. Настраиваюсь. Воображаю себя человеком-амфибией. Воображаю настойчиво.

Уже через день у меня начали припухать гланды под бородой. Дня через три наметились жаберные щели. Новое естество рождалось тяжко: болело горло, болела грудь, я задыхался временами. Потом боль отпустила, видимо, все срослось как полагается. Принимая ванну, я попробовал опустить голову под воду. Получилось! Ура! Затхловатый, мыльно-щелочной, противный воздух вошел в жабры. Вошел! Вдох! Выдох! Булькают пузырьки, я дышу. Не без усилий, но все же дышу под водой. Дышу с плотно закрытым ртом, сомкнутыми губами, вбираю воду щелями и выпускаю через щели. Получается!

Под тем же стандартным предлогом — свежий воздух нужен для кроветворения — я выпросил себе ежедневную двухчасовую прогулку. Водили меня по очереди Гора Мяса и Сломанный Нос. «Водили» надо понимать в переносном смысле, не в прямом. Они предпочитали сидеть на камне или на скамейке, а я сидел у их ног, пристегнутый полицейским наручником. Гангстеры верили в полицейские наручники — профессиональный взгляд на надежную охрану.

На «прогулках» этих удалось осмотреться. Трехкомнатный сборный «замок» Пола находился на небольшом скалистом островке. Видимо, Пол был единственным жителем, а может быть, и владельцем этого островка. Я знал, что в Канаде принято продавать острова частным собственникам. Иметь остров — это еще почетнее, чем иметь собственный дом. Выкладывай денежки и воображай себя графом Монте-Кристо!

Графство Пола было невелико и почти бесплодно. В сторону океана вздыбился скалистый мыс, обдутый свирепым ветром. Немногочисленные деревья росли там поодиночке, как последние волосы на лысине. Все они были малорослы и резко наклонены, словно отшатнулись от свирепого ветра. Но высокий мыс этот прикрывал как бы стеной западный берег с небольшой рощицей и уютной бухточкой, примерно такого размера, как зимний бассейн в Москве у метро «Кропоткинской». Тут росла небольшая рощица, тут ютился коттедж Пола, тут же была пристань, сушилась моторка, стояли бочки с бензином и с водой. Пресную воду привозили с материка. Бухточка отделялась от океана мелким каменистым проливчиком, где рокотали, сталкиваясь, сбегающие и набегающие волны. Видимо, только во время прилива моторка входила в бухту легко. Далее шумел океан, чаще сизый, изредка синий, усеянный скалами других Монте-Кристо, окруженных нарядными брызгами из морской пены. Километрах в пяти синел зубчатый силуэт материка. Впоследствии оказалось, что я просчитался: на самом деле это был не материк, а остров побольше.

Такова была обстановка, и обстановка эта диктовала условия побега.

Гуляли мы на берегу заливчика, так что прыгать я мог только в заливчик, затем уже через мелкий опасный пролив пробиваться в открытый океан и под водой, дыша жаб-

рами, плыть к берегу. Гулял я с наручником на запястье; следовательно, мог бежать только в тот момент, когда наручник снимался. А бывало это во время прогулки один раз или два раза: когда Горе Мяса надоедало топтаться возле меня, он просил приятеля подменить его; отстегивал наручник, снимал со своей руки и протягивал Боксеру. Вот тут и наступал тот единственный момент, когда я мог рвануться и прыгнуть в воду.

Жабры мои были готовы 21 августа, на двенадцатый день плена. Я вышел на прогулку с трепетом. Не принадлежу к числу тех счастливцев, которые не волнуются перед битвой. Завидую стальным нервам, но свои закалить не сумел. Даже Салли заметила, что я не в себе. Поняв это по-своему, стала утешать меня, сказала, что Пола бояться не надо, он в сущности добрый малый, никого не убивает без надобности, мы с ним поладим в конце концов. И я отложил побег только для того, чтобы успокоиться. Когда нервничаешь, ошибок не избежать.

И 22-го не удалось бежать. Погода была солнечная, и Пол торчал на площадке, развлекая меня своими дифирамбами деньгам. При нем стража не решалась меняться и не отстегивала наручники. Я примирился с задержкой. Тем более, что время пока работало на меня. День прошел и второй, ничего не случалось на прогулке. Гангстеры привыкли считать меня безопасным и покорным. Настороженность их притупилась.

Подходящий момент пришел 23-го. Все складывалось благоприятно. С утра Пол уехал на материк, на прогулку меня повел Гора Мяса, самый ленивый из стражей, чаще других просивший смены. Да и погода благоприятствовала. Солнце зашло за облака, а в пасмурную погоду вода не так прозрачна, легче спрятаться в глубине. Я глянул на небо, как только вышел на прогулку, и решил, что мой день пришел. Сегодня попытаюсь удрать обязательно. И сразу явилось спокойствие. Волноваться заставляет меня необходимость выбирать, а если принято решение, тут надо только действовать.

Я постарался надоесть Горе Мяса побыстрее: то и дело дергал его, просил пройтись или хотя бы пересесть на другую скамейку; пригрозил, что пожалуюсь Полу. Массивный толстяк стукнул меня разок, чтобы утихомирить, но я продолжал дергать его. И добился своего: Горе Мяса надоела моя суетливость.

— Эй, кто там?! — крикнул он.— Идите сюда, ребята, подержите эту собачонку.

Вышел Плащ, самый хмурый и мрачный из гангстеров. Я подозревал, что именно Плащ отправил на тот свет инспектора Джереми.

Толстяк снял браслет со своей ручищи, потер затекшее место, протянул двумя пальцами цепочку напарнику.

Вот тут я и ударил его опять по всем правилам... точнее, против правил, самым запрещенным приемом. Толстяк взвыл, а я, рванувшись всем телом, боком ринулся в воду. Упал наискось, брызг поднял фонтан и шлепнулся здорово, словно мокрым полотенцем стегнуло по груди. И тут же услышал как бы щелканье пастушеского кнута. Видимо, Плащ стрелял. Ловко он выхватывал оружие.

Скорее, скорее в глубину. Гребок, другой, третий. Посерело перед глазами, вода надавила на барабанные перепонки. Значит, глубоко, едва ли меня видно сверху, и едва ли пули достанут. Жабры не подведут ли? Губы сжал, шевельнул горлом. Ничего. Дышится. Теперь к проливу. Где тут пролив? Ага, справа стена, вот и поплыву вдоль стены. Впереди что-то мутно-белое. Не пена ли в проливе? Гребок, другой, третий. Ну-ка, Юра, проворнее!

Но опоздал я все равно. Конечно, пробежать по берегу можно было быстрее, чем переплыть залив. Гангстеры догадались, что я кинусь к проливу, уже стояли там по щиколотку в воде и палили почем зря. Плащ догадался, конечно. И только я высунулся — что-то шлепнуло меня по левой руке. Я развернулся и нырнул в глубину. Уже в сумеречной полутьме посмотрел на руку. Нет, багровый дым не расплывается. Значит, не ранили, контузили только.

Попался. Пять метров до вольного океана, а не прорвешься.

Как быть? Отсиживаться буду. Час, два, три, весь день до ночи. Авось ночью, когда гангстеры устанут и потеряют бдительность, как-нибудь проплыву. А может быть, на берег выползу и проберусь к океану сушей.

До той поры надо сидеть и ждать. Хорошо, что залив глубокий. Стены уходят вниз отвесно, даже нависают. Присел под одним из выступов — сверху ничем меня не возьмешь.

Дышится хорошо. Жабры приспособились, автоматизируются. Не надо про них помнить. И кислород такой при-

ятный, чистый, чуть солоноватый, не мыльный, как тот, что я попробовал в ванне.

Но холодно. Тело-то у меня человеческое, ему прохладно в воде. Одежда компрессом, ботинки, как кандалы. Ботинки я сброшу, пожалуй, а одежду нельзя — всплывет еще, выдаст мое местонахождение. Да и на берегу понадобится... если доберусь я до берега когда-нибудь.

Внезапно донеслось до ушей татаканье. Поплыла тень по блестящей фольге, которая для меня обозначала поверхность. Сердце захолонуло. Что-то задумали гангстеры? Зачем спустили катер? Увидели меня? Сеть кидать будут? Глубинные бомбы бросать? Тогда конец.

Но тень отодвинулась, переместилась к проливчику, шум мотора сник. Катер явно удалялся.

Почему сторожа мои кинулись в океан, не ведаю. Может быть, решили срочно доложить Полу о бегстве, может быть, сочли, что я утонул, подстреленный, а может быть, что я превратился в какую-нибудь рыбину, и погнались за ней. Если бы я придумывал эту историю, я бы знал точно мотивы врагов, а так могу только гадать.

Я переждал еще минут двадцать и осторожно подплыл к проливу. Тихо!

Не ловушка ли?

Эх, была не была!

Рокотали волны, встречались набегавшие и сбегавшие. Сглаженные прибоем камни выплывали из мути. Видел я под водой плохо. Глаза-то остались у меня человеческие.

Ну вот и нет камней. Внизу сизая тьма. Глубже, глубже, глубже ухожу в подводный сумрак. Найди-ка меня теперь.

Спасся!

*

Нет, приключения мои не кончились, приключения только накапливались.

Я отдышался, поплыл вперед что есть силы, нажал, нажал... и почувствовал, что тошнит, в глазах зеленеет. И провалы в сознании: плыл во мгле, и вдруг — в светлой воде. Когда поднялся, не помню.

А в моем положении небезопасно было терять сознание. Я под водой нечаянно мог рот раскрыть вместо жа-

берных щелей и залил бы водой легкие. Сам себя не откачаешь.

Из последних сил ударил ногами, вытолкнул себя на поверхность. Глотнул привычного воздуха. Зелень сползла с глаз — я увидел небо, свинцовые, грузные тучи, свинцовые волны. Надышавшись, нырнул снова, напряг мускулы, чтобы подальше отплыть... Зеленеет!

Видимо, не хватало мне кислорода под водой. Возможно, жабры я отрастил неполномерные, а возможно,— и такое может быть объяснение — вообще в воде слишком мало кислорода для теплокровного. Даже не всяким рыбам достаточно. Тунцы, например, развивают гоночную скорость, чтобы набрать кислород на длинной дистанции. Но мое человеческое тело, маломощное и не обтекаемое, гоночную скорость развивать не способно. Два километра в час — мой личный рекорд.

Что же получается? Под водой я могу только прятаться, отлеживаться на грунте, как подводная лодка с приглушенным мотором, а плыть я вынужден по поверхности, по волнам.

Но на поверхности меня заметят «мальчики» Пола, а если заметят, уйти будет почти невозможно. Медлителен.

Где они, кстати?

Впереди на гребнях плясала моторка. В ней были двое: один — нормальной комплекции, другой — выше средней упитанности. Силуэт Горы Мяса не спутаешь ни с каким другим. «Мальчики» Пола спешили к берегу. Зачем? Вероятно, решили предупредить Пола. Ну, а что предпримет главный гангстер, узнав о побеге?

Я постарался поставить себя на его место. Пол — человек сообразительный. Он знает, что метаморфоз идет постепенно, поймет, что я не превратился в рыбу, вспомнит о сырой треске, догадается, что у меня жабры под бородой. И догадается, что с жабрами, но без плавников и без ласт я плыву не быстрее обычного человека. При моей скорости — полтора-два километра в час — можно подсчитать почти точно, в котором часу я выйду из моря. Пол расставит своих «мальчиков» и «мальчиков» своих приятелей. Мне устроят торжественную встречу...

Если же я проскользну сквозь этот кордон, не трудно будет поймать меня с помощью полиции. Куда я пойду по чужой стране, босой и бородатый, как хиппи, без единого цента в кармане? А полицию Пол известит, что он

видел предполагаемого убийцу инспектора Джереми в такой-то одежде и с бородой. Полиция сцапает меня без труда, а потом Пол придет в тюрьму и скажет: «Я выручу тебя, если согласишься работать со мной». Так будет действовать Пол... Это еще в лучшем случае.

Пожалуй, один у меня выход — то средство, которое я уже применил в бухте в первые минуты побега: пережидать. Переждать день-два, пока обо мне забудут, пока не махнут рукой, решив, что я утонул или попал на обед к акулам.

Но где пережидать? На дне? Так я и в самом деле достанусь акулам. Да и не высижу я в воде двое суток. Закоченею.

И я повернул от берега в сторону, к ближайшему из островков, владению какого-нибудь другого Монте-Кристо.

Часа два плыл к нему и два часа беспрерывно думал об акулах.

Наконец над головой нависли утесы, изъеденные прибоем. Волны таранили каменные стены с гулом, вскидывали вверх фонтаны брызг. Подумать страшно было, как тебя поднимет, как шмякнет о камни этакий вал... А взбираться некуда — отвесно.

Неужели зря плыл сюда два часа? Плыл, плыл, теперь назад поворачивать? А сил уже нет. Доплыву ли до другого островка?

Кажется, тут я усомнился, что увижу когда-нибудь Москву.

Но во всякой полосе невезения должна быть брешь, хотя бы по закону вероятности. Брешь заметил я в стене соленых брызг. В каком-то месте не вздымались фонтаны. Приблизился осторожно, услышал не пушечные удары, а рокот. Волны не расшибались тут, вода куда-то втекала. Рискнул подплыть еще ближе. Черный треугольник, ныряющий в каждую волну. Грот!

Очередная волна внесла меня внутрь. Я оказался в сводчатой пещере, тускло освещенной мерцающим светом. Свет мерцал, потому что каждая волна закупоривала выход, но в промежутках между валами свет и воздух врывались внутрь. Над рокочущими водами возвышались уступы, достаточно широкие, чтобы лежать на них. Именно то, что мне нужно. Надежное убежище, где ни акулы меня не достанут, ни люди.

Благодаря свое везение, я взобрался на мокрые камни,



растянулся в изнеможении. Лежал в сладостном изнеможении минут пять, дух перевел, начал думать. И тогда понял всю безнадежность моего положения.

Дождавшись утра, я должен плыть на материк, и не пять километров, как я думал сначала, а километров двенадцать — пятнадцать. Я узнал это по дороге к моему гроту. Увидел, как из-за синих гор выплыл большой пароход, и понял, что горы эти — остров, а материк где-то дальше, за горизонтом. Тогда, ночью, меня везли на катере часа два. Это могло быть и тридцать километров. Едва ли преодолею я такое расстояние: если и прорвусь сквозь строй акул, холодная вода меня доконает.

Если же не закоченею, на берегу меня встретят в засаде Пол и его подручные, которым не так трудно рассчитать время и место моего прибытия.

Только чудо может меня спасти.

Но чудеса я способен творить с собой.

И я решил использовать свои чудесные возможности: метаморфизироваться в существо, чувствующее себя в воде как рыба — в дельфина.

Гибрид человека с треской оказался в воде беспомощным и слишком тихоходным. Оказывается, не владыкой океана был беляевский Ихтиандр, а гостем, туристом в безопасных водах.



Владыкой океана мог быть только коренной океанский житель, дышащий кислородом, например, могучий дельфин, отважный боец, гроза зубастых акул, рекордсмен плавания среди китов. От любой опасности он может удрать, любую рыбу догнать. И ледяная вода ему нипочем: он одет прекрасной жировой шубой.

И расстояния ему ничто, любое море, любой океан.

В общем, я решил сделаться дельфином.

И тут конец истории моего двенадцатого Я— с чувствительным носом и заодно Я-тринадцатого — с жабрами под бородой. Но не конец приключений. Приключений было еще полно́. Я расскажу о них коротко, чтобы не затягивать разговор.

ГЛАВА 7

Путешествие в образе дельфина...

Выбор облика почти вынужденный. Для преодоления морских просторов требуется стать морским животным, достаточно крупным, чтобы поместить череп с человеческим мозгом, и обязательно теплокровным, чтобы этот череп снабжать горячей кровью. Итак: тюлени, моржи или китообразные. Моржи плохо плавают, тюлени — легкая

добыча хищников. Китообразные? Чьи гены в моем распоряжении? Только гены дельфина афалины, потому что где-то в самом первом десятке моих «Я» пробовал я превращаться в дельфина. Тогда я не довел метаморфоз до конца — испугался резких перемен. Но перемены начались, дело шло. Гены имелись, и я приказал им строить дельфинье тело.

Приказал в первую же ночь. Очень уж холодно было мне, человеку, лежать на камнях в промозглой нише под беспрерывным душем холодных брызг. Очень хотелось поскорее стать лоснящимся дельфином в плотной подкожной шубе, пригодной для любой воды.

И я воображал себя дельфином, гладким, согретым, довольным. Воображал, что у меня мягкий выпуклый лоб с мягкими подушками сонара перед черепом; что у меня твердый клюв вместо губ, а глаза в уголках рта, обведенные темной каймой, как бы очки на носу; что у меня плавники вместо рук и сильный хвост; что я стремительно ношусь под водой, ловко хватаю зубастой пастью вялую рыбу, мну ее нёбом, глотаю с удовольствием. Воображал — и не чувствовал голода, не помнил о холоде. Очень утешительное занятие — воображать.

Рассказывают — сам я не видел этого,— что йоги могут вообразить себе тропики на морозе, отдуваться и потеть, сидя на снегу. Охотно верю. Даже думаю, что они счастливые люди: очень приятно ощущать жару, замерзая, не чувствовать боли, когда должно быть больно. Но полагаю, что для организма полезнее обращать внимание на боль и на холод, принимать меры для избавления. И голод можно игнорировать, воображая себя сытым до отвала, но несуществующая пища не насыщает тело. Тело мое настоятельно запросило еды, как только воображение утомилось.

Когда занялся рассвет, я выглянул из своего убежища. На что я надеялся? Думал хотя бы устриц набрать, хотя я терпеть не могу устриц — скользкие, холодные. Но мне повезло опять. Неподалеку на белесой глади чернели палки с флажками. Сети были поставлены на ночь. Я подплыл к ним под водой и не торопясь выбрал десятка два рыб покрупнее из числа застрявших в ячейках. Тогда же я подумал, что руки мне надо будет оставить при дельфиньем теле. Очень полезное приспособление — руки, не стоит от них отказываться ради скорости и обтекаемости.

Рыбы было достаточно, чтобы насытиться, но есть пришлось сырую. Варить и жарить мне было негде и не на чем. «Пора привыкать к дельфиньему рациону»,— сказал я себе. Впрочем, Ален Бомбар, переплывший на плоту Атлантику, всю дорогу питался только сырой рыбой. И даже сок выжимал из сырой рыбы. Бомбар утверждает, что в рыбе достаточно питательных веществ и пресной воды.

Холодная рыба согрела меня. Я улегся на камни, почти довольный жизнью. И снова начал: «Я дельфин, я настоящий дельфин, у меня плавники — два грудных, и спинной, и еще хвостовой, самый могучий, плоский и горизонтальный, как полагается китообразному, не вертикальный, не рыбий. У меня обтекаемое тело с плотной кожей, смазанной слизью для скольжения, и белый пластичный жир под кожей. И этот жир затыкает царапины словно пробка, чтобы кровь не вытекала в воду. И жир укутывает меня как одеяло. Мне тепло, тепло, тепло!»

Так три недели. Не буду описывать, как постепенно усыхали мои руки, превращаясь в маленькие поджатые лапки, словно у динозавра; как срастались ноги, а из ступней получился хвостовой плавник; как губы вытягивались, образуя клюв, глаза переезжали по щекам вниз, а ноздри двигались на темя, чтобы стать там дыхалом. Не буду описывать. Это скучно и... неэстетично. Человек красив, может быть красивым, во всяком случае. И дельфин красив по-своему — живая торпеда моря. Но получеловек-полудельфин с полухвостом-полуногами, с глазами на щеках и ноздрей на лбу откровенно противен. Не только дуракам, и умным не рекомендуется показывать полдела.

Сам процесс метаморфоза — наиболее трудный и опасный период в жизни. Бабочка летает, гусеница хотя бы ползает, но куколка, в которой гусеница превращается в бабочку, беспомощна, неподвижна и беззащитна. Куколка — это эмбрион, брошенный на произвол судьбы. В теле ее автоматически тасуются молекулы, а она ничего не чувствует и ничего не может предпринять.

В процессе метаморфоза я был куколкой, которая все понимает и не может ничего. Я даже не видел и не слышал несколько суток, дня два не мог глотать. Если бы пришли люди, я бы не сказал им ничего; если бы напали акулы и спруты, я бы не мог убежать по-человечьи или уплыть по-дельфиньи. И так я боялся, что в пещеру мою заглянет какой-нибудь чудак, поразится, стукнет по го-

лове веслом, и заспиртуют монстра на радость зевакам, или же спрут какой-нибудь протянет щупальце и сочтет это неопределенное существо пригодным для завтрака.

Но пронесло. И стал я подлинным дельфином, темным со спины и белобрюхим, клюворылым, китохвостым. И скрыл человеческий свой мозг за вдумчивыми на вид выпуклостями сонара.

Одну только вольность позволил я себе, одно рационализаторское добавление к телу дельфина: оставил человеческие руки, маленькие, усохшие, но с пятью пальцами, сложил их под грудными плавниками. В дальнейшем они доставляли мне немало хлопот: мерзли, мокли, болели в пути и плыть мешали. Но без рук я чувствовал себя... как без рук. И в конце концов они выручали меня не раз.

Итак, через три недели я родился как дельфин. Теперь мне предстояло еще научиться быть дельфином.

Плавать я начал с первого же раза. Это мое тело делало почти инстинктивно — рулило грудными плавниками, загребало хвостовым. Плавать-то я плавал. Вот ориентироваться не умел. Тут мне пришлось учиться почти заново.

Человек — существо зрительное. Глаза — основной наш компас в солнечном, насыщенном лучами мире. Собака, живущая в том же мире,— существо обонятельное, нос ее — компас в воздухе, напоенном запахами. Однако, «присобачив» собачий нос, я не стал существом обонятельным, потому что сохранил глаза и остался в мире, освещенном солнцем. Только информации о запахах больше получал через новый нос.

Дельфин же существо звуковое, точнее, ультразвуковое. В мутном подводном мире его ведут не глаза и не нос — запаха дельфин вообще не чувствует. Дельфина ведет сонар — та самая подушка на лбу, которая придает ему такой осмысленный, вдумчивый вид.

Как только я стал дельфином, я услышал свист, постоянное посвистывание, иногда прерывистое. Любое препятствие этот посвист модулирует, обычно усиливает. Если препятствие удаляется, свист глохнет, если приближается — становится выше и пронзительнее. Можете представить себе эти изменения, приближая ладонь к свистящим губам. Слегка поворачивая голову, дельфин может понять форму препятствия, как бы обвести свистом силуэт. В дельфиньем мире проносятся свистящие пятна, прихо-

дящие и удаляющиеся; монотонно свистят неподвижные камни, басит убегающая добыча, пищит догоняемая. Дельфин живет в мире свистящих эхо. Глаза же, загнанные в уголки рта, выполняют вспомогательную роль — это боковые стражи. Они следят за флангами, куда не направлены ощупывающие волны свиста. Дельфин подобен судну в тумане — он движется вслепую, ультразвуковыми гудками обследуя мглу.

И добычу ловит, ориентируясь по свисту. Вот это было труднее всего для меня: по свисту узнавать и ловить рыбу.

Пришлось научиться. А то бы с голоду умер.

И еще одна трудность выяснилась, почти неожиданная.

Дельфиньи секунды длиннее наших. Я подразумеваю: в секунду дельфин получает больше информации, чем человек.

В секунду человек может сказать примерно пять слов, пробежать от силы пять-шесть шагов, увидеть около пятнадцати картинок. (На том и основано кино. 24 кадра в секунду кажутся нам единым слитным движением.) Но дельфин хватает свою добычу, догоняя ее на скорости около пятидесяти километров в секунду, на скорости дачного поезда примерно. Представьте себе, что, стоя на паровозе, вы ловите ртом воробья. У человека для такого подвига не хватит впечатлений. Глаза дают нам слишком мало сообщений, в данном случае одно сообщение на метр пути; тут повернуться не успеешь, промахнешься неминуемо. Дельфин получает примерно сто сообщений в секунду, на максимальной скорости — одно сообщение на пятнадцать сантиметров. Конечно, он успевает и прицелиться, и корректировать направление.

Можно представить себе, как растянуты секунды у ласточки, ловящей мошек. В секунду она пролетает метров двадцать — двадцать пять, прицелиться должна с сантиметровой точностью, чтобы мошка оказалась в клюве. Тут и сто рапортов в секунду маловато. А еще интереснее, как воспринимают секунды эти самые мошки. Муха взмахивает крыльями пятьсот раз в секунду, а комар — примерно двадцать тысяч раз. Воспринимает ли комар каждый взмах крыла в отдельности?

Вот где живая лупа времени.

Моему человеческому уму труднее всего было освоить быстрые модуляции свистов. Но все же я освоил — голод

заставил. И преисполнился гордости, когда впервые поймал по свисту превкусную макрель. Сумел перестроиться мысленно, войти в дельфиний темп жизни.

Мир стал для меня до смешного ленивым, как в замедленном кино. Волны вздымались задумчиво, гребни их как бы нехотя изгибались вопросительным знаком и столь же неохотно опадали в море, разбиваясь на неторопливые брызги. Как бы раздумывали: разбиться или не стоит? А люди... какие же это оказались ленивые существа! Вставали как полусонные, разгибались, размахивались. О каждом намерении человека можно было узнать заранее по его приготовлениям.

Примерно с неделю я усваивал дельфиний образ жизни, а когда усвоил настолько, что мог прокормиться самостоятельной охотой, не зависеть от человеческих неводов, пришла пора пуститься в дальний путь.

Куда? Конечно, домой, в Крым, в единственный бассейн, куда я мог приплыть в образе дельфина и получить время и спокойное место для обратного метаморфоза. Не было смысла плыть в чужие, хотя бы и близкие, страны. Куда я мог попасть там в дельфиньем облике? В цирк в лучшем случае. Искать на материке грот для превращения в человека? Найду ли? А если найду, что потом? В чужой стране доказывать, что я — это я и что убийца полицейского не я. Нет, только домой, только к своим!

И однажды, когда восточный горизонт начал сереть, приготовляясь к восходу, взял я курс на этот сереющий горизонт.

Дельфин плывет через Атлантику один!

Десять тысяч километров под водой и на воде!

Примерно двадцать тысяч вздохов.

Наполняю воздухом легкие. Нырок, скольжу под водой. Шипят, проплывая, скалы, с тоненьким свистом проносится мелкая рыбешка. Но я сыт, наелся на дорогу, мне охотиться сейчас ни к чему. Работаю хвостом, разгоняюсь, языком пробую воду, какова на вкус. Так плыву минут пять, по ощущениям — полчаса. Постепенно начинаю ощущать усталость, муть в голове, стеснение в груди, томление в дыхале. Поднимаюсь на поверхность, отфыркиваюсь, прочищая дыхало фонтаном, вдыхаю соленый морской воздух, дышу методично, добросовестно и со вкусом. Исчезает муть, стеснение и томление. Чувствую, словно отдохнул и выспался. Нырок. Скольжение в глубине.

Это надо повторить десять тысяч раз, чтобы перед глазами оказался родной берег.

Ох, и страшен был этот «крестный путь» в десять тысяч вдохов! Страшен в прямом смысле. Страхов много было на пути. Всего я боялся, дельфин-самозванец: боялся людей — прежних собратьев, боялся дельфинов — новых родственников, боялся океанских чудовищ, известных и неведомых.

Не все страхи оказались основательными. Людей в Атлантике можно было не опасаться, как выяснилось. Может быть, странно будет прочесть об этом горожанам, привыкшим к тесноте дома, в метро и на улицах, квадратными метрами измеряющими жизненное пространство, но на нашей же планете, пересекая океан, я ни разу — ни единого разу! — не встретил ни одного судна. Следы от судоходства были... но об этом позже.

Дельфины встречались чаще, и не безопасны были эти встречи. Народ они общительный, мои собратья по телу: встретив одинокого путника, они обязательно сворачивали с пути, чтобы вступить со мной в контакт; возможно, хотели узнать последние известия с американского побережья. Но я не знал по-дельфиньи, не мог вымолвить (вероятно, просвистеть?) ни единого слова. Среди них я был иностранцем, хуже того: неким чуждым существом, немым и неумелым, как младенец. Возможно, по невежеству я делал что-либо неприличное, нарушал дельфинью этику. Так или иначе, но всякий раз после короткого знакомства грубые самцы и даже нежные самочки набрасывались на меня, разинув пасти. А в пастях у них в каждой челюсти было до 80 зубов, и все очень острые. После двух-трех схваток, наученный горьким опытом, я старался обходить дельфинью стаю стороной.

Но страшнее всего — дрожь пробирает, как вспомню! — оказались дикие обитатели океана.

Нет, не акулы. Акул я не боялся теперь нисколечко. Отлично помнил, еще в бытность человеком в книгах вычитал, что дельфины шутя справляются с акулами, даже людей от акул спасают. И, повстречав тупоносую рыбину с пастью, открывающейся вниз, я немедленно ринулся в атаку, хотя была эта рыбина раза в два длиннее меня, раз в восемь тяжелее. И атаковал удачно. Быстрота решила. Пока акула разворачивалась, разевая страшную пасть, я, фехтуя рылом, проткнул ее жабры справа и сле-

ва. До чего же приятно было чувствовать себя ловким и смелым, этаким подводным молодцом! Я ткнул гадину еще раза три, добивая, и отплыл, потому что к месту битвы спешили ее подружки. Не на помощь, не из солидарности, как выяснилось. Товарки акулы почуяли запах крови и кинулись рвать куски мяса из тела раненой.

Акулы — ерунда. Но есть в океане подлинный ужас!

Нет, не спруты. И не морские змеи. Морского змея с лошадиной гривой не встретил я на своем пути. Ужас был обыкновеннее.

Я наткнулся на него на Большой банке, юго-восточнее Ньюфаундленда, одном из самых рыбных мест Атлантики, где полно планктона и китов, интересующихся планктоном, и кишмя кишат треска и дельфины, приплывающие полакомиться треской. Я тоже уминал эту сырую треску, запасая жир для дальней дороги поперек океана. Хватал, глотал, подремывал, набив живот, опять хватал и глотал...

И вот почувствовал я на языке что-то пугающее. Вода, страшная на вкус! Это только дельфин может понять, поскольку дельфин все время пробует языком воду: для него есть моря сладкие, аппетитные, невкусные, пресные, ароматные, привлекательные... Тревожная вода была на этот раз. Паника охватила меня; еще не понимая, в чем дело, я пустился наутек, не представляя, что мне грозит, какая опасность позади. Надо сказать, что дельфин, как и человек, по самой конституции охотник, а не добыча. Заяц, тот видит, как лиса догоняет его, а человек смотрит вперед, погоню только слышит, не очень отчетливо представляет, поскольку слух дает нам куда меньше информации, чем зрение. И у дельфина то же самое: насыщенная, отчетливая информация о каждой рыбешке впереди, доставленная сонаром, а глаза и уши, подстраховывающие сбоку и сзади, сообщают кое-что, не слишком подробно и не слишком определенно.

Только через полминуты вступил мой человеческий разум. И разум заставил меня выпрыгнуть, чтобы осмотреться. Я увидел, что море пенится от дельфинов, скачущих, словно блохи, во всех направлениях, причем поблизости от меня мечутся дельфины обычного размера, такие, как я, а сзади и по бокам тяжело плюхаются в воду громадины метров шести или восьми в длину, черноспинные, с белыми пятнами позади глаз и острым, кривым, как сабля, спинным плавником.

Касатки! Киты-убийцы! Волки океана, ужас морей! Как их еще величают?

Нет хищников страшнее в соленых водах. Касатки могучи, умны и отважны. Даже на громадных китов они нападают стаями, цепляются за губы, рвут язык, лезут в пасть. Говорят, что, завидев касаток, кит от ужаса переворачивается пузом кверху. Касатки их загоняют в бухты, сторожат при выходе в открытое море. Даже для быстрых дельфинов касатка опасна. Хитрые хищники подкрадываются к дельфиньему стаду, обкладывают полукругом и прижимают к берегу. Дельфины мечутся, теряя всякое соображение от ужаса (если есть у них соображение), и попадают в зубы страшилищам.

Вот и на этот раз касатки гнали дельфинов к скалам Ньюфаундленда. И меня гнали — человека в дельфиньей шкуре.

Сердце сжималось, от холодной истомы немело тело. Я работал хвостом как сумасшедший, даже ручками подгребал, наверное, мешал сам себе. Замирая от страха, несся, не думая, не глядя, не прислушиваясь к свистам. А когда подумал, стало еще страшнее. Вспомнил собственный студенческий реферат: «Хищники — санитары природы». Суть в том, что всякие хищники, сухопутные и водные, догоняют легче всего неполноценных животных — больных, старых, слабых, тем самым очищают вид от худших представителей, выполняют естественный отбор. Но кто среди дельфинов самый слабый? Я, конечно, дельфин-самозванец. Я уже сейчас отстаю. Меня поймают раньше всех.

Единственное спасение — пустить в ход человеческий разум.

Что подскажет мне разум?

Надо отбиться от стаи.

Касатки заходят полумесяцем, справа и слева, действуя по всем правилам загонщиков. Касатки пугают дельфинов, сбивают стаю в кучу, а там начнут хватать, когда убегать будет некуда. Значит, нужно вырываться из окружения сейчас, кинуться наперерез. Авось проскочу. В учебниках пишется, что касатки медлительнее средних дельфинов.

Ох, как страшно было! Словно через рельсы перебегаешь перед паровозом. С той только разницей, что рельсы с добрый километр шириной. Ворочая голову влево,

сонаром слышал я приближение тех касаток, которые могли бы схватить меня, слышал нарастающее верещание возрастающей громкости. Еще не очень точно определял я расстояние сонаром, но так получалось, что две ближайших могут меня догнать. Скорей, скорей, скорей! Мутится в голове, давно пора вынырнуть, чтобы набрать кислорода. Но можно ли время тратить на фонтаны, прочистку дыхала, когда уже раскрыла пасть твоя зубастая смерть? Скорей! Скорей! Касатки совсем близко. Голова трещит от оглушительного свиста. Сейчас схватят. И погибну я, перекушенный пополам, кончу жизнь в брюхе прожорливого зверя. Ох, какая противная смерть!

Но вот оглушительная, разламывающая череп сирена приобрела рокочущие, басовые ноты. Касатки стали отставать. Даже отвернули. Решили, видимо, что не стоит гнаться за одиночкой, разрывая цепь. Выскочил я из кольца.

Расчет спас меня, выручил человеческий разум, но разум и мучил после. Звери — существа легкомысленные. Антилопы пасутся рядом со спящим львом. Разбегаются лишь тогда, когда лев рыкнет, проснувшись. А когда одну из них придушит и начнет закусывать, снова пасутся тут же беззаботно. Человек же, вырвавшись из львиных лап, всю жизнь будет помнить об этом, из львиной страны уедет, детям закажет туда заезжать. До глубокой старости во сне будет видеть львов, просыпаться в холодном поту. Я вырвался из кольца касаток, они не стали меня преследовать, но преследовали через весь океан. Чуть задремлешь, тут же вспоминается: «Касатки!» И выпрыгиваешь как встрепанный, озираешься направо-налево. И наутек пускаешься, еще не сообразив, есть ли опасность.

Касатки страшат, дельфины опасны, люди опасны. И еще одна опасность угрожала мне: мое собственное дельфинье тело.

Мы, люди,— существа разумные. Мы гордимся своим разумом и склонны преувеличивать его власть. Считаем, что у нас свободная воля, что мы распоряжаемся своим телом, посылаем его куда угодно, руки и ноги — покорные слуги головы.

У покорного тела на самом деле полным-полно претензий. Ему хочется кушать как следует раза три в день. Ему нужен спокойный сон в мягкой постели еженощно;

ему не по нраву мороз и дождь: ему нравится тепло, желательно около двадцати градусов, а тридцать — это уже жарко, а десять — холодно. Оно требует того, другого, третьего, оно упрекает голову, что та со своим пресловутым умом не может обеспечить тело должным комфортом. И посчитайте, сколько же часов в сутки голова выполняет требования тела и сколько часов она занята своими делами? Спрашивается: кто у кого на посылках?

Кажется, не мне бы говорить об этом. Мой самовластный разум даже форму может диктовать телу, лицо менять, ноги превращать в хвост. У меня каждая молекула подчиняется воле. Но у тела своя жизнь. Я меняю тела, как платья, и с удивлением чувствую, что в другом платье я уже не тот. Обратная связь есть.

Я отмечал это, рассказывая о своем превращении в копию артиста с томными глазами. Став красавцем, я начал рассуждать как красавец, я и чувствовать стал иначе. Видел я, как базарная торговка Салли, превратившись в девушку благородного вида, начала к людям относиться как девушка знатного происхождения. Но там это были психологические нюансы. Все-таки разум подавлял новые вкусы нового тела. Но вот дельфинье тело, звериное, сильное, полное животного автоматизма, вступило со мной в откровенную борьбу. Оно было своевольнее, чем самый своевольный ребенок. Его нельзя было выпускать ни на час из-под контроля. Стоило мне задремать — оно начинало выкидывать фокусы.

Однажды, очнувшись, я понял, что уже несколько часов плыву на запад — к Америке. Почему на запад? Вода там была аппетитная, насыщенная рыбным ароматом, уха́ своего рода. И тело повернуло к вкусной воде, как только я замечтался. Потребовалось усилие воли, чтобы призвать его к порядку, направить на Гибралтар.

Как ни странно, человек из всех животных — самый подвижный. Человек тратит энергии вчетверо против других, отдыхает всех меньше. Ужасающий непоседа! Лев, поев, спит 18 часов в сутки. И дельфин, насытившись и наигравшись, тоже качается себе на волнах. Обыкновенные дельфины не имеют привычки пересекать океаны, делая по пятьсот километров в день, словно рейсовый пароход. И мое дельфинье тело протестовало. Ему хотелось отдохнуть после каждого броска на сотню километров, и хотелось отдохнуть после обеда, и отдохнуть после шторма,

после отдыха поиграть и опять отдохнуть. А разум, прислушиваясь к этим претензиям, предательски говорил сам себе: «Если мускулы устали, надо сделать передышку. Нужен мертвый час, нужна дневка, отпуск взять хорошо бы».

И даже так рассуждал мой разум, нежа кожу в парных струях Гольфстрима: «Куда я спешу? Что ждет меня на берегу? Утомительный и не всегда безопасный метаморфоз, неприятные объяснения в институте и в милиции по поводу странного исчезновения из Канады, потом, если все обойдется, восемь часов бумагомарания в душном кабинете, дважды в сутки по часу давка в троллейбусе и электричке, обед в столовой, уборка квартиры, стирка, неестественная пища, испорченная в кастрюлях и на сковородке. Суета, беготня, обязанности. Кто заставляет? Не лучше ли остаться в дельфиньем естестве, носиться по свободному морю, когда захочется, дремать, если захочется, подружиться с другими дельфинами, простыми и чистыми, без страсти к модным платьям, сценической карьере, авторитету, хорошей зарплате с премиями. Жить себе без запросов, в свое удовольствие, жить не мудрствуя. А разве люди не ищут простоты, не мечтают о здоровой жизни на природе? Вспомните Пришвина, Паустовского, Грина. И где кончал жизнь Стивенсон? На Самоа. И где кончал жизнь Гоген? На Таити. И куда рвался Джек Лондон? В океан. Все бегут от проклятой суши...»

В третий раз поймав себя на подобных мыслях, я понял, что мне угрожает реальная опасность. Дельфин борется во мне с человеком, и дельфин берет верх. Живя водной жизнью, питаясь рыбой, плавая, ныряя, ловя треску и удирая от касаток, я все время укрепляю дельфина. Человек же во мне бездействует и усыхает. И если я хочу остаться человеком, мне надо тренировать мозг, мыслить ежедневно, мыслить ежечасно о человечьих делах.

Так я и заставлял себя: вдохнул, нырнул, освистелся вокруг, теперь думай!

О чем я думал? Как полагается человеку — о будущем. Тем и отличается существо разумное от неразумных, что оно способно представлять себе будущее.

Мечтал я о тех временах, когда будет снят с меня запрет молчания, и, выйдя на какую-нибудь ученую кафедру с указкой в руке, я разложу свои конспекты, отодвину в сторону стакан холодного чая и, глядя в лица, насторожившиеся, недоверчивые, дружелюбные, приготовившие-

ся сомневаться или восторгаться, я наберу воздуха полную грудь и выдохну: «Товарищи, открылась великолепная возможность. Отныне каждый может выбрать свое «Я»!..» И еще я скажу: «Товарищи, суть в том, что удается подчинить сознанию физиологию, поставить автоматические процессы в клетках под контроль воли. Можно вырастить по заказу все, что заложено в генах. Это простейшее и наиважнейшее. Я могу... вы можете усилием воли залечивать раны, сращивать переломы, вырастить утерянную руку, ногу, зубы, глаза. Мир без калек! Подумайте, как это великолепно! Мир без костылей, без поводырей, без глухонемых, объясняющихся на пальцах, без горбатых карликов. Каждый может стать нормальным человеком — это самое большое достижение в моем открытии.

Возможно, вы сумеете — все я не успел проверить — заменять и больные органы. Методика теоретически такова: постепенно, по частям, вы рассасываете больную печень и растите здоровую. Мне не пришлось поставить подобные опыты: у меня здоровая печень, здоровое сердце и здоровый желудок. Возможно, тут встретятся трудности. Нужна нормальная нервная система, чтобы передавать все приказы воли. Но в конце концов ведь и нервы записаны в генах, значит, их тоже можно заказать.

Самовосстановление — простейший, первый и самый нужный этап волетворчества. Второй этап — самореконструкция, улучшение собственного тела...»

Тут я расскажу, как я менял внешность, превращаясь в знаменитого Карачарова. Итак, внешность по выбору!

Я стараюсь представить себе мир, где люди сами себе выбирают фигуры и лица. Ателье перелицовки. Альбомы модных лиц. Художники-модельеры. Соревнования красавиц — кто сумел сделать себя совершеннее? Вот когда премии будут выдаваться по заслугам: не за природное везение, а за собственный вкус, выдумку, понимание красоты. И соревнования спортсменов, сконструировавших себе оптимально спортивные тела. Какие ноги нужны для рекордного прыжка в высоту? Какая фигура нужна баскетболисту? А спринтеру? А пловцу? Не дельфинья ли?

И как это скажется все на людских отношениях? Конечно, в мире, где внешность меняется, как платье, прежде всего нужна честность. Пол Длиннорукий с подручными может много зла наделать, ныряя из одного тела в другое. Впрочем, я не раз замечал: для каждого крупного откры-

тия прежде всего нужен коммунизм — сообщество людей бескорыстных, дружелюбных и доброжелательных. А разве атомная энергия не требует всемирного коммунизма настоятельно?

Ну, а любовь? Вытерпит ли любовь смену лица? Хорошо еще, если «она его за муки полюбила». Ну, а если за «біле личко и чорны брови»? Перекрасились брови, и любви конец!

Конечно, все мы перекрашиваем брови в белый цвет к концу жизни. Но там постепенность смягчает. Привыкают наши любимые к потере любимых лиц.

Вторая ступень — ступень реконструкции внешности — тоже укладывается в генотип. Как правило, ее можно осуществить за счет собственных генов. Иногда полезно прибавить и чужие гены. И тут мы переходим к обширной третьей ступени — к пристройке нечеловеческих чувств и нечеловеческих тел, которые тоже построены из аминокислот, слепленных в белки и записанных на молекулах ДНК четырехбуквенным шифром. Все, что построено из аминокислот, может быть сделано — девиз третьей ступени.

Сверхчутье собаки. Сверхслух кошки. Ультразвуковой локатор летучей мыши. Инфракрасное зрение совы. Таинственные чувства насекомых. И любое тело на выбор, для любого климата, любой стихии — вот что значит девиз: «Может быть построено все, что построено из аминокислот». Для полярных стран — тело белого медведя или пингвина, тело слона — для тропических зарослей, тело верблюда (если кто-нибудь согласится на такое) — для пустыни, тело кондора — для воздуха (это еще надо проверить, как там впишется человеческая голова), для воды — тело дельфина. Точнее, тело дельфина пригодно для поверхностных слоев, дельфину воздух нужен для дыхания. А в каком теле исследовать глубины, это еще вопрос.

Может быть, в теле кашалота? Насытив кровь кислородом, кашалоты ныряют за добычей на глубину в километр и более. Нет, как-то не заманчиво стать тупорылым чудищем с одной ноздрей даже во имя науки. Да и много ли разглядит на дне эта ныряющая пасть? Для науки надо в иле копаться, разгребать наносы, подбирать черепки и монетки. Не лучше ли тело кальмара? Кальмар в глубинах абориген, не случайный гость, у кальмара десять щупалец. Десятирукий археолог Атлантиды! Но тут есть трудность: холодная кровь у этого десятирукого археолога. Сумею ли

я встроить в тело кальмара не только человеческую голову, но и сердце четырехкамерное. Пожалуй, встрою, но еще подсчитать надо, не окоченеет ли мое теплокровное тело в ледяной воде глубин. Может быть, два сердца сделать: для щупалец обычное, для разумного мозга совершенное? И как быть с кровью: ведь у человека кровь красная, с атомом железа в гемоглобине, а у моллюсков синеватая кровь, с медью в гемоцианине.

Тут еще поломать голову придется.

Нет, это не конец доклада. За ступенью третьей намечается еще четвертая. «Мечта йогов» называю я ту ступень, потому что у йогов в одной из книг я прочел: «Умелые йоги умеют переноситься на любую планету и там приобретать тело, пригодное для жизни на той планете». Само собой разумеется, «умеют» зря поставлено в этой фразе. Надо бы написать: «Мечтают, хотели бы уметь, воображают, будто бы умеют, хвалятся, что умеют». Но цель сама по себе сформулирована хорошо. Поистине не в скафандрах хорошо бы ходить по чужим планетам, не в скорлупе заводского изготовления, а в теле, пригодном для жизни на той планете.

Но сейчас я не знаю, может ли мой организм изготовить такое тело даже по приказу воли. Прежде всего мне нужны образцы той инопланетной жизни. Если она построена на базе аминокислот, записанных на отростках нуклеиновых цепей, тогда все в порядке. Если же основа иная и запись иная... дайте образец, я попробую.

И все еще не кончен доклад, потому что существует и пятая ступень, возможно, самая важная. Самая многообещающая, во всяком случае.

Со времен XVIII века существует житейская мудрость: «Каждый доволен своим умом, никто не доволен своим состоянием». Я принадлежу к числу тех, кто полагает, что эта мудрость устарела.

Лично я своим умом не доволен. Я полагаю, что он медлителен: я медленно считаю, медленно читаю, медленно осматриваю, что память у меня недостаточно емкая и чересчур непрочная, что я рассуждаю прямолинейно, в лучшем случае плоско, не охватываю природу во всей ее многовариантности и многокоординатности, в диалектичности, коротко говоря.

Мне нужен быстродействующий ум, обгоняющий электронную машину.

Я хочу быть сверхматематиком — гением абстрактного расчета.

Я хочу быть сверххудожником — гением острого видения.

Я хочу быть сверхученым — гением диалектического рассуждения.

Вопрос в том: может ли мой мозг реконструировать сам себя?

Но тело же занимается самореконструкцией. Мозг тоже тело.

Надо попробовать. Сколько я насчитал новых «Я»? Воздушное «Я» — человек-кондор, глубоководное «Я» — человек-кальмар, космическое «Я» — человеко-марсианин, быстродействующее «Я», быстрорастущее «Я», быстродумающее «Я»...

Много позже, перечитывая на досуге Свифта, я подивился, почему это Гулливер каждую часть начинает горькими сетованиями на собственное легкомыслие: «Ах, почему я поддался страсти к странствиям, почему не остался в безопасном доме?» И у Робинзона то же, и у Синдбада-Морехода. А мне почему-то ни разу не пришла мысль, что отныне я буду смирно сидеть дома. Еще не зная, вернусь ли благополучно, я планировал новые опыты. Нет, я не ставлю себе это в заслугу. Полагаю, что все дело в цели. Если рискуешь, чтобы богатство раздобыть, конечно, при каждой неудаче горько оплакиваешь свое безрассудство: не надо золота, лишь бы жизнь сохранить! Но ведь я рисковал, чтобы достать знания людям. И я их доставал, я после каждого опыта набирал пачки фактов. Ни один метаморфоз не проходил у меня без пользы. Мне скучно было сидеть дома в своем природном теле, листать бумажные книги, чужие мысли списывать. Это было бы падение, безоговорочная капитуляция перед природой. Нет, я не хочу быть всю жизнь пленником собственного тела.

Так, коротая время между мечтами и страхами, я пересек Атлантический океан за четырнадцать дней. Особенных рекордов не показал. В учебниках написано, что дельфин может развивать скорость до 50 километров в час, легко обгоняя пассажирские суда. Совершенно верно, развивает и обгоняет. Но это не значит, что дельфин может проплыть пятьсот километров за десять часов или даже пятьдесят за час. Дельфин быстро устает. Как котенок, как каждое животное: порезвится, поиграет и спит. Моему

дельфиньему телу тоже нужен был отдых и нужна была кормежка. Часа четыре в день уходило у меня только на охоту (подразумевается охота за рыбой), если я не нападал на густой косяк. Кроме того, я петлял, конечно. Не знаю, как дельфины находят направление в море, а я ориентировался по солнцу. Следил за восходами и закатами, в пасмурную погоду запоминал направление ветра, почью, выпрыгивая, искал на небе Полярную звезду. Нелегкая штука — распознать созвездия в прыжке. Между прочим, думаю, что и настоящие дельфины прыгают, чтобы ориентироваться, чтобы пароход рассмотреть, в частности. Ведь сонар мало сообщает им насчет отдаленных предметов. А судно и вовсе нечто непонятное: по размерам скала, но скала быстродвижущаяся.

Карту я представлял более или менее, знал, что от Мэна мне надо держать на восток, чуть-чуть отклоняясь к югу, чтобы попасть в Гибралтарский пролив. Я и забирал к югу, забрал несколько южнее, чем нужно, выйдя на пик Тенериф, что на Канарских островах. Тенериф нельзя было не узнать: вулкан со снежной вершиной. Итак, две трети пути осталось за хвостом, две трети приключений еще были впереди.

Касаток можно было уже не опасаться — опасаться надо было людей.

В наши дни, когда столько пишут о контактах с дельфинами, охота на наших морских кузенов по разуму повсеместно запрещена. Но мало ли на свете браконьеров, готовых загарпунить какую угодно добычу, лишь бы поблизости не было свидетелей, или же удалых мальчишек с самодельной острогой, которым обязательно надо продемонстрировать свою удаль и меткость? Сам был мальчишкой, знаю этот беспардонный народ.

В общем, за один день, пока я плыл вдоль африканского берега к Гибралтару, меня пытались загарпунить трижды. Я взял в сторону, в открытый океан, где побезопаснее, и чуть не погиб тут же. Какой-то нефтевоз вздумал тут прочищать цистерны, и океан на сотни километров был залит мазутом. Рыба плавала кверху брюхом, беспомощно трепыхались чайки со слипшимися крыльями. И мне пришел бы конец, если бы я забил дыхало мазутом. К счастью, вовремя почувствовал вкус керосина на языке. В отличие от урожденных дельфинов, я знал, что означает этот привкус.

Гибралтарский пролив я прошел ночью (ночью никто не обижает дельфинов) и утром опять прицелился на восток, прямо посередке Средиземного моря, подальше от любителей проявлять отвагу. И плыть старался поглубже, чтобы не попасть под винт ненароком. Обгоняя суда, выпрыгивал, чтобы рассмотреть флаг: это была добавочная проверка курса. В этой части моря английские суда, как правило, идут на восток или на запад, а французские — по меридиану, поперек.

Еще через два дня увидел берег на севере; решил, что это Сицилия, вероятнее всего. У Сицилии форма пифагоровская: прямоугольный треугольник, гипотенуза обращена к Африке. Я и взял вдоль гипотенузы. А когда берег резко отвернул на север, на катет не перешел, продолжал плыть к восходу. Даже не стал проверять курс, упустил случай полюбоваться Этной. Доведется ли, не ведаю.

Примерно за сутки я пересек Ионическое море и опять увидел горы впереди. Горы на севере, горы на юге, горы на юго-востоке и северо-востоке. Я понял, что передо мной Греческий архипелаг: для дельфина, не захватившего карту, самый трудный участок пути. Как пересечь по диагонали всю эту путаницу, как отличить друг от друга бесчисленные Родосы, Лемносы, Хиосы? Я представляю себе географическую карту, но это мелкое крошево не помню наизусть.

Однако мне и тут повезло: я нашел проводника. Впрочем, не случайно: я искал что-нибудь подходящее. В пути я догнал пароход с бело-зелено-красным флагом; я вспомнил, что это цвета Болгарии. Куда могли плыть наши друзья болгары? Вероятнее всего, домой, в родное наше Черное море. Команда парохода «Пловдив» (порт приписки Бургас), возможно, вспомнит одинокого дельфина, который выплясывал вокруг них в Эгейском море. Грузовоз неторопливо дымил, полз как черепаха, с моей, дельфиньей точки зрения, но я полагал, что выигрываю в прямизне пути и безопасности: едва ли кто-нибудь с борта стал бы стрелять в меня. И, радуясь, я выделывал все цирковые номера, на которые способен дельфин. Корабельный кок бросал мне рыбьи головы и заплесневелые сухари. Я ловил их на лету, кланялся, потом вежливо под водой проверял, съедобно ли. Команда тоже кидала всякие остатки и кричала: «Друже!» Интересно, что они кричали бы, если

бы знали, что перед ними кувыркается московский аспирант, зоолог с высшим образованием.

«Пловдив» привел меня в Дарданеллы, но не провел через пролив. В Галиполи он застрял (в Гелиболу по-турецки). Не знаю, какая была причина: разгрузка, погрузка, проверка, то ли очередность какая-нибудь. Но я видел, что капитан сошел на берег, сошли, расфрантившись, и матросы. Я не знал, сколько мне придется ждать: сутки, двое, неделю? Лихорадка нетерпения била меня: так близко до дома, вот-вот конец испытаниям!

Но тяжек был последний порог.

Мраморное море просто кишело судами и суденышками — парусными, моторными, гребными. На глубине можно было проплыть почти беспрепятственно, но мне, дельфину, дышать надо было. И чем быстрее я плыл, тем чаще надо было вдыхать. С трудом находил я свободное место, чтобы вынырнуть и на покое пустить фонтан, прочистить дыхало, насытить кровь кислородом. Идешь на всплытие, и негде выпрыгнуть: куда ни направишь сонар, всюду свист — борта, борта, борта...

Босфор я не решился проходить в дневное время, крутился на подходах, поджидая. Крутился, к сожалению, а не полеживал на дне. Ведь фонтан сразу обозначал мое присутствие. Три-четыре фонтана в одном месте, вот тебя и засекли. И все равно не уберегся. Возле Принцевых островов подстрелил меня какой-то пижон в красных плавках, с аквалангом и подводным ружьем. Я себе плавал неторопливо, обсвистывал дно, искал камбалу посочнее. Бутылки все попадались, как в подмосковных рощах под кустами. И вдруг резкая боль в спине. Оборачиваюсь — гарпун торчит. И тип этот тут же тянет за трос.

Но не на того дельфина напал. Не из числа безответных, с предрассудками насчет неприкосновенности человека. Я испугаться не успел, я разъярился. Подвиг совершил, Атлантику пересек, сделал сверхрекордный проплыв спортивной и научной ценности, и вдруг какой-то шалопай тебя чуть не загубил от нечего делать. Я не стал рваться, растравляя рану, я на него напустился с ходу. Сшиб с ног, укусил за руку и еще раз пониже спины. Как он удирал! Только ласты мелькали, пузырьки шли тучей. Думаю, акваланг утопил, едва выбравшись на пляж. И детям своим и внукам закажет играть с этой игрушкой.

Вот перед этим человеком, если ему довелось читать

мои воспоминания, я не извиняюсь. Нечего, голубчик, развлекаться убийством от безделья.

Так или иначе, гарпунное ружье он оставил на дне, и я мог, кряхтя от боли, освободить трос, сломать гарпун камнем и вынуть его из раны. Руками все это сделал, на счастье свое, сохранил руки. Рана осталась, конечно. Затянулась жиром, как полагается у дельфина. Залечиванием я не занялся как следует. Спешил.

Дождавшись полуночи, решил я наконец пройти через Босфор. Мельком видел огни Стамбула и Ускюдара, только когда легкие проветривал. Видел пляску неоновых огней на обоих берегах, и больше рассказать нечего. Как турист горюю... Но тогда думал только об одном: как бы скорее уйти в глубину. Хорошо, что Босфор — достаточно глубокая трещина, более ста метров местами. Глубина меня и спасла. Поверху не прошел бы — обязательно наткнулся бы на какую-нибудь барку.

Фонтан! Вдох, вдох, вдох! Накачался кислородом — и вниз. Плыву-у! Слушаю эхо-свисты. Плыву-у! Но вот грудь сдавило, подергивается дыхало, пора вдохнуть. Осторожно. Свист справа, свист слева... А вот тут, кажется, прогалинка. Фонтан! Выдох, вдох, вдох, вдох. Справа огни, и слева огни. Когда же кончится этот проклятый пролив?

Наконец огни разошлись шире, еще шире и еще, к самому горизонту. Заворчал прибой, соленый ветер пахну́л навстречу. Море ночное, черное-черное. Родное Черное!

С облегчением прибавил ходу... и врезался в сеть. Всю морду всадил, замотал, так что и не перекусишь никак. Руками выпутал я непутевую дельфинью голову.

Но это было уже последнее приключение.

Путь мой лежал на северо-восток. Выпрыгивая время от времени, я ловил левым глазом ковш Большой Медведицы, мысленно продолжал переднюю стенку до Полярной звезды. Держать курс было легко, потому что дул норд-ост, волны катили с северо-востока и указывали мне направление. По звездам я только проверял, не сменился ли ветер.

Плыл я, как дельфины не плавают никогда: полным ходом, час за часом, не снижая темпа. Дремал на ходу, работая хвостом автоматически. Знал, что в родном море нет опасных акул, нет ни касаток, ни спрутов. А судам просторно — не так уж часто они встречаются. Чересчур редким невезением было бы наткнуться на судно.

И пересек я Черное море наискось за одну ночь. А утром, часов около десяти, по солнцу судя, увидел голубую стенку на горизонте и на ней трехзубую корону. Я узнал Ай-Петри и заплакал от умиления. Дельфины могут плакать — слезы есть у них.

Постепенно весь крымский берег развернулся передо мной: странная земля, поставленная дыбом, не похожая на горы, скорее, на торец суши. Словно бы некий великан прошел по материку, устланному свежим паркетом, и продавил настил; крайняя паркетина поднялась косо, так и застыла.

Белые коробочки санаториев видел я левым глазом. И стройные свечки кипарисов, и шерстистую Медведь-гору, вечно пьющую море, не могущую выпить до дна. И нарядные строения Артека, и скалы-близнецы Адолары, и желтые откосы Восточного Крыма, безлюдного от сухости. Сюда только автотуристы приезжают загорать, привозя воду в канистрах.

И крутой холм Генуэзской крепости, ощерившийся разобранными стенами, словно выщербленными зубами,— древний Сурож.

Все такое милое, такое родное...

А вот и розоватый квадратик среди серых скал: дом, где начались все мои приключения,— единственное место на свете, куда я могу явиться в дельфиньем облике и буду встречен без удивления. Здесь ли мои друзья-соратники: все умеющий Гелий и все понимающий Борис; Гелий, наделенный четырехкратной энергией и трудоспособностью, и Борис, которому досталась четверть средней энергии среднего человека, но зато четыре порции свободного времени для размышлений.

Хорошо бы застать их. Повезет или нет? Конец сентября как-никак, уже не сезон в Восточном Крыму.

Если не застану, еще месяц отсрочки. Придется разыскивать подходящий грот, мучиться там в одиночестве с обратным метаморфозом.

Нет, вижу дым над мастерской. Значит, Гелий тут, что-то кует или приваривает. А под бесплодными оливками раскладушка, и на ней тело, с лицом, прикрытым газетой от солнца. И Борис тут, обдумывает мировые проблемы на раскладушке!..

Так вот же тебе, соня!

Фонтаном окатываю его.

Даже не пошевелился.

Нарочно набираю воду в рот. Еще раз фонтан.

— Гель, дождь, кажется...

Охая, спустил одну ногу. Газета сползла на песок.

— Гель, смотри-ка, дельфин! Прямо на берег лезет. Не иначе, хочет вступить в контакт.

И тогда рукой, рукой, которая уже спасала меня не раз, я черчу на песке:

«Я — Юра».

Все-таки самое приятное в путешествии — это возвращение домой.

Я стал самим собой через три недели, но еще полгода мне снились дельфиньи сны. Будто бы я куда-то стремлюсь во тьме и тьма наполнена свистами: низкими, высокими, пискливыми, пронзительными, плачущими, прерывистыми, протяжными. Свистящий мир снится мне. И вот выделяется в нем нарастающая, оглушительная сирена, нечто громадное и страшное. Сирена все громче, рвет уши. Я понимаю, что оно надвигается неудержимо, догоняет именно меня, хочет проглотить. От ужаса я немею, хвост у меня становится как ватный. Я скован, я теряю скорость... и вот уже острая боль впивается в спину. Я просыпаюсь дрожа и, еще не открыв глаза, потными руками нащупываю ворсистое одеяло... Так это был сон? Сон всего лишь. На самом деле я человек...

Ох, хорошо быть человеком!



СОДЕРЖАНИЕ

Для старшего школьного возраста

Гуревич Георгий Осипович

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Фантастические повести

Ответственный редактор Е. К. Махлах. Художественный редактор Л. Д. Бирюков. Технический редактор Т. Д. Юрханова. Корректоры Т. П. Лейаерович и Е. И. Щербакова. Сдано в набор 14/XII 1971 г. Подписано к печати 2/VIII 1972 г. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Печ. л. 10,5. Усл. печ. л. 17,64. (Уч.-изд. л. 18,67). Тираж 75 000 экз. ТП 1972 № 570. А03332. Цена 73 коп. на бум. № 1. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Сущевский вал, 49. Заказ 3415.

Гуревич Г. О.

Г 95 Месторождение времени. Фантастические повести. Рис. О. Коровина. М., «Дет. лит.», 1972.

335 с., с ил., 75 000 экз., 73 к. в пер.

Герои нового сборника Г. Гуревича увлечены самопреобразованием. Они не уверены, что человек — биологическое совершенство. Они не удовлетворены своим сроком жизни, темпом жизни, хотят вмешаться в наследственность. Они склонны спорить с природой.

7—6—3
―――
570—72


Цена 73 коп.